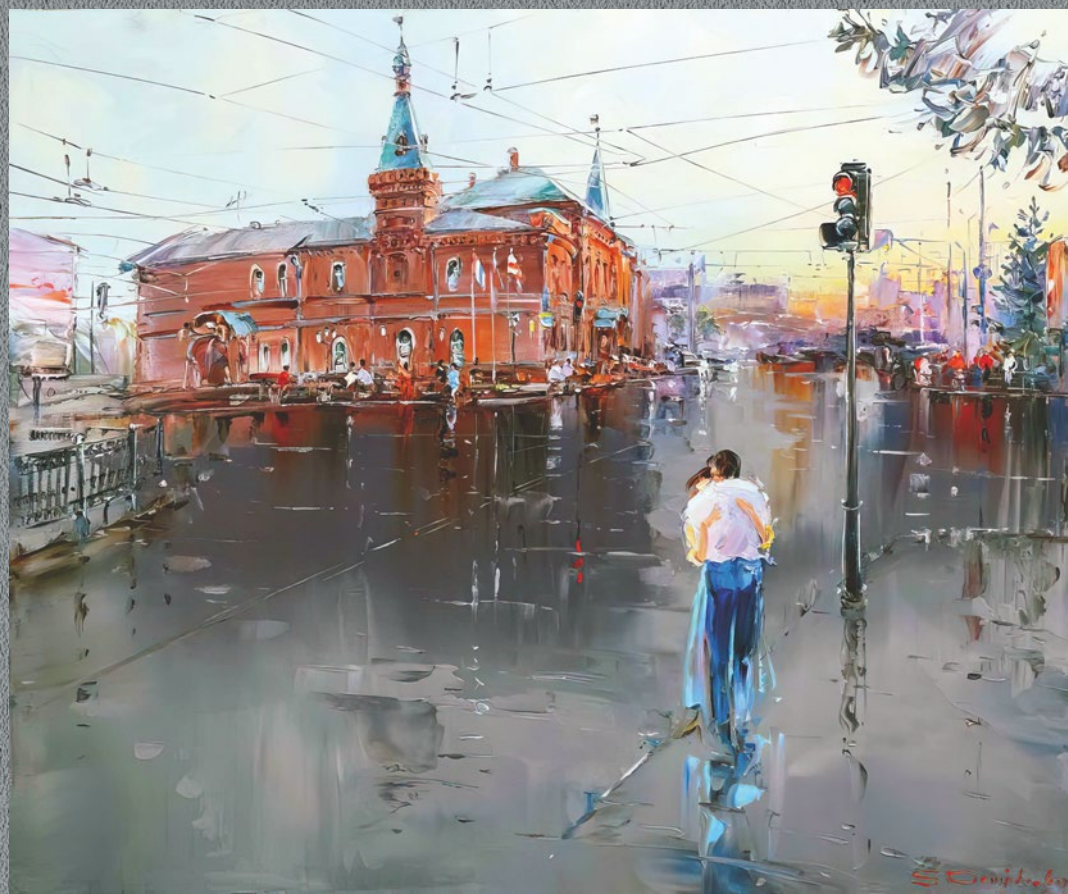


# СИБИРСКИЕ ОГНИ



12/2023



Сергей Демиденко. К бабушке. 2021



Сергей Демиденко.  
Кубики.  
2023

На первой странице  
обложки:  
**Сергей Демиденко.**  
**На заре.**  
2021

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

**ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА**

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

П. В. Басинский (Москва)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Н. Тимофеев (Москва)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Михаил Косарев

ответственный секретарь

Лариса Подистова

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Татьяна Седлецкая

редактор отдела художественной литературы

Михаил Хлебников

начальник отдела общественно-политической жизни

Евгения Акимова

редактор отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Карасёв

редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Л. Р. Юкляева

Верстка: С. В. Колотилов

**12/2023**

## Содержание

### ПРОЗА

Валерий КОПНИНОВ. <b>Без пяти минут вечность</b> . Глава из романа. ....	3
Вадим ВОЛОБУЕВ. <b>Всяческая суета</b> . Повесть. ....	33
Ирина РОДИОНОВА. <b>Хлебопечка и Мальдивы</b> . Рассказ. ....	104
Лаза ЛАЗАРЕВИЧ. <b>Он знает все!</b> Рассказ. ....	122

### ПОЭЗИЯ

Иван ВАСИЛЬЦОВ. <b>Поставщик бараролок</b> . Стихи. ....	27
Мария ФРОЛОВСКАЯ. <b>Графика голого парка</b> . Стихи. ....	101
Денис ПОПОВ. <b>Плохая бумага</b> . Стихи. ....	143

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

#### *Народные мемуары*

Андрей АВРАМЕНКОВ. <b>Как мы жили до войны</b> . ....	145
---	-----

### КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Михаил КОСАРЕВ, Михаил ХЛЕБНИКОВ. <b>Парадоксы времени и места</b> . <i>Самохин и Довлатов</i> . ....	155
--	-----

### КНИЖНАЯ ПОЛКА

Сергей ИЛЬЧЕНКО. <b>Люди и реки</b> . ....	176
--	-----

### КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Александр ТИХОНОВ, Ольга ЦАРЬКОВА. <b>К свету!</b> <i>Грани творчества художника Сергея Демиденко</i> . ....	181
---	-----

Содержание журнала за 2023 год .....	185
--------------------------------------	-----

Авторы номера .....	190
---------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Валерий КОПНИНОВ

## БЕЗ ПЯТИ МИНУТ ВЕЧНОСТЬ

Глава из романа

«С “максимом” да при правильной позиции и пехоту можно в землю носом положить, и конницу заставить кувыркатся, — напрягая уставшие за несколько бессонных ночей глаза, размышлял командир пулеметного расчета младший унтер-офицер Максим Морозов, вглядываясь в вечерние сумерки, что довольно быстро сгущались, делая еще совсем недавно хорошо просматриваемый сосновый лес почти непроницаемым, — а здесь, в густом бору, вплотную подойдут, а я только кору с сосен посшибаю».

Третьи сутки барнаульский гарнизон под командованием полковника Камбалина — два кавалерийских эскадрона из полка голубых улан, солдаты Третьего Барнаульского Сибирского стрелкового полка и дивизион артиллерии морских стрелков с дюжиной легких орудий английского образца — вел бои за город с отрядами партизанской армии Ефима Мамонтова.

И все эти дни немногочисленная, но боеспособная часть барнаульского гарнизона, в составе полуэскадрона разведки тех же голубых улан и роты стрелков, обосновавшись за стенами Богородице-Казанского женского монастыря — на тот момент волею военной судьбы ставшего главным оборонительным рубежом колчаковских войск, — находилась в состоянии повышенной боевой готовности, ожидая штурма на своей линии обороны.

Третьи сутки Максим и его второй номер пулеметного расчета рядовой Адам Черных, сменяя друг друга на время короткого отдыха, дежурили на ближней к монастырским воротам башне, держа под прицелом дорогу, что вела к монастырю, а также лесной массив, почти вплотную подходящий к южной стене.

И это затянувшееся бездействие вкупе с напряженным ожиданием боя понемногу расшатывало нервы.

А еще тревожила оторванность монастырского гарнизона от основных сил, незнание происходящего там — за высокими кирпичными стенами. Третьи сутки не поступало никаких приказов и распоряжений. Абсолютно никаких. Равно как и разъяснений текущей обстановки. Действующим оставался давний приказ главнокомандующего Сибирским корпусом генерала Каппеля удерживать Барнаул во что бы то ни стало. Им



и руководствовались, но... главнокомандующий далеко — генерал Капель вместе со своим штабом в Омске, до него чуть ли не тысяча верст. А Барнаул — вот он, под боком, и что там происходит — поди пойми. Молчит Барнаул. Три дня был разговорчив, а стало быть, более-менее понятен. Третьего дня шел бой у деревни Ерестной, а через сутки бой откатился ближе к городу. Батарея, сменив позицию, была с Соборной площади по все той же деревне Ерестной, к тому времени уже занятой частями красных партизан. Снаряды после очередного артиллерийского залпа по восходящей траектории с воем проносились над храмом Иоанна Предтечи, Нагорным кладбищем и жилыми домами. Гул от близких разрывов катился по мерзлой земле, а с башни эти разрывы, что раскрывались уродливыми бутонами, выбрасывая вверх комья земли вперемешку со снегом, просматривались как на ладони. Ход сражения, по направлению стрельбы, по интенсивности перестрелки, хотя бы в общих чертах, но отслеживался. А к вечеру все стихло. Одиночные выстрелы своей малозначимостью только усиливали тишину. И вот попробуй, разгадай ее...

С реки Барнаулки тянуло ледяным ветром, пробиравшим до костей — ни шинель, ни башлык от холода не спасали, а овчинный тулуп, что для сугрева получили они с Адамом от сердобольных монахинь, Максим использовал как теплый кожаный для новенького, еще не до конца утратившего заводскую смазку пулемета «максим».

— Пулемет железный, — рассудил тогда Максим, отвечая на немой вопрос Адама, видимо рассчитывающего на тулуп, хотя бы в часы своего дежурства. — Такое, что человек вытерпит, он терпеть никак не может. Сейчас мы его защитим, а потом — он нас! А встанет — и нам хана...

— Да я что, ваше благородие, разве же я без понятия совсем, — неподобающим для его могучего телосложения тенором отвечал Адам, — только вот, залить бы глицерину побольше в кожаный, а тулуп... того...

Седоусый и седовласый Адам Черных, бравый и опытный солдат (а всего лишь несколько годков назад крестьянствующий мужик, что никогда не держал в руках оружия более опасного, чем четырехрожковые вилы), по возрасту годился Максиму в отцы и сильно смущал его этим «благородием». Но в устах Адама это «благородие» звучало не то чтобы по-свойски, а с какой-то необидной иронией, что Максима вполне устраивало.

— Где бы только раздобыть этот глицерин? — призадумался Максим. — Обоза нет как нет. Хоть самогон в кожаный заливай! Да и его где взять, не у монахинь же?

— А что, ваше благородие, — немедля отозвался Адам и с готовностью затоптался на месте, — монашки, они тоже люди. Что ж не попробовать? Вы главное приказ мне дайте, чтоб я сполнил честь по чести...

— Отставить самогон! — рассмеялся Максим излишней расторопности Адама. — Не тебе да не с твоим имечком ловить рыбку в мутном пруду. Ты для них кто? Адам. Первый человек, кто Божью заповедь нарушил!

— Ну, эта присказка для дуры, — ненадолго задумавшись, возразил Адам. — А для умной бабы — я тот, из чьего ребра весь женский род пошел!

В конечном итоге спор ничего не изменил и тулуп все равно остался за пулеметом с окончательным решением старшего по званию — «Отныне, и присно, и вовеки веков. Аминь».

Оттого-то один Максим мерз на холодном ветру, а другой «максим» нежился под густой овчиной.

Темнело быстро. Вдобавок ветер поднял еще не успевший как следует приморозиться свежий снежок и колюче бил по глазам, мешая осмотреться.

Но Максим мог и в полной темноте определить огневые точки их гарнизона — на двух северных башнях, выходящих к Барнаулке, засели точно такие же пулеметные расчеты, а западнее — на башне по другую сторону ворот, на лафете, собранном второпях из обрезков сосновых стволов, стояла небольшая пушка. Пушка, как и пулеметный расчет Максима, контролировала дорогу к монастырю.

Вселяло беспокойство вынужденное ослабление и без того небогатого штыками гарнизона — третьего дня полуэскадрон голубых улан, что квартировался в Богородице-Казанском монастыре, срочно убыл на соединение со своим полком к деревне Ерестной на Змеиногорский тракт, где к Барнаулу вплотную подошли части красных.

А без кавалеристов представлялось невозможным ведение встречного боя, да и дисциплина (равно и следование присяге) у солдат стрелкового полка при голубых уланах держалась на уровне более высоком, впрочем, как и боеспособность.

Как назло, уланы, убывшие третьего дня, в монастыре не появлялись, были только наездом несколько всадников, привезли в санях двух раненых для сестринского ухода, да про бой с красными рассказали. Встретили, мол, большевичков хорошим огнем пехоты да артиллерии морских стрелков, рассеяли по степи, а уж потом в дело пошли они, голубые уланы, — гнали красных верст десять и многих порубали. А у тех, кого в плен взяли, вывели, что-де вместе с партизанами на город предатели шли — бывшие свои, стрелки из 45-го и 46-го Сибирских полков, перешедшие из-под командования генерала Капшеля под начало Ефима Мамонтова. Так что недолго перебежчики радовались, многие из них полегли под «вострой сабелькой».

Максим давно приметил у голубых улан это желание помахать «вострой сабелькой», и оно совсем не нравилось ему, но сейчас их поддержка пригодилось бы в этой неизвестно что сулящей ночи.

— Идите, погрейтесь, ваше благородие, — вынырнул из темноты Адам, как человек, сведущий в охоте, ходивший бесшумно. — Я покараулю. Вряд ли сегодня пойдут...

— Нет, Адам, именно сегодня и пойдут! — возразил Максим. — Точно так. Слышишь? Тишина гробовая...





— Ну, где же тишина? — прислушался Адам. — Ветер в звоннице шумит, вон птица свистнула... Ну, не хотите идти, вот вам...

Адам расстегнул верхние крючки на шинели и вынул из-за пазухи большой кусок капустного пирога, завернутый в белую тряпицу. Видимо послушницы на монастырской кухне все-таки чтили Адама, не исключено, что именно за пожертвованное им ребро.

Увидев пирог, пышный, с румяной корочкой, восхитительно пахнущий хлебным духом, Максим вдруг почувствовал, что очень голоден, вспомнив, что ничего не ел с обеда. Он скинул рукавицы, без лишних разговоров взял пирог и с аппетитом принялся за него, подставив ладонь, чтобы не обронить капустную начинку.

Еще теплый пирог напомнил Максиму трапезную, аппетитные запахи с кухни, жар, расходящийся от кухонных печей к потолку, смолистый запах сосновых дров, отходящих от мороза в тепле, бряканье металлической посуды на мойке, послушниц, разносящих по столам нарезанные большими кусками караваи белого хлеба...

И среди тех послушниц одну, совсем юную девушку, почти ровесницу ему — лет семнадцать, за которой невольно наблюдал уже несколько дней, а сегодня невзначай встретился с ней глазами. Он знал, что зовут послушницу Алена — имя, по просьбе Максима, узнал расторопный Адам.

Игуменья Мириамна прочитала молитву, служивые выпили по чарке и, постукивая деревянными ложками, навалились на исходящие чесночным ароматом щипки, золотистые от моркови и лука, что обжарены были на постном масле. Ели по-домашнему, без спешки, словно не существовало за стенами шальной метели и наступающего по той метели неприятеля. Выхлебывали, пока ложка не начинала греметь о дно тарелки, затем аккуратно переливали остатные капли в ложку. Некоторые из солдат приберегали белый хлебушек к чаю, а в щипки крошили ржаные сухари, горками лежавшие в плетеных туесках.

А послушницы уже несли на деревянных подносах пироги с картошкой и грибами, а еще капусту, квашенную с брусникой.

Но весь этот обильный харч не особенно привлекал Максима — он опять искал глазами Алену, а увидев, снова пытался поймать ее взгляд.

Ужинать Максим не пошел...

Конечно, монашеский постриг и монастырское бытие для Максима — сына священника — не являлись чем-то неведомым. Но последние полтора года, проведенные в совершенно других условиях, на войне, именно на войне, а не рядом с войной, не на расстоянии, как раньше, а непосредственно между жизнью и смертью, заставляли Максима оценивать совсем по-другому то, что в дни иные казалось простым и понятным.

А равно заставляли задавать вопросы самому себе и самому же искать на них ответы.

«Почему, — ломал голову Максим, — почему русские воюют с русскими? Ну, когда с японцами воевали — понятно. С немцами тоже... Те — чужаки, враги наши вечные, не впервой воевать на нас идут. А вот когда



свои? Так со своими-то, это для чего? Нынче вот бьемся мы с красными, а они бьются с нами — русскую кровь друг другу пускаем, а за что? За веру? Да! Большевики — христопродавцы. Так, дальше: за царя?.. Не знаю, царь ведь отрекся... За отечество? Да, это главное... Но ведь наша русская земля и красным тоже отечество...»

Таковыми думами Максим часто маялся в последнее время, жизнь то и дело подбрасывала «непонятки», как он сам их называл. А без ответа или хотя бы без поиска ответа сердце не находило покоя. И здесь, в монастыре, новый опыт, что дала Максиму война, новое понимание человеческой сути заставили его задуматься о таком непозволительном «почему», о каком раньше и подумать-то православному было совестно — о необходимости самопожертвования ради монашеской жизни.

Много сокровенных историй узнал Максим от тех, с кем жил он нынче окопную жизнью. Историй искренних, трогательных, наполненных тоской по женам и детям, оставленным в далеких городах и селах, исходящих грустью любовной по зазнобам, от желания увидеть которых «хоть на время малое» томилось сердце. И щемящее звучание услышанному придавало то, что некоторые из тех, кто поведал Максиму о потаенных чувствах, уже в земле сырой упокоились.

«Монашеский подвиг — угнетение плоти в угоду духу, не есть ли неверное толкование Божьих слов? — размышлял Максим. — Не чрезмерная ли это услужливость Господу Богу? А ведь семья и материнство для женщины — путь к спасению души. О том сказано в послании апостола Павла: “Не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем, спасается через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием”. Вот батюшка мой — служитель Божий, и матушка — благочестива в православной вере, а нас в «любви и в святости» пятерых родила... Материнство через непорочное зачатие только для рождения Христа возможным стало... Всем остальным... Иное дано. И каждому человеку, входящему в самостоятельную жизнь, то завещано: “Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть”. Значит нельзя чуждаться семьи, а в семье — любви плотской...»

Но, несмотря на серьезность своих мыслей и даже некоторую радость, что сподобил Господь задуматься на эту тему, сам Максим находил в своих размышлениях очевидный изъян. Мысли эти бередили его душу именно тогда, когда видел он Алену. Он не мог взгляда отвести от ее тонкого гибкого стана, легкой поступи, и щеки его заливал румянец, когда он, немного опустив глаза, видел, как при ходьбе плавно, словно легкая волна на реке, движется грудь Алены, хоть и скрытая под широким облачением послушницы, но все же явственно угадываемая Максимом. Более того — и стан, и грудь воображение дорисовывало в искушающих телесных очертаниях...

А сегодня в трапезной их взгляды встретились, и Максим увидел в больших зеленых глазах Алены отражением собственных чувств и желаний живой, жаждущий жизни свет...





— Ваше благородие, — отвлек Максима от приятных мыслей Адам, — вам бы поспать! Ну чего зря маяться? Я уж неприятеля не проспую!

После съеденного пирога и вправду потянуло в сон. И Максим, уступив увещеваниям, спустился вниз, добрал до своего топчана, лег, накрывшись шинелью, и по-детски легко, мгновенно заснул, и безмятежно проспал до самого рассвета. Так же безмятежно, как спал под сенью родительского дома, словно смерть не рыскала за стенами монастыря в людоедском желании вкусить человеческой крови.

Но проснувшись, Максим сразу же вскочил со своего (показавшегося ему с устатку таким уютным) ложа и, не умываясь, поспешил на башню, на бегу зачерпывая в пригоршни снег и растирая им лицо, чтобы окончательно вернуть себе телесную бодрость и бодрость сознания. Отфыркиваясь от таящего на лице снега, Максим пролетел винтовую лестницу на башню, перескакивая через две ступеньки, и сбавил шаг, лишь завидев Адама, что забавно пританцовывал возле пулемета, пытаясь согреться.

— Тут, ваше благородие, вчера человек за свечами из города приходил — алтарник собора Петра и Павла, — сразу же забубнил Адам, продолжая разговор, словно Максим и не отлучался на большую часть ночи. — Сказывал, что части наши со всей артиллерией на вокзале в эшелоны грузятся и уходят в сторону Новониколаевска. Мост через Обь пока наш, его бронепоезд охраняет. А вот охрана моста разбежалась... Да еще из Рубцовки бронепоезд прибыл, тот, что к большевикам переметнулся. Прибыл и против станции встал... Так-то... Ничего веселого из этого не выудишь. И вот такая у меня думка: мы-то как, тоже по вагонам рассядемся или в кельях зимовать будем? Оно бы ничего, коли всем дружно стоять. А то ведь одним-то нам против красных не управиться.

— Много тебе тот алтарник поведал, — улыбнулся Максим. — Вроде и не алтарник, а пророк Моисей... Приказа уходить не было. А рассуждать — не наше дело. В штабе лучше знают...

— Ах вы, черти веревочные! — неожиданно матюкнулся Адам, совершенно забыв о почтении к святому месту.

— Ты что?! — с удивлением повернулся к нему Максим.

— Вон они, ваше благородие, меж деревьев... Красные! Во-он они, шагов пятьсот, не больше... — Адам взволнованно тыкал пальцем в серый сумрак леса.

Максим быстро подошел к оконному проему в стене башни, на ходу выковыривая из промерзшего чехла висевший на груди полевой бинокль, и прижал к глазам холодные каучуковые кольца окуляров. В утренних сумерках хорошо различалась колонна партизан, приближающаяся со стороны села Лебяжье, слаженно в движении рассыпаясь цепью и охватывая монастырь полукольцом.

Максим навалился грудью на оконный проем и высунулся наружу, чтобы еще раз оценить возможный сектор обстрела, и в это время грянул

одиночный выстрел, и пуля, вырвав клоч шерсти из башлыка Максима, царапнула по уху.

Максим вскрикнул, пошатнулся от неожиданности, вскинул руку к голове, а уже в следующую секунду Адам, придержав его за локоть, увел вглубь башни.

Из леса раздался разрозненный залп, и еще несколько пуль глухо чиркнули по кирпичным стенам башни. На звоннице ударили в колокол.

Ба-а-а-м! Ба-а-а-м!

— Ну что же вы, ваше благородие? Ранены? — забеспокоился Адам. — Вот и кровь...

Максим убрал руку от уха — на пальцах атели капли крови.

— Пустяки, — успокоил Адама Максим, в горячке совсем не чувствуя боли, — слегка задело... Пулемет к бою!

Адам сорвал тулуп с «максима» и, быстро, но аккуратно свернув овчинку, положил на скамью. Затем вынул из коробки такую удобную на морозе пулеметную ленту на основе льняной ткани, быстро вставил наконечник ленты в окно приемника, дернул ленту влево и опустил рукоятку. Зарядив, Адам отшагнул от пулемета, и за дело взялся Максим — подкатил пулемет дальше в проем, чтобы увеличить сектор обстрела, установил прицел.

Ба-а-а-м! Ба-а-а-м! Ба-а-а-м!

Не умолкая, гремел на звоннице колокол.

Ба-а-а-м! Ба-а-а-м! Ба-а-а-м!

С башни из-за колокольного звона не было слышно команд, зато хорошо виделось, как, застегивая на ходу шинели и надевая папахи, из жилого помещения выбегают солдаты с винтовками в руках. Затем ворота монастыря распахнулись, и унтер-офицеры, разделив солдат на две цепи, вывели их за стены в подготовленные заранее окопы по правую и левую сторону ворот. Солдаты, стуча сапогами по мерзлым комьям земли и оскальзываясь на обледенелых брустверах, рассредоточивались в окопах, занимая круговую оборону. Вел стрелков лично командир полка капитан Богославский.

Колокол смолк, и тут же вослед, разрывая морозный воздух, прозвучала команда Богославского:

— По атакующему противнику прицел постоянный. Стрельба пачками. Готовсь!.. Пли!..

Грянул стройный залп.

Пули, сбивая на лету ветки, кровожадно ринулись в лес в поисках жертвы, но по большей части смогли поживиться исключительно смолистой мякотью безмятежных сосен.

Из леса грянули не такие стройные, но множественные выстрелы, и через мгновение встречнолетящие солдатскому залпу пули, горячася от бессильной ярости, выбивали фонтанчики снега из брустверов окопов и расплющивались о стены монастыря.

Максим, заметив за поваленной сосной повторяющиеся вспышки винтовочных выстрелов, сбросил рукавицы, поднял предохранитель, подал





вперед до отказа спусковой рычаг, и его «максим» заговорил, обкладывая неприятеля свинцовой бранью, вышибая лучину из сосны-укрытия.

— Готовсь!.. Пли!..

Грянул новый винтовочный залп.

Сонная белка рванулась из кроны вниз по сосновому стволу и, когда до спасительного наста, под который можно было спрятаться и переждать этот грохот, что внезапно изменил зимнюю лесную жизнь, оставалось не более трех вершков, была разорвана случайной пулей.

С башни ахнула пушка, факельно полыхнув, довольно далеко подсветив снег желтоватым масляным светом. Потом ахнула еще раз. И еще...

Бой вспыхнул ярко, но горел не долго. Вскоре перестрелка начала тлеть, угасать, пока не погасла вовсе.

Серая лесная мгла, похоже не спешащая стать белым днем, смотрела на защитников монастыря сотнями пар невидимых глаз. Над местом недавнего боя повисла тишина, и только лоскуты тонкой коры, содранные с сосен пулями, шелестели на ветру.

Но тишина продлилась недолго.

Из леса раздалось протяжное простуженное «Ура-а-а-а!», подхваченное сотнями голосов, и к монастырю, утопая по колено в снегу, цепью двинулись красные партизаны-мамонтовцы, на ходу стреляя из винтовок.

— Готовсь!.. Цельсь!.. Пли! — уже сорванным до хрипоты голосом командовал капитан Богославский.

«Ба-а-а-м! Ба-а-а-м! Ба-а-а-м!» — так же хрипло и надтреснуто вторил ему колокол на звоннице.

Ударил залп из окопов, прореживая цепь партизан. И только самые бойкие из них, прячась за деревьями, успели подобраться на близкое расстояние и метнули ручные бомбы в окопы. Но ни одну из бомб добросить не удалось — все они разорвались перед бруствером, засыпав окопы комьями мерзлой земли.

В ответ громыхнула пушка, но пушечный снаряд, со свистом пролетев над головами наступающих, разорвался далеко за их спинами, надломив и с треском обрушив высокую сосну.

— Ленту придерживай! — командовал Максим Адаму, поднявшемуся по лестнице с патронными коробками в руках.

Адам подхватил ленту, и Максим ударил длинными очередями, заставив цепь сначала остановиться, а потом и вовсе залечь.

Около четверти часа с обеих сторон шла активная перестрелка, впрочем смерти никому не причинившая.

Шла-шла, да и сошла на нет.

Партизаны, подобрав раненых, вновь отступили. Похоже, Богородица — покровительница монастыря — своею чудесной силою давала людям возможность не дойти до края в своей лютой злобе. Да вот только не каждый голос с небес бывает услышан...

В неведении и тянувшемся ожидании время стало густым, словно студень. Метель, что выказывала свои ветреные капризы с самого утра,

разыгралась безудержно, не на шутку и мотала кроны сосен так, будто это были не матерые столетние деревья, а белоголовые одуванчики.

Адам смешно сморщился, заводил носом и чихнул — иногда порывы ветра бросали в лицо дымной гарью. Это партизаны, выставив дозоры, отошли глубже в лес и развели костры, чтобы погреться.

А в окопах сделать то же самое не могли, и вскоре метель забила окопы снегом, сравнив их с землей и засыпав и без того промерзших до костей стрелков. Пришлось завести их обратно в монастырь, оголив первую линию обороны.

Глядя на то, как тяжело идут стрелки, увязая в рыхлом свежем снегу, Максим вдруг почувствовал усталость в напряженных ногах и бессильно опустил на скамью, на заботливо подстеленный Адамом тулуп. И тут же заныло раненое ухо, про которое Максим в горячке боя совсем забыл.

— Облепишным маслом или хоть жиром бы гусиным смазать, — посоветовал Адам. — Идите в трапезную, ваше благородие, там послушницы об вас похлопочут, заодно подхарчитесь.

Максим (покраснев и отвернувшись при слове «послушницы») идти отказался.

— Иди ты, Адам, — нарочито бесстрастным голосом на правах старшего по званию приказал Максим. — Что-нибудь нам поесть принеси. И... поспать бы тебе.

— Ничего, мы не спать привычные... — улыбнулся Адам, догадываясь, о чем не смог попросить его Максим. — Я сбегая — одна нога здесь, другая там!

Но подхарчиться не получилось — партизаны снова пошли на штурм. На этот раз молча, без криков «ура» тащили они приставные тяжелые лестницы, только что сделанные из стволов молодых сосен.

И эта атака почти удалась, будь лестницы покрепче — ступеньки, закрепленные кусками вожжей и пенковыми веревками, плохо держались из-за того, что сырые веревки деревенели на морозе и теряли эластичность. Удальцам удавалось забраться до самой кромки стен, но ступеньки под тяжестью тел срывались вниз, после чего разрушалась сама лестница.

В то самое время стрелки внутри монастыря, готовясь со всем радующим встретить непрошенных гостей, рассредоточивались по периметру, держа наготове винтовки с примкнутыми штыками. Капитан Богославский, сам с трехлинейкой на плечевом ремне, быстрыми шагами обходил строй солдат, подбадривая крепким словом.

Так и не успев поживиться ничем съестным в трапезной, прибежал запыхавшийся Адам и сразу включился в бой. Адам менял ленты, а Максим бил по карабкающимся на стену партизанам из пулемета, но для его башни оставалось много мертвых зон у стены. Пушка, бьющая с башни напротив, в деле отражения подошедшего вплотную неприятеля оказалась бесполезной, и, если бы не шаткость лестниц, быть бы партизанам в монастыре, а там, в рукопашной, судя по их числу (а они имели явное преимущество), сломить сопротивление стрелков удалось бы быстро. Именно





поэтому, в расчете на рукопашную, многие партизаны так и лезли на стены — без винтовок, с шашками наголо, с короткими коваными пиками или даже с топорами.

В боковой проем башни Максим увидел голову почти взобравшегося на стену партизана. Мужик в папаче с красной лентой наискосок, с кучерявой черной бородой, набитой снегом, весело скалил зубы и, упершись топором в цоколь стены, пытался взобраться на самый верх. Максим как под гипнозом смотрел на эти оскаленные в диковатой улыбке зубы, на горящие азартом глаза и на топор, поблескивающий холодным острием.

И вдруг бородатый мужик мгновенно исчез, словно кто-то дернул его снизу за ноги.

В этот самый момент штурмующих подвели лестницы, обрушив тех, кто добрался до верха, на головы нижних и обернув их острые сабли и топоры против своих же.

И штурмующие снова повернули вспять.

А через несколько часов в очередной раз пошли на приступ, в этот раз с более крепкими лестницами, видимо раздобыв для такого дела гвоздей.

Но и обороняющиеся учли свои ошибки — со второй башни, выходящей к лесу, сняли пушку и перевели туда один из пулеметных расчетов, что стоял на башне, защищающей монастырь со стороны реки Барнаулки, оставив там вместо пулемета несколько сообразительных и метких стрелков. Так что теперь подходы к самой удобной для штурма северной стене находились под перекрестным пулеметным огнем, исключаящим большинство мертвых зон.

И эта атака захлебнулась и откатилась в лес.

Прошел час бездействия, еще один, и вдруг у восточной стены громынуло так, словно нежданная гроза пришла с реки и удивила своей зимней несвоевременностью. Оказалось, что партизаны заложили под стену и взорвали порох, но заряд оказался слабым, и стена устояла почти без разрушений, если не считать небольшого пролома, в который возможно было просочиться человеку небольшого роста. Стрелки с башни хорошо разглядели, как в сгущающихся ранних сумерках двое партизан-бомбистов вели под руки третьего, видно пострадавшего от своей же пороховой закладки.

В злоумышленников стрелять не стали, а проем немедленно заложили битым кирпичом и подперли тяжелой телегой. Судя по всему, нового взрыва не предвиделось — на него у партизан явно не хватало пороха.

Монастырь ждал очередного штурма.

Никто не знал, что в это время двое разведчиков — подпоручик Мясищев и ординарец Богославского фельдфебель Новоселов, отправленные утром капитаном в штаб к полковнику Камбалину, — докладывали капитану обстановку в городе и устные распоряжения Камбалина для монастырского гарнизона. В нарушение воинского устава производился доклад в присутствии игуменьи Мириамны.

Говорил в большей степени подпоручик Мясищев, а фельдфебель Новоселов в основном кивал головой, подтверждая сказанное. Разведчики, оба помороженные (оттого что, не желая рассекретить себя, вынуждены были ждать темноты, лежа в снегу), приняли перед докладом для сугрева по полному стакану шустовского коньяка «Финь Шампань» из личных запасов капитана Богославского и теперь, осоловелые от тепла и алкоголя, держались из последних сил.

— В городе бардак, ваше благородие, — переминаясь с ноги на ногу, рапортовал Мясищев, тяжело ворочая во рту непослушным языком. — Железнодорожная станция под угрозой захвата большевиками и сочувствующими им элементами. В железнодорожных мастерских — бунт, неподчинения, саботаж... Охрана моста перешла на сторону бунтовщиков вместе с оружием. Гарнизону приказано пробиваться к станции — она под надежным прикрытием нашего бронепоезда. Грузимся в подготовленные вагоны и выдвигаемся в сторону Новониколаевска. После отхода всех частей мост через Обь будет взорван. Оружие, которое невозможно вынести, приказано привести в негодность.

Весь доклад капитан Богославский, поскрипывая сапогами, ходил от окна до окна, пристукивая мундштуком папироски о серебряный портсигар.

— Да-а, хорошо сказано, пробивайтесь! А как это сделать через боевые порядки красных и без поддержки кавалерии?! — после длительной паузы заговорил Богославский и тут же спохватился, заметив, что подпоручик замер в удивлении, перестав даже переминаясь с ноги на ногу. — Идите, братья, вам отдых положен...

Дождавшись, когда за подпоручиком и фельдфебелем закрылась дверь, капитан Богославский обратился к игуменье Мириамне:

— Понимаете, в чем дело? Даже если мы прорвем оцепление красных, нам предстоит бой, который даст убитых и раненых... И что получается — они приказывают мне бросить и тех и других? Ну хорошо, пусть даже так... Но пока будет идти бой, а его еще надо выиграть, пока уцелевшие из нас пешим порядком дойдут до станции, там уже и духа не останется воинского эшелона и мост будет взорван...

Богославский вновь вспомнил о папиросе, постучал ею о портсигар, но в присутствии игуменьи закурить так и не решился, смял папиросу и бросил ее на стол.

— Вот что я думаю, Сергей Евгеньевич, — медленно, едва ли не распевно заговорила игуменья, — с Божьей помощью мы хранили вас до сей поры, сохраним и впредь. У вас свое войско, а у меня — свое. Вооружу своих насельниц иконами да хоругвями, выйдем мы супротив безбожников и молитвою путь им преградим. А вы, Сергей Евгеньевич, уводите своих воинов через восточные ворота, там сразу крутой спуск к реке, ночь скоро, а по темноте никто вас не увидит... Сберегите солдатиков, не кладите их жизни зря. И не казните себя, не считайте, что прячетесь за бабьими спинами, с нами Матерь Божия, мы под ее защитой и покровительством,





уж она-то защитит нас всецело. Или вы в Господа Бога и в Пресвятую Богородицу не веруете, Сергей Евгеньевич? А коли веруете, так времени зря не теряйте.

Богославский слушал тихую речь игуменьи Мириамны с удивлением и благодарностью одновременно, и решение, по исходу ее слов, созрело в его голове мгновенно. Ничего не ответив игуменье, он торопливо взял со стола колокольчик и позвонил, вызывая адъютанта.

Менее чем через полчаса рота Третьего Барнаульского Сибирского стрелкового полка строилась в две шеренги у небольших восточных ворот монастыря.

А Максим и Адам скрепя сердце колдовали возле своего новенького «максима», калеча его, дабы не достался он в руки противника и не был обращен против них же самих. Вернее, колдовал один Адам, пробиная позаимствованным у кузнеца зубилом кожух пулемета. Максим же не в силах смотреть на «варварство» Адама, отвернувшись от своего металлического тезки, крутил в руках боевую пружину ударника. Сам ударник и детали возвратного механизма временно покоились в карманах шинели Максима и предназначались к утоплению в Барнаулке. Собственно, без этих деталей пулемет уже не годился для стрельбы, но Адам, выдав довольно странную фразу: «Я тоже не хотел бы живым сдаваться в плен», испросил разрешения превратить бывшего боевого друга в металлолом.

Да-дах! Да-дах! Да-дах! — Адам бил двойным ударом, сначала намечая, а затем со всей силы опуская молоток на зубило.

И каждый удар двойным эхом отзывался в сердце Максима, загоня и без того неважное настроение в полосу полной тоски. К тому же Адам еще и песню затянул соответствующую:

Не для меня придет весна,  
 Не для меня Дон разольется,  
 Там сердце девичье забьется  
 С восторгом чувств — не для меня...

К южным воротам стекались монахини и послушницы, некоторые из послушниц, по настоянию игуменьи Мириамны, повязали на голову пестрые шали. Многие несли иконы — и большие с резными окладами, и малые без окладов. А еще хоругви. Собирались как на Крестный ход.

...Не для меня цветут сады,  
 В долине роща расцветает,  
 Там соловей весну встречает,  
 Он будет петь не для меня...

Почти бесстрастно продолжал петь Адам, вкладывая всю злость и досаду в удары молотка по зубилу.

Да-дах! Да-дах! Да-дах!



Закончив с пулеметом и забрав с собой винтовки, Максим и Адам спустились с башни. Внизу Адам, с многозначительным выражением лица, метнулся к трапезной, а Максим направился в сторону группы послушниц и монахинь, в нерешительности постоял неподалеку от них, надеясь увидеть Алену, но, так и не отыскав ее, пристроился в хвосте колонны стрелков, что стояла у восточных ворот, щетинясь остриями примкнутых штыков.

В это время фельдфебель Новоселов — ординарец Богославского — и по обыкновению оказавшийся в гуще событий Адам с усилием распахнули створки южных ворот.

Монахини запели и потянулись к выходу.

Первой шла старенькая мантийная монахиня с иконой Божией Матери на древке, слева и справа несколько рясофорных монахинь несли фонари, с горящими под стеклом свечами, далее, ступая величественно, словно в Крестный ход на Пасху, следовала сама игуменья Мириамна в черной рясе и черном апостольнике. Монахини несли распятие на древке, иконы, Библию, хоругви...

Богородице Дево, радуйся,  
Благодатная Марие, Господь с тобою;  
Благословенна Ты в женах  
И благословен плод чрева Твоего,  
Яко Спаса родила еси душ наших...

Максим перекрестился и поклонился лику Богородицы.

— Бгатцы, бгатцы мои, пгавославные! — картаво запричитал солдатик с прожженной на спине шинелью, стоявший через две шеренги от Максима. — Что же это деется! Пошто бабы эти вогота откгывают? Сметги нашей хотят? Пгямо в гуки к пагтизанам отпгавляют...

— Помолчи, коли православный, — пихнул в бок картавого солдатика стоящий с ним рядом стрелок с забинтованной по самые брови головой. — И дыши носом, пока бабы за тебя воевать будут...

— Разговорчики в строю! — вполголоса прикрикнул подошедший к колонне капитан Богославский. — Слушать меня внимательно! И выполнить все в точности. От того зависит, будем ли живы. Идем как на марше. Штыки отомкнуть. Выполня-ать команду!

Стрелки вразнобой залязгали штыками. Дождавшись, когда лязг металла стих, Богославский продолжил:

— Выходим через восточные ворота в колонну по два. Сразу же спускаемся вниз к Монастырскому мосту, переходим на тот берег, ждем дозор на Булыгинской заимке. Оттуда пешим порядком продвигаемся к железнодорожной станции. Идем без промедления и без остановок. Не растягиваемся — дистанция не более пяти шагов. На станции грузимся в воинский эшелон. У меня всё. С Богом! Открыть ворота. Выставить дозор! Рота, направо! Ма-арш!





Заскрипела воротина, и первые шеренги стрелков растворились в проеме, шагнув из-под укрытия монастырских стен в разыгравшуюся метель, что равномерно, словно колдун, готовящий магическое зелье, смешивала пелену белого снега с темнотой быстро наступающих сумерек. Следом за первыми шеренгами метель, порция за порцией, поглотила в свое бездонное чрево и остальных стрелков, послевкусием оставляя глухой топот сапог по мерзлой дороге.

«Пора и мне», — подумал Максим и в ту же минуту к нему подбежал запыхавшийся Адам.

— Ваше благородие, обождите меня ради Христа, забегу к кузнецу на единый миг... Инструмент надо бы вернуть! — зачастил Адам, в подтверждение слов крутя в руках молоток и зубило. — Потом мы наших догоним...

— Хорошо, — согласился Максим, — буду ждать у источника.

Адам нырнул в проем и сразу пропал в снежной пелене.

«Похоже, я последним покидаю этот тонущий корабль, — невесело подытожил Максим, выходя из монастыря под скрип закрываемой за ним воротины. — А почему тонущий? Чуть полнейшая...»

Ветер недружелюбно толкнул в спину и бросил в глаза горсть колючего снега. И от этого тычка Максим едва не упал — ноги вдруг стали как ватные и в голове загудело, будто рядом опять бухали солдатские сапоги, только не по снегу, а по брусчатке.

Слабость и шум ушли так же внезапно, как и проявились.

Максим прислушался — ему показалось, что порыв ветра принес сверху, с лесной дороги, обрывок молитвенного пения:

Богородице Дево, радуйся,  
Благодатная Марие, Господь с тобою...

Но, кроме шума метели в сосновых кронах, порою переходящего в вой, выудить из принесенных ветром звуков Максим ничего не смог.

Внизу, на подходе к Монастырскому мосту, извивалась серой лентой колонна стрелков, постепенно теряясь в темноте и снежном вихре. Максим тоже двинулся вниз, за колонной, но, дойдя до Свято-Никольского источника, остановился дожидаться Адама.

На потемневших досках часовни хорошо, словно подсвеченный огнем лампы, читался лик иконы Николая Чудотворца.

«Господи, — вдруг подумал Максим, — я же в эти дни не молился ни единого разу!.. Молитва есть Святителю Николаю... Сейчас, сейчас...»

Но в голове вместо молитвы опять забухали сапоги, а тело пробил озноб.

«Сейчас, вспомню, сейчас...» — повторял Максим, прислонил винтовку к скамье, встал у источника на колени, зачерпнул воды и брызнул в лицо.

Немного полегчало, Максим поднялся, перекрестился с поклоном и зашептал слова молитвы:

— Николае Угодниче! К тебе как к учителю и пастырю я обращаюсь с верой и почтением, с любовью и преклонением. Благодарственные слова тебе направляю, за жизнь благополучную молю. Спасибо огромное тебе говорю, на милость уповаю да на прощение. За грехи, за мысли да за помыслы. Как помиловал ты всех грешных, так и меня помилуй. От испытаний страшных огради да от смерти напрасной. Аминь.

Максим перекрестился, но завершить знамение не успел — за спиной раздался голос Адама.

— Закончили, ваше благородие? Я поджидаю... Я думаю, что надо вам сначала рану смазать, я ведь жиру гусяного раздобыл, еще тогда! Только минуты нам не выдалось на то...

Пока Адам тараторил, Максим присел на ступени часовни и развязал башлык.

— А ты знаешь, Адам, что одному благочестивому человеку случилось здесь видение — огненно-водяной столб, а в нем образ святителя Николая Чудотворца. В том самом месте, где явлен был святитель, по сей день из земли бьет родник, что вкупе с молитвой исцеляет больных и страждущих.

Адам отрицательно покачал головой, присел рядом, макнул палец в склянку с жиром и принялся смазывать ухо Максима, оцарапанное пулей.

— Не слышал про то. Огненно-водяной столб. Скажите, пожалуйста... Ваше благородие, да у вас жар, однако, — изумился Адам.

— Ничего, ничего... — отозвался Максим. — Это ничего. Доберемся до станции... В поезде отосплюсь, к утру пройдет...

— В поезде... Ну ладно, в поезде так в поезде, — невесело усмехнулся Адам, полез в карман шинели и вынул две просфоры. — Я тут, ваше благородие, просфорками разжился, суховатые, но нам ли форсить и жареных поросят требовать. Водицы святой испили, просфорки погрызем — считай, что причастились. Можно и на смерть идти.

Адам, быстро похрустев просфорой, что оказалась ему на один зубок, легко поднялся и пошел вниз по тропинке, негромко напевая ту же песню, что завел еще в монастыре, видимо, не в силах избавиться от ее горькой сути:

...Не для меня журчат ручьи,  
Текут алмазными струями,  
Там дева с черными бровями,  
Она растет не для меня.

Не для меня весной родня  
в кругу домашнем соберется,  
«Христос воскрес!» — из уст польется  
в день Пасхи нет, не для меня!..





— «На смерть идти». На какую смерть, Адам? — запоздало спросил Максим, глядя в широкую спину Адама, маячившую сквозь крутящиеся снежные вихри в нескольких шагах впереди. — Мы идем на станцию...

Но до железнодорожной станции они не дошли, едва лишь свернули с Кузнецкой улицы в Соборный переулок, как Максим просто сел в сугроб: ноги ослабли и не слушались, лоб его покрылся испариной, тело сотрясала мелкая дрожь.

— Да-а, дело худо, ваше благородие, — загрустил Адам, — вас лечить надо, вас бы под присмотр. Есть ли к кому?

— Недалеко, — с трудом проговорил Максим, — на Петропавловской линии живет отец Николай, священник собора Петра и Павла...

В доме отца Николая еще не спали и ночных гостей приняли спокойно и радушно. Но Адам гостевать не стал, сдав с рук на руки Максима, он тут же ушел на железнодорожную станцию, ушел по настоянию Максима, не желавшего, чтобы их сочли дезертирами.

Вернулся Адам довольно быстро.

Максим уже спал, и Адам собрался было уйти, но отец Николай Адама не отпустил, провел его на кухню, где их поджидал кипящий самовар, домашние лепешки из пресного теста и медовые соты.

— Можете все, что творится на станции, рассказать мне, — разливая чай по стаканам, предложил отец Николай. — Я все в точности передам Максиму. Можете довериться мне. Мы с батюшкой Максима — давние друзья, одну семинарию закончили... Впрочем, не обо мне сейчас речь, рассказывайте вы.

Адам взял со стола стакан в серебряном подстаканнике с отлитыми в узор летящими ангелами и некоторое время грел застывшие на морозе руки о нагревшийся подстаканник, забыв про чай, пока отец Николай не подсказал ему:

— Но лучше сначала чаю попейте с травками, пока совсем не простыли, да медку откушайте, вам на пользу пойдет.

— К станции уже не подойти — вооруженные рабочие из мастерских на каждом углу, да и партизаны тоже в городе... — спокойным, неожиданно спокойным для отца Николая, голосом заговорил Адам, прихлебывая горячий чай. — Перестрелки кое-где... Основные части отправлены эшелонами на станцию Алтайская. Штаб полковника Камбалина тоже там — стало быть, Барнаул полностью отдается во владение красным... Передайте: можем уйти ночью через Обь, по льду, хоть завтра. Найти коней — моя забота. Как их благородие, господин унтер-офицер решат.

— Я бы хотел оставить Максима у себя, — мягко, словно извиняясь перед Адамом за то, что вынужден вмешиваться в чужие ранее намеченные планы, заговорил отец Николай, — ослаб он очень, ему подлечиться надо. Мы уж и то — микстурой хотели напоить, бульоном... Все тщетно. Горло у него так заложено, что глотать он совсем не может.

— Это как их благородие решат, — ответил Адам, вставая и расправляя складки на гимнастерке, — за Обь подаваться или остаться тут. А для

горла — керосином полезно лечиться. Ложку выпил, через час и дышишь, и пищу принимаешь. У нас в деревне так лечат. Так что буду ждать его завтра к полудню в...

— Приходите в наш собор, — поспешно подсказал отец Николай, — там спокойнее.

— Так что буду ждать его в соборе. Прощевайте, батюшка. Благодарим за чай, за сахар... — бубнил Адам, надевая шинель, и, увидев винтовку Максима, так и стоящую в углу у порога, спохватился. — Винтовочку их благородия я заберу, чтобы вам не случилось от нее неудобства...

На следующий день Максим в условленное время поджидал Адама в Петропавловском соборе. Здесь, внутри храма, стояла совершенно мирная тишина, особенно остро это чувствовалось после улицы, где все было в движении, ходило ходуном, нередко выплескивалось от одного до другого края тротуара ярко-красными бантами, а то и флагами над серыми одежками и белыми сугробами, да еще и гомонило, пело под гармошку...

Максим, по-прежнему ослабленный болезнью, несмотря на протесты отца Николая, встал утром с постели. Керосин, испробованный как лекарство накануне вечером и нынче утром, помог воспаленному горлу Максима и не просто помог, а словно чудодейственный бальзам почти полностью снял отек с горла, позволил поесть и принять порошки.

— Послушай, Максим, — увещевал отец Николай, — тебе не следует уходить, ты болен... Прости, может сейчас не время для подобных бесед, но... Ты как сын мне. А посему — послушай старика. Ситуация складывается не в пользу Колчака. Народ не с вами. Это определено. И еще — определено то, что эта война ведется в угоду дьяволу. Свои против своих. Подумай об этом. Об этом надо подумать, подумать обязательно... Ты молод, не во всем разобрался. Оставайся у меня. Возьмем тебя в храм на звонницу, звонарем. И петь будешь на клиросе — так легче укрыться. Господь вразумит тебя на дальнейшее, дай только себе времени на то вразумление.

— Спаси Бог, отец Николай, — поблагодарил Максим и, улыбнувшись виновато, добавил. — Пусть сегодняшний день все и решит. А сейчас — мне нужно идти.

От внутреннего жара и от теплого на вате пальто, ссуженного ему отцом Николаем, Максим весь взмок, пробираясь сквозь толпы разномастного люда, заполнившего близлежащие к площади улицы и саму Соборную площадь. Происходящее казалось ему невероятным — еще сутки назад с Соборной артиллерия морских стрелков была по отрядам красных партизан Мамонтова у Ерестной, а сейчас повсеместно бурлили уличные гулянья, чуть ли не такие же, как на Пасху или Рождество.

Пробившись в храм, Максим взял свечку, но ставить не торопился — нужно было отдышаться и унять лихорадочную дрожь в руках и ногах. Он, стараясь, чтобы его никто не видел, встал в левом приделе и прислонился к стене. Немного мутило, кружилась голова, но даже сквозь





болезненную муть сознания его насторожило случайно услышанное слово «монастырь».

— ...ну вот, как они в женский монастырь зашли, так безобразить и начали...

— Да кто они-то?

— Те, что власть в городе взяли, — партизаны эти...

— И что они, нехристи, небось иконы порушили?

— Да что им иконы, грешникам, там женское сословье им приглянулось, особенно молодухи-послушницы...

Две пожилые горожанки вышли из-за портала, увидев Максима, сразу же замолчали и, прибавив шагу, прошли к алтарю.

«А-а-а... А-а-ле-на...» — будто бы кто-то в отчаянии шепнул или скорее простонал на ухо Максиму, и он еще сильнее прижался к стене, чтобы не ухнуть в пропасть вослед за уходящим из-под ног полом.

— Ваше благородие! — Максима подхватили неведомо чьи сильные руки и удерживали некоторое время, давая возможность Максиму перевести дух.

И по «благородию», и по голосу Максим безошибочно узнал Адама.

— Адам, голубчик, — придерживаясь за стену, Максим повернулся к Адаму, — как же я рад тебя видеть.

Это и вправду был Адам, но с трехдневной щетиной и в латаном зипуне да малахае, более похожий на крестьянина, приехавшего в город за скобяным товаром.

— Эх вас угораздило с этой хворью, ваше бла... — Адам замялся и, сбавив голос, договорил. — Вы уж не сердчайте, с «благородием», нынче такое дело, осторожничать приходится... Здесь, в храме, оно еще ничего, а вот на улице — там воздержаться бы... Я вот винтовочки наши припрятал и шинелишку свою до поры приберег, но погоны срезать не ста-ал. Авось еще сгодятся, ваше бла... Тьфу ты, так вот и пляшет на языке!

— Бог с ним, с «благородием», Адам.

— А я, без чинов! Буду величать вас Максимом... — нашелся Адам. — Кто вы по батюшке-то будете?

— Серафимович!

— Вот! Максимом Серафимовичем. С нашим почтением...

— Валяй, Адам, меня так еще никто не звал.

— Вот и ладно! — подытожил Адам и, сдвинув шапку на лоб, почесал в затылке. — Эта забота не особо-то сложна была. Дальше — больше. Вам бы, Максим Серафимович, к доктору да в лазарете отлежаться, но...

Адам огляделся вокруг и, убедившись, что поблизости никого нет, продолжил:

— Сегодня ночью можем уйти за Обь, к своим. Коней я добуду, кони, можно сказать, есть... Доберемся до станции Алтайской, да хоть до самой Тальменки, если понадобится. Найдем капитана Богославского, поскольку он есть наш командир, — Адам говорил отрывисто, давая Максиму возможность осмыслить его предложение, и так же отрывисто



поглядывал на него, ожидая какой-нибудь реакции на сказанное, но Максим словно не слушал Адама, глядя мимо него. Адам прервал свой рассказ и спросил: — Что же вы молчите, Максим Серафимович?

— Видишь вон ту икону, Адам? — пропустив мимо ушей вопрос, совсем о другом заговорил Максим. — Это святые апостолы Петр и Павел. У Петра ключи от рая, а у Павла посох и книга... Мне и раньше казалось, что апостолы дают совет: выбирая знание и путь, поразмысли, а приведут ли тебя избранные путь и знания в рай? Наш земной путь извилист, а знание происходящего... Я вот, грешным делом, подумал... Говорят, что народ не с нами... Может, и так... А Господь-то, он с кем сейчас?.. Кто ныне его чады возлюбленные — мы или они? Мы или они?.. Думаю, так и корю сам себя, ведь эти мысли мои — бред, наваждение, подлинный морок, объяснить который можно только моим болезненным состоянием... Ясно же... Должно быть ясно, в конце концов — для Господа мы все едины: и мы, и они. А ты как думаешь, Адам?

Адам набрал полную грудь воздуха, собираясь ответить, но увидев, что Максим принялся читать молитву, желание высказаться попридержал. И вместо слов у него получился протяжный вздох.

— О, святые апостолы Петр и Павел, не отрекайтесь от нас, грешных рабов Божьих Адама и Максима! Не допустите нашей разлуки с любовью Господа! Станьте крепкими заступниками веры нашей! — Максим трижды перекрестился и, повернувшись к Адаму, сказал: — И не вздыхай так грустно, Адам! Еду с тобой сегодня.

С тем и расстались, уговорившись встретиться в полночь у пристани, чтобы с пологого берега вывести коней на Обской лед и выдвигаться в сторону станции Алтайской.

Распрощавшись с Адамом, Максим долго смотрел ему вслед, провозжая взглядом залатанный адамовский зипун, мелькающий среди прочих шуб, пальто и шинелей, жалея, что так и не решился расспросить его про услышанные краем уха бесчинства, случившиеся после того как они — кадровая рота Третьего Барнаульского Сибирского стрелкового полка — сдали партизанам свой оборонительный рубеж — Богородице-Казанский женский монастырь. Сдали, как по всему выходит, на разор и поругание.

«А-а-ле-на... А-а-ле-на...» — вновь и вновь гулким эхом отзывался недавний шепот-крик в голове Максима, и без того насадно гудящей, словно большой церковный колокол. И страшные картины рисовало воображение Максима, кровавые и жестокие...

«Ба-а-а-м! Ба-а-а-м! Ба-а-а-м!» — действительно запели колокола на звоннице, своим могуществом отменяя суету и неразбериху на Соборной площади и вместе с тем возвращая Максима в реальность.

«Ба-а-а-м! Ба-а-а-м! Ба-а-а-м!» — звучно пели колокола, словно бросая над площадью единый, понятный для всех клич.

Кто-то замедлил шаг, крестясь на ходу, кто-то совсем остановился и, скинув шапку, крестился с поклоном, были и те, кто смеялся, зубоскалил или грозил храму Петра и Павла кулаком.



«Батюшка звонарем зовет, — Максим вспомнил утренний разговор с отцом Николаем. — Что же, это не так глупо, как кажется... Совсем не глупо! Может, важнее всего сейчас не города оборонять, а веру православную взять под защиту от ее заблудших гонителей. Без нее и им, и нам — погибель. Вот ведь — повинуюсь колокольному звону, почти каждый оборотился, пусть иные с хулой, но всё же...»

Максим, погруженный в мысли, что в полной мере можно было бы счесть и за благостные, медленно шел по Петропавловской линии, когда его обогнали двое восторженных розовощеких гимназистов.

— Идем к столбу, там такое говорят, такое! Эти... ораторы! Всех подряд кроют! Давай же быстрее! — скороговоркой тараторил один из них.

И без того запыхавшиеся, они еще прибавили шагу, видимо спеша на Демидовскую площадь послушать нечто «такое».

Дойдя по пути гимназистов до Демидовской площади, Максим остановился поодаль от «столба» — гранитного обелиска, установленного на площади в честь столетия Алтайских горных заводов, — подле которого стояли сани и «ораторы», меняя друг друга, забирались на облучок и произносили краткие, но энергичные речи. Максим не мог слышать со своего места, о чем «таким» говорили «ораторы», но судя по жестике и плотным клубам пара, выстреливающего из ораторских ртов в морозный воздух, действительно крыли всех подряд.

Очень скоро Максим, чувствуя, что начинает замерзать, решил вернуться домой к отцу Николаю и, уже разворачиваясь, увидел, как на облучок саней карабкается солдатик в очень знакомой шинели, прожженной на спине.

Максим подошел поближе и, услышав картавую речь, убедился, что это именно тот перепуганный стрелок, разглагольствовавший, когда они ночью скрытно уходили из монастыря через восточные ворота.

— Бгатцы, бгатцы мои, кгасные пагтизаны! — срывающимся голосом кричал картавый. — Товагищи! Кто я был вчеге? Гядовой солдат у Колчака, насильно мобилизованный! А сегодня я бгосил в гязь эти тгеклятые пагоны и пгошу пгинять меня в пагтизаны всего как есть, с тем чтобы защищать от Колчака власть габочих и кгестьян...

Дослушивать до конца речь картавого Максим не стал из брезгливости, да и слабость дала о себе знать.

Пора было возвращаться.

Отец Николай с порога принялся отчитывать Максима.

— Ну что же ты, Максим, как дитя неразумное, право слово. Больной да в эдакий мороз разгуливать по городу вздумал. Тебе бы в постель денька хоть на три, хворь злотворную перележать...

Максим, смущенный такой заботой и чувствуя себя виноватым перед отцом Николаем, дал батюшке выговориться, напоить себя горячим молоком с медом, выпил все предложенные батюшкой лекарственные порошки и только потом признался:



— Я... уезжаю сегодня ночью, буду часть свою догонять... Благословите, батюшка...

Максим сложил руки крестом ладонями вверх и склонил голову.

— Бог благословит, — тихо произнес отец Николай, крестя Максима. — Бог милостив. Раз решил так, значит, по тому и исполняй! Только помни, Максим, будут сомнения в душе — приходи. Если не знаешь, кому верить, — спроси свое сердце, когда в сердце добро — оно не обманет... А теперь — спать. Сон тебе силы придаст.

Максим безропотно отправился на выделенный ему диван в кабинете отца Николая, но заснуть так и не смог. Все вспоминался ему картавый солдатик в прожженной на спине шинели.

«Ловко это он, — мучительно размышлял Максим, укрывшись одеялом с головой, как любил делать в детстве, когда хотел сузить сложный и непонятный ему мир до минимума. — А завтра, если мы верх над красными возьмем, — опять к нам побежит, “бгатцы, бгатцы” станет кричать? И это его прикрыли собой безоружные монахини? И Алена с ними... А я еду... И отец Николай как в меня смотрит: “Будут сомнения в душе — приходи”. Этих сомнений и не счесть, всю душу источили...»

Нет, под такие мысли не шел сон к Максиму, несмотря на пуховую перину, мягкую как облако небесное, что заботливо постелила для дорогого гостя супруга отца Николая матушка Евгения. Несмотря на высоко взбитые ее доброй рукой подушки, несмотря на самое теплое в доме одеяло из верблюжьей шерсти.

Даже когда мысли спутались и утихли, Максим не уснул — он в свете уличного фонаря, пробивавшегося сквозь тюлевые шторы, рассматривал книги, что занимали одну из стен в кабинете отца Николая. Полумрак подбрасывал целые сюжеты для фантазии и воображения Максима. То книги казались ему патронами, набитыми в пулеметную ленту, то кирпичной стеной монастыря, по которой, сдирая кожу с переплетов книг-кирпичей, чиркали пули. А нарядные корешки энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона напомнили ему парадный строй на плацу в Омске, золотые погоны офицеров, строгую фигуру генерала Каппеля, застывшего на коне, словно они с конем единое целое, адмирала Колчака, объезжающего строй...

Нет, не шел сон к Максиму, а скоро и время подоспело отправляться на пристань.

Ночь стояла ясная, морозная. Снег, вымерзший до хруста, отзывался на каждый шаг. Дружно дымили печные трубы. За окнами домов таилось тепло. По шторам плавно двигались тени. Мужские, женские... Казалось, ничего не изменилось в привычном человеческом мире — скоро придет Рождество, а с ним пение в храме, славящее младенца Христа, подарки, катания, мясной аромат кипящих в бульоне пельменей, только только занесенных в дом с мороза...

Максим, умиротворенный теплым светом окон, шел по Московскому проспекту не таясь, но, увидев высыпавшую со двора одного из домов





группу вооруженных людей, свернул в Мостовой переулок и дальше к пристани пробирался крадучись, стараясь держаться в темноте подальше от оконного света.

Адам, как-то ухитряясь не скрипеть снегом, вынырнул из темноты.

— Вот и хорошо, Максим Серафимович, — весело зашептал Адам. — Вот и хорошо, ваше благородие... Да что я шептать взялся, нет тут никого, я тут поблизости весь берег обошел. Там, кстати, полынья поодаль — бабы бельишко полоскают, хорошо, что я по еще свету заметил. А то бы ухнули в полынью с конями вместе... Бабы-то днем были... А сейчас — никого... Тут не то что говорить — петь можно!

И Адам снова запел песню, что не отпускала его несколько дней.

...Не для меня реки струя  
 Брега родные омывает,  
 Плеск кротких волн других смущает;  
 Она течет — не для меня!..

Напевая, Адам резко нырнул в темноту, песня на время стихла, потом опять послышалась совсем рядом, и Адам появился, ведя в поводу двух коней, накрытых попонами.

— Тут сарай лодочный. И что за добрый человек туда солому уложил? Так, глядишь, и померзли бы кони, и попоны не выручили бы. А вот и винтовочка ваша, Максим Серафимович. — Максиму показалось, что веселье у Адама резко сменилось полным спокойствием, едва ли не апатией. — Ну что, в путь? Как говорится, с Богом!

Осторожно, не торопясь они перебрались на другой берег и там пустили коней галопом. Студеный ветер бил то в грудь, то в спину, а то, по-медвежьи распластавшись, тяжело падал сверху, словно желая сбить с коня, с пути, закружить, заморочить. Через версту-две на дороге начали попадаться переметы. На чистых участках кони шли галопом, а на участках, занесенных снегом, копыта вязли и кони сбивались с шага. Кое-где, под снегом, предательски прятался лед, ноги коней разъезжались, они глубоко проседали, едва не падая на колени, что могло грозить увечьем и коню, и седоку. Вскоре от коней повалил пар, а на гривах зазвенели сосульки.

От студеного, пронизывающего ветра, а более от тяжелой езды Максим снова почувствовал болезненную слабость — руки едва удерживали поводья, а ноги почти не чувствовали стремяна. Его раскачивало в седле и мотало из стороны в сторону. Конь, предоставленный сам себе, перешел на шаг, гулко бухая копытами в рыхлый снег и выдыхая под каждый шаг клубы пара из ноздрей.

— Трррр! — Адам махнул рукой Максиму и остановил коня. — Стойте, ваше благородие, вон стожок, оботрем коней досуха и дальше...

Максим тоже остановил коня и не слез, а скорее сполз с него.



Адам сбегал два раза к стожку и принес два больших пучка соломы, на один усадил Максима, а другой раздергивал и обтирал коней, да так уработался, что в пору было уже и с него самого пот сгонять.

— А солома-то как пахнет! — держа в руках свежий пучок, восхитился Адам. — Мед, да и только! Того и гляди лето померещится, пчелы полетят с цветка на цветок...

— Адам, — прервал Максим блаженные воспоминания о лете, — правда, что партизаны в женском монастыре... Что безобразия были. В городе так говорят.

— Были, ваше благородие. — Адам еще раз вдохнул аромат соломы из пучка, что держал в руке, и подsunул его под морду коню, тот почти так же, как Адам, втянул ноздрями воздух и принялся жевать недавние Адамовы воспоминания о лете. — Были... Доподлинно о том разоре ничего не известно, знаю только, что нескольких молодых послушниц люди добрые приютили на Булыгинской заимке. А что их снасильничать хотели, так догадаться о том нетрудно — послушницы прибежали босые да почти нагишом...

Конь дожевал пучок соломы и благодарно ткнулся мокрыми ноздрями Адаму в ладонь.

— Зря я утянул вас с собой, Максим Серафимович, — вздохнул Адам. — Вернуться бы вам, ведь недалеко отъехали. Опять же...

Адам недоговорил, подвесив в воздухе нечто понятное им обоим, но не обязательное к произношению.

— Ты прав, Адам, — почти сразу согласился Максим, словно ждал такого поворота событий, заранее приняв решение, — ты прав. Я возвращаюсь.

— Доберетесь сами, а то, может, провожу вас до Оби?

— Доберусь, Адам. Спасибо тебе за все.

Максим с усилием поднялся с соломы, шагнул к Адаму, и они крепко, по-мужски обнялись. После чего Адам помог Максиму сесть в седло и подал винтовку.

— А как же ты, Адам? — закидывая винтовку на плечо, спросил Максим. — Доберешься?

— А я, ваше бла... то есть Максим Серафимович, пожалуй, тоже к себе в село подамся. Смутили вы меня, ей-богу, смутили... Если что — ищите меня в Калиновке, что на Чумыше в Залесовской волости. Меня там каждая собака знает. Ну, пора, а то коня застудите.

Адам хлопнул коня по крупу, и конь рванулся было с места, но в ту же секунду, словно вспомнив о болезненной слабости седока, быстро перешел на шаг.

— Максим Серафимович, — услышал Максим из темноты, — там полынья, не забудьте объехать! А винтовочку в полынье утопите — она вам больше без надобности!

Максим улыбнулся. На то, чтобы ответить, не осталось сил. Какое-то время ему еще было слышно, как о мерзлую землю стучат копыта и как сквозь стук еле слышно пробивается Адамова песня:

...А для меня кусок свинца,  
Он в тело белое вопьется,  
И слезы горькие прольются.  
Такая жизнь, брат, ждет меня.

Потом стихла и песня.

«Так, не спать, не спать! Не хватало еще замерзнуть, — встряхнулся Максим, чувствуя, как клонится голова к холке коня и слипаются глаза. — Я должен вернуться. Правильно отец Николай говорил про сердце, что оно не обманет. Верить нужно только своему сердцу».



Иван ВАСИЛЬЦОВ

**ПОСТАВЩИК БАРАХОЛОК**

\* \* \*

Все у нас разное:  
мнения и доходы,  
рябины оттенки —  
рудые,  
рыжие  
и терракотовые,  
и в стаканах семки,  
газеты и пароходы,  
клозеты, и на Луне  
вездеходы,  
и поскрипывания,  
и постскриптумы,  
и, которыми меряются, —  
разные  
более-менее...

А бахилы-то у нас  
всюду одинаковы —  
что в музее Пушкина,  
что в реанимации.

\* \* \*

Утром апрельским озябла  
сосулек морзянка.  
Нельзя ли —  
длинный-короткий  
просто?  
Три точки —  
три тире —  
три точки?



Нет,  
           не рано...  
 Прости,  
           прости меня, милая!  
           Так будет пусть!  
 Не гру...  
           Не грусти.  
 Скоро тюльпаны  
           начнут игру,  
 распустятся в степи,  
 как подростки.

### Поставщик барахолок

Знал модельер Юдашкин  
 толк в своих балахонах.  
 Был у меня знакомый —  
 поставщик барахолок.

Раскладывался по субботам  
 тополя он в тенечке,  
 рынка в сени Сенного  
 в какие-то там денечки.

И сверху смотрел он пристально,  
 в кепочке и олимпийке,  
 на то, что им было выставлено,  
 как будто бог олимпийский.

Можно ль доверить счастье  
 бусикам-повиликам?  
 На рынках блошиных часто  
 думаешь о великом.

В этом мире невечном  
 станем мы все вещами,  
 точно бы в сне неведем —  
 нас уже завещали.

Кто-то из нас половник,  
 кто-то из нас салатник,  
 кто-то из нас солдатик,  
 кто-то — полковник,  
 любовник,  
 женатик.

Ручка ли откололась,  
носик ли покосился,  
куклы винтажной голос  
в прошлое попросился...

Или слетела кукушечка  
и не вернулась.  
Нокия-раскладушечка  
сердца коснулась.

Нам каталог не нужен —  
спутаем неужели?  
Вон, поглядите, в луже  
осколки гжели.

Осень холодная если же,  
то Конаково канают.  
В крестики-нолики-крестики  
галочки в небе играют.

Поставщику барахолки  
не до игры — сорян,  
родился он в Балаково,  
где АЭС и бурьян.

Слыл правым и виноватым,  
случалось — пил,  
себя расщеплял, как атом,  
не расщепил.

Но из черной дыры малахольной,  
что нигде-никогда,  
родилась барахолки  
поломанная  
звезда.

Еще об одном приколе:  
втрескалась в него как-то  
Дашка,  
ну здешняя  
завсегдашняя,  
на ретро-фото-порно-альбоме  
свой номер нарисовавшая.





...Дома молчать он будет  
праведно-грешно-  
                                праведно,  
  вправо и влево,  
как маятник —  
                                лучший из балаболок,  
и, конечно,  
                                не позабудет,  
и не  
позвонит, конечно.  
И поймет наконец, что время —  
поставщик барахолок.

\* \* \*

утром осенним,  
в деревне,  
                                после дождя,  
десять долбанных стихотворений  
звучат  
                                зачем-то,  
и солнце  
                                делает селфи.  
лужа  
                                лежит —  
как зеркало будто.  
чьи это лица?  
ветер  
                                кого нагоняет?  
как будто  
                                в небе  
не птица  
                                все повторяет:  
help me!

## Тюрьма-23

Мимо тюрьмы городской  
                                я  
  прохожу  
как свидетель  
                                этой  
  весной  
(осенью этой) —  
                                законопослушный  
                                мальчик  
незарекающий-  
ся.



(Ушлый:  
сберегся в тенечке,  
от себя  
самого  
отрекающийся —  
и есть он, и нет —  
не конформист,  
просто как все.)  
Снег.  
Зарешеченный лист  
прошлогодний  
впечатан  
в след.  
Хера се,  
охра!  
Бычки  
и плевочки.  
Ручья камуфляж.  
Что ж ты наделал,  
старый мудило  
в белом,  
каменщик-каменщик?..

Ну-ка, вода,  
побеги!  
Важно  
по терри-  
тории  
ранней  
весны  
(чуть не сказал —  
раненой)  
(осени?).

Туда и сюда  
прохаживается  
грач,  
поигрывая  
крылом, —  
раньше он был агрономом,  
теперь кажется конвоиром.

Кто-то спешит  
в  
триумфальный молл,  
кто-то  
спешит на оптовку



(там дешевле всегда  
и свежее, потому что же  
всё разбирают,  
подсолнечное если брать  
или кекс — бог мой! — «Свердловский»,  
или рыбу там —  
только там).  
А мне-то что?  
Куда?  
На остановку?

Случайно  
друга  
встречаю,  
кореша  
давнего.  
(«Старик,  
сколько зим!» —  
руку  
он тянет мне,  
весело корчится.)

И тут  
замечаю,  
что руки свои я сцепил  
за спиной.

...Мимо тюрьмы городской  
я  
прохожу  
как свидетель  
этой  
весной,  
осенью этой.  
И вдруг ощущаю нечаянно,  
как тянутся из-под земли,  
из-под золы  
и судьбы

побеги отчаянные.

#ВеснаОсень

#ТюрьмаПобег



Вадим ВОЛОБУЕВ

## ВСЯЧЕСКАЯ СУЕТА

П о в е с т ь

От автора

*Повесть представляет собой версию евангельских событий с точки зрения современников: философа Сенеки, властителя Галилеи Ирода Антипы, фарисейского мудреца Гамалиила, наместника Иудеи Понтия Пилата, неформального правителя Иерусалима Анны бен Сефа, основателя гностицизма Симона Волхва, а также ученика иерусалимской школы Саула (позднее известного как апостол Павел). Все они погружены в поток насущных забот, и, хотя некоторые стремятся вырваться из рутинности, никто в итоге не замечает духовного подвига, совершаемого у них на глазах. Герои ссорятся и мирятся, гонятся за выгодой и рассуждают о вечном, развлекаются и трудятся, не подозревая, что стали свидетелями величайшей мистерии в истории человечества.*

### В Кесарии Палестинской

В лето от основания Города семьсот восемьдесят третье, на второй год двести второй олимпиады, в консульство Марка Виниция и Луция Кассия Лонгина, ранней весной, едва утихли зимние бури, в Кесарию Палестинскую прибыл из Александрии племянник египетского префекта<sup>1</sup> Луций Анней Сенека.

— Вот это новости! — вырвалось у иудейского наместника Понтия Пилата, который отнюдь не обрадовался такому визиту. — Ганнибал у ворот!

Известие о неожиданном госте застало Пилата в бассейне. Несколько мгновений он хмуро соображал, достоин ли вновь прибывший того, чтобы прерывать удовольствие, потом все же решил, что с египетским префектом ссориться негоже, вылез из воды, дал рабу обтереть себя ворсистым полотенцем, надел пурпурную тунику, перетянув ее кожаным поясом с золотой пряжкой, и застегнул на плече короткий белый плащ. Невольник перевязал щиколотки наместника ремешками сандалий, и тот

---

<sup>1</sup> Префект — здесь: сановник, управляющий округом (префектурой).



неторопливо зашаркал в зал приемов, размышляя по пути, не сменить ли плащ на тогу. Облачаться в официальное ужасно не хотелось — за четыре года, что Пилат провел в этой убогой стране, он не только ни разу не надел тогу, но даже не вспоминал о ней: тяжелая и неудобная, она выглядела внушительно на статуях, а носить ее было сущим наказанием. Местным был безразличен его вид, а вот римский всадник<sup>2</sup> мог и донести куда следует, если бы увидел императорского чиновника в тунике и плаще. Поколебавшись, Пилат решил все же тогу не трогать. Лучше уж вообще без нее, чем в пожелтевшей и несвежей. А то, чего доброго, обвинят в оскорблении величия — он ведь представляет особу правителя.

Племянник египетского префекта оказался невысоким и поджарым молодым человеком с острым носом и наметившейся лысиной. Пилату он напомнил жреца Кибелы — из тех, что время от времени заглядывали в Кесарию, дудя в берекинские флейты. Наместник ожидал увидеть юного щеголя, лишь начинающего свою карьеру, а узрел приживала-бездельника под боком у богатого родственника. Не будь прибывший бездельником, давно бы уже служил в Риме трибуном или квестором либо управлял имением, а не сидел в провинции, кормясь дядиной славой.

Как полагается, гость с поклоном поприветствовал наместника пожеланиями здоровья и благополучия. Пилат кивнул, раздумывая, не занять ли ему курульное кресло<sup>3</sup>, стоявшее на трибунале<sup>4</sup>, где когда-то находился трон Ирода. Потом вспомнил, что он без тоги, и решил не садиться.

— Сенека? — повторил наместник, когда гость представился. — Выходит, ты не родственник префекту Галерию?

— Он женат на старшей сестре моей матери, господин.

— Надеюсь, у него тоже все благополучно, — сказал наместник, неспешно приближаясь к собеседнику. — Что привело тебя в Иудею?

— Дядя отправил меня взыскать долг с Ирода Агриппы, который, как он слышал, пребывает при дворе тетрарха<sup>5</sup> Антипы.

— Так этот лоботряс и твоему дяде задолжал! — вырвалось у наместника. — Наслышан о его разгульной жизни в Риме. Едва ли ты сможешь выбить с него деньги. Здесь он тоже успел нахватать долгов. Разве что Антипа согласится заплатить за него. Но я буду очень удивлен, если это случится.

— Возможно, он будет сговорчивее, когда узнает, что префект претория<sup>6</sup> тоже не прочь получить назад свои деньги.

— Сеян? — ахнул наместник, невольно бросив взгляд на статую все- сильного вельможи у правой стены.

<sup>2</sup> *Всадники* — второе по привилегированности сословие в Древнем Риме после сенаторов.

<sup>3</sup> *Курульное кресло* — складное кресло без спинки, с X-образными ножками, в Древнем Риме — символ государственной власти.

<sup>4</sup> *Трибунал* — возвышенное место, откуда сидящий на курульном кресле римский судья разбирал дела и произносил свои решения.

<sup>5</sup> *Тетрарх* — правитель четвертой части Иудеи. Иудея была разделена между тремя сыновьями Ирода Великого. Половина досталась Архелаю (он получил титул этнарха), по четверти — Филиппу и Антипе. Ирод Антипа был тетрархом Галилеи и Перей.

<sup>6</sup> *Префект претория* — командир преторианской гвардии, охранявшей императора. Одно из высших должностных лиц Римской империи.

Ничего себе! Неужели этот невзрачный малый выступает от имени самого Сеяна? Получается, не такой уж он и бездельник. Интересно, с чего вдруг второму человеку в государстве срочно понадобились деньги? К его услугам все сокровищницы в державе. А может, этот Сенека врет? Может, хочет стясти с глупого еврея серебро, прикрываясь именем Сеяна? Если так, можно было бы войти с ним в долю.

— Галерий передал мне какое-нибудь послание? — спросил наместник.

— Нет, господин. Но он передал тебе подарки. Позволишь внести их?

— «Сам я даю и беру эту вольность охотно»<sup>7</sup>, — процитировал наместник, усмехнувшись. — Вноси.

Гость несколько раз хлопнул в ладоши, и в зал вошли трое невольников с бронзовыми блюдами. На одном лежала груда разноцветных египетских амулетов в виде жуков и птиц, на другом — три золотых ожерелья, украшенных самоцветами, на третьем стояла алебастровая статуэтка Сераписа с гравировкой поперек спины: «Понтию Пилату от Гая Галерия. Будь здоров и счастлив».

Пилат оглядел подарки, переходя от одного раба к другому, повертел в руках фигурку бога, прочел надпись и тонко улыбнулся.

— Надеюсь, египетская магия защитит меня от халдейского волшебства, — сказал он, ставя Сераписа обратно. — Когда ты хочешь отправиться к Антипе?

— Завтра, господин.

— Переночуешь во дворце. Сколько с тобой народу? Раб проводит тебя в баню. Бладобрей нужен? В восьмом часу приходи на ужин. Расскажу тебе, как обращаться с местными.

\*\*\*

С Антипой у наместника отношения не складывались. Тетрарх неустанно ходатайствовал в Риме, чтобы ему вернули все владения отца, царя Ирода, обещая увеличить ежегодные выплаты, а еще обвинял Пилата в вымогательствах и пророчил восстание евреев, раздраженных поведением наместника. Пилат, в свою очередь, выражал сомнения в том, что Иудее вообще нужны какие-то тетрархи — куда полезнее было бы объединить все осколки государства Ирода в одну провинцию и стричь ее, как овцу. Заодно это позволило бы создать сплошную линию обороны против парфян<sup>8</sup> и набатеев<sup>9</sup>. Но его доносы на Антипу пока оставались без внимания, как и доносы Антипы на него. Поэтому наместник обрадовался, узнав, что гость прибыл взыскать долги с незадачливого племянника тетрарха — наверняка тот не сможет расплатиться, а значит, появится лишний повод пустить обоих евреев по миру.

По странной причуде покойного Ирода трапезная во дворце располагалась рядом с бассейном — очевидно, царю доставляло удовольствие

<sup>7</sup> Цитата из «Науки поэзии» Горация. Перевод М. Л. Гаспарова.

<sup>8</sup> *Парфяне* — население Парфянского царства.

<sup>9</sup> *Набатеи* — группа арабских племен.





расслабляться в теплой воде после принятия пищи. Иудеи вообще испытывали необъяснимое пристрастие к погружению в воду — хлебом не корми, дай только бултыхнуться куда-нибудь. Сам Пилат, как добрый римлянин, предпочитал бани, благо они находились возле дворца. И хоть трапезная была отделана с большим изяществом, наместнику куда милее мозаики на ее полу были оттиски печатей Десятого легиона в виде Нептуна и быка, красовавшиеся на стенах терм. Поначалу Пилат думал приспособить под триклиний<sup>10</sup> одну из комнат возле приемного зала, даже велел расписать ее стены картинами пиршеств, а над входом изобразить лики Цезаря Августа и Тиберия, но из-за влажности краска потекла, и наместник смирился.

Пилат вышел к ужину, обряженный на греческий манер, но с парфянской роскошью: в белой шелковой хламиде с багровой каймой и в зеленом гиматии<sup>11</sup>. К столу вывел жену и сына. Мальчишка, согласно обычаю, расположился на полу чуть в стороне от отца, так что супруга Пилата, возлегшая от мужа справа, могла ерошить отпрыску волосы и кормить с руки.

— Вглядиись внимательно в его лицо, — сказал Пилат гостю. — Знаешь, чьи это черты? Арминия<sup>12</sup>, будь он неладен. Перед тобой Тумелик, его единственный наследник. Отец больше не будет пить нам кровь, а сын теперь вырастет верным гражданином Рима.

Сенека изумленно уставился на мальчишку. Тому было лет пятнадцать, лоб усеивали угри, карие глаза и загорелое лицо делали его похожим на египтянина.

— Я слышал, что бесподобный Германик<sup>13</sup> взял в плен семью Арминия, — произнес он. — Но мне и в голову не приходило, что его сын здесь. Вот так встреча! Ты усыновил его?

— Пока нет, — ухмыльнулся Пилат. — Посмотрим, как себя покажет. Если оправдает мое доверие, упомяну его в завещании.

— А его мать тоже тут?

— Нет. Германик отдал ее в услужение Кассию Херее. Думаю, она до сих пор живет в его доме. А может, померла.

Завязался разговор о походах Германика. Пилат с удовольствием рассказал о своих подвигах в битве при Идиставизо, после которой его произвели в трибуны<sup>14</sup>, а Германику даровали проконсульский империй<sup>15</sup>.

— Но своим успехом мы были обязаны мудрости Тиберия, конечно, — поспешно добавил он.

В ожидании главного блюда они жевали улиток, финики и шампиньоны, запивая вином с водой и медом.

<sup>10</sup> *Триклиний* — помещение для пиршеств с тремя ложами.

<sup>11</sup> *Гиматий* — верхняя одежда в виде прямоугольного куска ткани.

<sup>12</sup> *Арминий* — вождь древнегерманского племени херусков.

<sup>13</sup> *Германик Юлий Цезарь Клавдиан* — сын Нерона Друза, брата императора Тиберия Клавдия. Усыновлен Тиберием. Скончался в 19 году.

<sup>14</sup> *Трибун* — офицерское звание в древнеримской армии, помощник легата (командующего легионом).

<sup>15</sup> *Проконсульский империй* — высшая власть в одной или нескольких провинциях римского государства.



— Правда ли, что в Египте есть поющие статуи? — спросила супруга Пилата, маленькая, стройная женщина в шафранной stole<sup>16</sup>, с крашеными голубым волосами, взбитыми в высокую прическу из переплетенных локонов. Она была значительно младше мужа и, конечно, не являлась матерью его единственной дочери, которую наместник, как слышал Сенека, отдал в весталки. — Я так много слышала о них.

— Это так, уважаемая Прокула, — ответил Сенека. — Статуи Мемнона в стовратных Фивах на рассвете издают стонущие звуки. Простаки считают, будто таким образом они приветствуют свою мать. Я-то думаю, что их заставляет петь ветер, поднимающийся утром. Впрочем, выглядит впечатляюще. Лебединая песнь египетского величия, как сказал бы Цицерон.

— Я слышала, египтяне — великие целители, — продолжала жена наместника.

— Они — великие суеверы. Ни одно их снадобье не действует без заклинания. Им невдомек, что все болезни, даже душевные, происходят от неправильной циркуляции соков в теле.

— Но египтяне — лучшие знатоки заклинаний. Разве нет? Говорят, их магия всемогуща.

— Я как раз собираюсь преподнести Агриппе трактат по египетской магии, чтобы не очень горевал, расставаясь с деньгами, — ухмыльнулся Сенека. — Я написал его сам. Он более полон, чем сочинение Петосири-са и Нехепсона<sup>17</sup>.

— Ты привез для Агриппы трактат по египетской магии, Луций? — расширила глаза Прокула. — Как интересно! А можно его переписать?

— Ты же знаешь, что Луций у нас всего на день, — произнес Пилат. — Ни один писец не успеет переписать целый свиток за такое время. А этот трактат, подозреваю, немалого объема.

— Мы можем поручить это сделать десяти писцам! — воскликнула Прокула.

Пилат лишь отмахнулся.

Внесли главные блюда — свиное вымя со спаржей и гороховую похлебку с колбасой и ветчиной.

— По рецепту Апиция<sup>18</sup>, — похвасталась Прокула. — Мы очень это любим.

Сенека воспользовался поводом, чтобы рассказать историю о том, как Апиций выложил пять тысяч сестерциев за краснорободку, которую выставил на продажу Тиберий, получивший ее в подарок. И как только рыба оказалась в его руках, Апиций снова преподнес ее принцепсу.

— Щедрость — лучшее качество римлянина, — прокомментировал Пилат.

<sup>16</sup> *Stola* — верхняя одежда древнеримских матрон (замужних женщин из высших слоев общества): длинная туника, надеваемая поверх исподней туники.

<sup>17</sup> *Петосирус и Нехепсон* — астрологи Древнего Египта, вероятно, вымышленные.

<sup>18</sup> *Апиций* — древнеримский хроногоник, чье имя стало нарицательным.



— Говорят, он покончил с собой после того, как у него осталось десять миллионов сестерциев, — продолжал Сенека. — Считал, что на эти деньги не сможет вести прежнюю жизнь. Настоящий сибарит!<sup>19</sup> Кстати, вы знаете, почему сибаритов отнюдь не восхищало презрение лакедемонцев<sup>20</sup> к смерти? Потому что они предпочли бы умереть, чем вести такую жизнь, — захохотал он.

Прокула засмеялась, а Пилат пробурчал:

— Будь у меня десять миллионов сестерциев...

— Тогда что? — спросила Прокула.

— Земля и Солнце! Тогда бы мы не сидели в этой забытой богами дыре, где не заработаешь ни славы, ни величия.

— Не всякий доберется до Коринфа, — насмешливо заметила супруга наместника и обратила взгляд на Сенеку. — Говорят, Апиций мог по вкусу определять разновидности дроздов, а еще угадывал, самка это или самец. Я слышала, он откармливал свиней сушеными фигами и поил их медовым вином, чтобы получить самое нежное мясо. И приказывал на ночь поливать латук водой, смешанной с медом и вином. Какая утонченность! Страшно хочется в Город, «к дыму родных очагов». Мы здесь совершенно оторваны от жизни.

— Я слышал, Апиций уговаривал Друза<sup>21</sup> отказаться от капусты, считая ее низкой пищей, — сообщил Сенека. — Странное убеждение.

— А это правда, что вдова Друза помолвлена с Сеяном? — спросила Прокула.

— Так говорят, — осторожно ответил Сенека.

— Значит, правда, — подытожила Прокула. И добавила, повернувшись к мужу: — Я же тебе говорила, что Антипа недаром переименовал Ливиаду в Юлиаду<sup>22</sup>.

— Лучший гражданин породнится с семьей Августа. Это прекрасно! — провозгласил Пилат. — Попробуй свинину, Луций. У Антипы такого не попробуешь. Евреи не умеют есть как культурные люди.

— Да, мне известно их странное отвращение к свиному мясу, — сказал Сенека, отрезая кусок. — Недаром божественный Август говорил, что у Ирода лучше быть свиньей, чем сыном. У евреев много странных обычаев, как и у египтян, впрочем. Тем поразительнее, что Агриппа так прижился в Риме. Говорят, он даже кутил с Апицием. А еще с Публием Октавием и Номентаном. Три главных чревоугодника державы! Неудивительно, что влез в долги.

— А теперь Сеян, значит, хочет взыскать с него все с процентами, — хохотнул Пилат. — Ты ведь привез письмо от префекта?

<sup>19</sup> *Сибарит* — житель древнегреческого города Сибариса, известного своим богатством; в переносном значении — изнеженный, избалованный человек.

<sup>20</sup> *Лакедемонцы* — спартанцы.

<sup>21</sup> *Нерон Клавдий Друз*, или Друз Младший, — сын Тиберия, скончавшийся в 23 году.

<sup>22</sup> Ирод Антипа восстановил крепость Бет-Харан и назвал ее Ливиадой в честь матери Тиберия, после смерти которой в 29 году переименовал крепость в Юлиаду — очевидно, в честь вдовы Друза Младшего, которая тогда сожительствовала с Сеяном.



Сенека не донес кусок до рта, капнув гарумом<sup>23</sup> на расстеленную перед ним салфетку.

— Э... письмо? Нет.

— Но ты же для Сеяна поднял свои паруса.

— У меня есть письмо от дяди Галерия.

— Можешь воспользоваться моим гонцом. Это быстрее, чем государственная почта. И безопаснее к тому же.

— Честно говоря, я хотел передать его лично.

— Ты не можешь явиться к Антипе без уведомления, — поднял бровь Пилат, удивленный непонятливостью гостя. — Его, возможно, и вовсе нет в Тибериаде. Скоро большой еврейский праздник, который вся местная знать встречает в Иерусалиме. Я, кстати, тоже должен поехать туда, чтобы следить за порядком.

Сенека озадаченно посмотрел на наместника.

— И Агриппа тоже там будет? — глупо спросил он.

— Конечно.

— Что ж, пожалуй, ты прав, префект. Я напишу его дяде. И воспользуюсь твоим гонцом.

Пилат помолчал, глядя на него. Сенека не отвел взгляда, но принял как можно более простодушный вид. «Знаю, что у тебя на уме, — думал он, с улыбкой взирая на наместника. — Хочешь прочесть письмо. Такой возможности у тебя не будет».

— А еще советую тебе не спешить и подождать ответа, — веско произнес Пилат.

Сенека коротко подумал. Кажется, наместник был прав.

— Тогда я воспользуюсь твоим гостеприимством еще на пару дней, если не возражаешь, — ответил он. — Полагаю, этого времени будет достаточно, чтобы гонец успел доскакать до Тибериады и вернуться.

— Да, вполне. Если Антипа соблаговолит ответить сразу. — Пилат посмотрел на раба, стоявшего у входа: — Ну что ж, наверное, пришло время перевести дух. Где там наши мимы?

Раб вышел, и скоро в помещение влетели, вертясь, два лохматых босоногих человека в драных шерстяных плащах, за которыми появились трое музыкантов: один колотил в бубен, другой бил в кимвалы, последней в помещение вступила женщина, дувшая в двойную тибию<sup>24</sup>.

Не переставая кружиться и играть, вся труппа поклонилась зрителям, и актеры в плащах пустились в пляс. Это был кордак, непристойный танец, на который падки люди, лишенные вкуса. Сенека взирал на зрелище с каменным лицом. Он терпеть не мог театры, а уж кордак во время трапезы показался ему в высшей мере неуместным. Зато Пилат и Тумелик были в восторге, они без удержу смеялись и хлопали в ладоши. Прокла же невозможно жевала мясо, держа его тонкими пальцами.

<sup>23</sup> Гарум — популярный в Древнем Риме рыбный соус.

<sup>24</sup> Тибия — античный духовой инструмент.



Потом музыка стихла, и актеры принялись разыгрывать сценки, перемежая их короткими танцами.

— Сколько лет ты хотел бы мучиться? — спросил один другого.

— Не дольше, чем мучается рубаха, которую еврей носит в субботу.

— А почему верблюд такой мрачный?

— У евреев субботний год<sup>25</sup>, оттого у них нет овощей и они вынуждены питаться верблюжьими колючками. Вот верблюд и мрачный.

— Отчего масло столь дорого?

— Из-за еврейской субботы. Все, что они зарабатывают за неделю, проедают в субботу, у них нет дров, чтобы развести огонь и приготовить пищу, вот они и разламывают кровати, а потом спят на голом полу. Чтобы смыть грязь, они натираются маслом, поэтому цены растут.

Тут уже смеялись не только Пилат с Тумеликом, но и Прокула с Сенекой. В конце опять был танец, теперь уже с участием сына Арминия.

— Покажи гостю, что ты не зря обучался сальтации<sup>26</sup>, — велел ему Пилат.

На этот раз исполнили сикиннис — пляску пьянчуг. Сенека содрогался, наблюдая, как сын римского всадника, пусть и варвар по рождению, под ритмичный стук бубна и завывания тибии изображает сатира. Пилат же был в восторге.

— Антипу изобрази! — взревел он.

Тумелик сделал глупое лицо, присел, разведя колени, поднял ладони и начал двигать руками и ногами, качая головой, как кукла. Даже Прокула прыснула, увидев такое.

— Каков, а? — похвастался Пилат перед Сенекой. — В Риме всех за пояс заткнет.

Наконец музыка смолкла, и один из актеров, тяжело дыша, сказал:

— Мы счастливы, что развлекли вас. Будем надеяться, что нам не придется довольствоваться харувом<sup>27</sup>. — Он обвел всех хитрым взглядом и закончил: — Как вынуждены к тому евреи.

Пилат чуть не скатился с ложа от хохота.

— Будучи другом, я друга в другом распознаю<sup>28</sup>, — невпопад процитировал он кого-то. — Заплати им вдвое, — велел он рабу, стоявшему у стены.

Мимы удалились, и Пилат произнес, поднимаясь:

— Ну что же, пойду принесу жертву ларам<sup>29</sup>. Оставайтесь здесь, а я скоро вернусь. Тумелик, за мной.

Они ушли, а рабы вынесли десерт: устрицы, медовые пироги, яйца, оливки и вино.

<sup>25</sup> *Субботний год* («год отпущения») — седьмой год сельскохозяйственного цикла в еврейской культуре. В течение этого года земля оставалась под паром.

<sup>26</sup> *Сальтация* — танцевальное искусство.

<sup>27</sup> *Харув* — рожковое дерево. Его плоды употребляли в пищу. Упомянулось в Талмуде как «дерево бедных».

<sup>28</sup> «Будучи истинным другом, я друга в другом распознаю» (Фокилид, перевод Н. А. Чистяковой).

<sup>29</sup> *Лары* — божества, покровительствующие дому и семье.

— Ты слышал о падении Галла, Луций? — вполголоса спросила Прокула, озираясь. — Говорят, он любовник Агриппины<sup>30</sup>. За это ее и сослали.

— Галлу семьдесят лет, — возразил Сенека. — Куда ему в любовники?

— Тогда за что они наказаны?

— Очевидно, возводили напраслину на Сеяна.

Прокула кинула оливковую косточку на пол.

— А еще говорят, что Галл был настоящим отцом покойного Друза. И Тиберий это знал.

Сенека поежился.

— Это опасный разговор, Прокула. Лишь уважение к тебе как к хозяйке дома мешает мне уйти.

— Да об этом все болтают.

— И поэтому не проходит месяца без казни.

Прокула тонко улыбнулась.

— Расспроси об этом Агриппу, когда будешь дарить ему свой трактат. Он же ходил в приятели у Друза. Кстати, а нельзя его у тебя купить?

Сенека отхлебнул вина.

— Право слово, там нет ничего стоящего. Я привез его, решив, что такая писанина может понравиться халдею. Если тебе так уж нужна моя рукопись, я прикажу по возвращении сделать копию и отправлю ее тебе.

— О, это было бы замечательно!

Сенека усмехнулся.

— Я тоже когда-то трепетал перед египетской магией, пока не увидел Египет. Его святилища лежат в руинах, его древним богам давно не приносят жертв. В главном храме Фив разбили лагерь легионеры! Будь египтяне мудрецами, их царство не пришло бы в такой упадок. Когда я читал то, что приносил мне Херемон — это жрец Сераписа, переводивший для меня египетские письма, — я поражался извращенности их веры. Бог-гермафродит, родивший сам себя, погибший и воскресший благодаря волшебству Исиды, — что за чудовищное суеверие? А эти дикие египетские обычаи... От обрезания меня бросает в дрожь. Если бы Юпитер хотел обрезания, он бы сотворил мужчин обрезанными. Разве нет? И вот от таких людей ты ждешь истины, госпожа! — Он вздохнул и покачал головой.

Прокула будто не слышала. Задумчиво жуя пирог, она промолвила:

— Я очень переживаю за мужа. Сейчас, когда открыты гонения на семью Германика, не начнут ли карать всех, кто был к нему близок? Нет, Понтий никогда не был ему другом, — быстро уточнила она, — но так могут подумать из-за мальчишки. Скажут: «Если Германик передал тебе свой главный трофей, значит, ты заслужил его доверие». В такие мгновения я радуюсь, что мы уже пятый год не в Италии.

<sup>30</sup> Агриппина — жена Германика.





Сенека содрогнулся.

— Тебе повезло, госпожа, что ты поделилась этим со мной. Я не из тех, кто доносит. Но будь на моем месте прожженный честолюбец, он бы воспользовался твоей откровенностью.

Прокула встревоженно приподнялась над подушкой. Некоторое время она сверлила гостя глазами, потом поджала губы.

— Нет, плохой человек не стал бы меня предостерегать.

Вернулись Пилат с Тумеликом. Наместник первым делом осведомился, понравилось ли гостю вино.

— О да! Превосходное. Менее всего я ожидал встретить здесь такое вино.

— Ретийское! Как любит Тиберий.

Ну конечно. А какое еще!

— О чем вы тут болтали без нас? — добродушно спросил Пилат, устраиваясь на ложе.

— Луций рассказывал мне о Египте, — ответила Прокула. — Он очень недоверчив к тамошним чародеям.

— И правильно. Недаром Тиберий изгнал их из Италии. Сплошное растление умов.

— А как же оракул Сераписа? — с улыбкой спросила Прокула Сенеку. — Ведь он славен на весь мир.

— Восхитительное место! — с воодушевлением отозвался гость. — На берегу канала там устроены беседки, соединенные переходами. Несколько раз в году, когда жрецы устраивают праздник в честь вновь обретенной молодости, мы собираемся там для веселья. Непередаваемое ощущение! Самое потрясающее, что я испытывал в жизни.

— Охотно верю, — пробурчал Пилат. — Но мне больше по душе наши римские праздники. Жаль, начало Мегалезий придется встретить в Иерусалиме из-за этих евреев. Но к Цереалиям я надеюсь вернуться и устроить гонки на колесницах. Тумелик, — вдруг сказал он, — а ну-ка, зачти нам что-нибудь из Риана. Он знает уйму его стихов, — похвастался Пилат, а Сенека мысленно усмехнулся: с тех пор, как власть перешла к Тиберию, честолюбцы наперегонки изучали произведения его любимых поэтов.

Чтением эпиграмм Риана Критского, переведенных Тиберием, и закончился ужин.

Право, Клеоник, тебе, идущему узкой тропинкой,  
Милые встретились там как-то Хариты, и вот  
Руки, подобные розам, тебя заключили в объятия,  
Отрок, и сделался ты прелести полным Харит.  
Радуйся, но вдалеке от меня. Ведь, милый, опасно  
Близко сухой асфодел к пламени так приближать.

Дексионик, ловивший в тени под зеленым платаном  
Черного клеем дрозда, птицу за крылья схватил;

И со стенанием громким кричала священная птица...  
Я же, о милый Эрот, юное племя Харит,  
Я бы на месте дроздов, лишь бы в этих руках оказаться,  
Рад бы не только кричать, — слезы сладчайшие лить<sup>31</sup>.

\*\*\*

«Тетрарху Ироду Антипе от Луция Аннея Сенеки, из Кесарии Палестинской в одиннадцатый день после мартовских ид. Если ты здоров, хорошо. Надеюсь, твои родные и войско тоже здоровы. Префект Египта Гай Галерий, мой дядя, отправил меня к тебе по важному делу. Жду, что ты сможешь принять меня в Тибериаде или в другом месте в ближайшее время. Сообщи мне, пожалуйста, о своем согласии. Молюсь, чтобы ты пребывал в благе и счастье».

Сенека написал тетрарху по-латыни. Через день пришел ответ — на греческом: «Тетрарх Тит Юлий Ирод Антипа Луцию Аннею Сенеке, из Тибериады, в пятый день падающего месяца элафеболиона, множество приветствий. Молюсь о твоём добром здравии и о твоём почтеннейшем дяде. Я помню его по Риму. Надеюсь, у него все хорошо. Жду тебя в Тибериаде с нетерпением. Если не застанешь меня там, знай, что я в Иерусалиме, нашей древней столице, на празднике Песах, куда я должен отправиться через семь дней. Сможешь найти меня там во дворце первосвященника. Передай привет Понтию Пилату и дражайшей Прокле, я молюсь за их благополучие».

Сенека усмехнулся, прочитав это. Тетрарх в послании назвался своим римским именем — с явным намеком. Ну что ж, пусть его. Гражданин он или не гражданин, его племянника от выплаты долга это все равно не спасет.

Ранним утром, погрузив вещи в телегу, Сенека распрощался с гостеприимным Пилатом, влез в крытую повозку и тронулся в путь, сопровождаемый десятком греков и сирийцев из вспомогательной когорты. В повозке, кроме него, ехал Сардоник, раб, обученный чтению и письму. Разговорами с ним Сенека обычно коротал время в дороге. Два других раба и мальчик-родосец, с которым Сенека совершал ежеутренние пробежки, тряслись позади в телеге, среди ящиков и тюков.

Пока не выехали из города, Сенека ломал голову над тем, о чем же сегодня побеседовать с невольником. Сначала он хотел поделиться с ним мыслями касательно частной жизни Пилата — кажется, наместник не слишком обожал свою жену, в связи с чем Сенека хотел блеснуть цитатой из Секстия<sup>32</sup>: «Если кто чересчур любит супругу, уже повинен в блуде

<sup>31</sup> Эпиграммы Риана, греческого поэта и ученого второй половины III в. до н. э., приведены в переводе Ю. Ф. Шульца.

<sup>32</sup> *Квинт Секстий Старший* (I в. до н. э.) — римский философ.



с ней». Но эта тема показалась ему недостойной человека высоких помыслов, и Сенека решил заменить ее политическими прогнозами: станет ли Сеян наследником верховной власти, когда женится на племяннице Тиберия, или император предпочтет ему слабоумного брата Маленькой Ливии Клавдия<sup>33</sup>, сделав Сеяна его главным советником? Однако и это выглядело мелко для философа (так Сенека сказал себе, не желая признаваться в своем страхе), поэтому в итоге он завел беседу о равенстве всех людей, вдохновленный знакомством с сыном Арминия — германцем, выросшим среди римлян.

— О лучшем доказательстве своих слов я не мог и мечтать, — говорил Сенека, обмахиваясь египетским веером из страусиных перьев. Его лицо то пропадало в сумраке, то освещалось лучами солнца, проникавшими в щель между краем окошка и покачивающейся занавеской. — Напрасно многие думают, будто варвары неисправимы. Достаточно изменить условия их жизни, переделать на римский лад, и они станут такими же добрыми гражданами, как все прочие. Главное — держать их подальше от суеверий. Впрочем, влиянию этого недуга подвержены и мы. — Сенека покачал головой, бросив взгляд на дорогу. Там в пыльном мареве шли женщины с корзинами на головах, крестьяне вели ослов с мешками по бокам, проплывали оливковые рощи и сельские домики с плоскими крышами, заросшими чахлым кустарником. — Мы, римляне, покорили мир и доказали превосходство нашего образа жизни. И что же теперь? Вместо того чтобы всех превратить в римлян, мы сами погружаемся в пучину варварства. Меня это очень огорчает, Сардоник. Даже наши благородные сословия не избавились от животных начал. Я уж не говорю про низы. Сколько недовольства вызвало разумнейшее решение Тиберия закрыть театры для мерзких зрелищ! А сколько глухого ропота до сих пор раздается из-за прекращения гладиаторских боев! А как ворчали жители Италии, когда Тиберий разогнал всех магов и сослал евреев на Корсику! Кое-кто называет Тиберия тираном, но тиран не стал бы отказываться от звания государя. Нет, он не тиран, он — строгий учитель и блюститель нравов. Римлян неудержимо влекут непотребства, колдовство и кровь. Признаюсь, от созерцания всего этого меня захлестывает бешенство. Будь я на месте Тиберия, пожалуй, не ограничился бы лишением всяких проходимцев огня и воды<sup>34</sup>, а отправил бы их на кресты. Гражданам же запретил бы под страхом смерти приглашать к себе мимов, гадателей и гладиаторов. Наш правитель слишком снисходителен! Какой пример мы можем подать варварам, если сами подвержены этому злу? А в том, что это зло, у меня нет никаких сомнений. Человек — вещь священная. Негоже одному причинять вред другому, тем более для потехи толпы. Зло, которое мы причиняем, возвращается к нам и разъедает душу словно ржавчина. Зло — это дурное семя, из которого не родится

<sup>33</sup> *Маленькая Ливия* (Ливилла) — Клавдия Юлия Ливия, вдова Друза Младшего. Прозвана так в отличие от Большой Ливии — матери Тиберия. Клавдий — император в 42—54 годах.

<sup>34</sup> Т. е. ссылкой.



ничего, кроме боли, как из оливковой косточки всегда вырастает олива и никогда — смоковница. Не вред надо причинять другому, а бескорыстно нести ему добро, этим ты лечишь душу и окружаешь себя друзьями. Добродетель сама себе награда! Вот о чем писал Панетий<sup>35</sup>, когда говорил, что наша жизнь должна быть посвящена благу других. Но люди недальновидны и подменяют добродетель торговой сделкой. Приносят богам жертвы, гадают по звездам и ворожат, пытаются подчинить себе судьбу и божью волю. Овидий глупец! «Если Юпитер к тому, кто молит, глух остается, то для чего на алтарь жертвы ложатся к нему?»<sup>36</sup> Ну и что, помогли ему эти жертвы? Богам нет до нас никакого дела. Желай они что-то поменять в мире, то создали бы мир другим. Подай-ка мне сушеных фиников, — сказал он вдруг, показав на корзинку, которая стояла под лавкой.

Раб поднялся, вытащил корзинку и, не вставая с колен, протянул ее на ладонях хозяину.

— Поставь на пол между нами и тоже угощайся, — велел Сенека. — Ты такой же человек, как и я. И даже получше многих свободных. Да-да, не удивляйся. Лучшая часть любого из нас свободна от рабства. Плох человек или хорош, достойный он или нет, определяется здоровьем его души. Ведь Эзоп был невольником! И что же, мы от этого менее ценим его? Ко всем надо относиться одинаково. Философ — я говорю о настоящем философе, а не о болтуне с форума — готов нести слово истины любому человеку, даже и дурному. Врачи ведь тоже общаются с больными, но не болевают, как говорил Антисфен<sup>37</sup>. А Диоген дополнял его: «Солнце светит в помойные ямы, но не оскверняется»...

Эти рассуждения были прерваны короткими глухими стуками, будто в повозку воткнулось несколько стрел. Тут же раздались крики и понеслась отборная брань. Сенека, вздрогнув, осторожно выглянул в окно. Из финиковой рощи, раскинувшейся вдоль дороги, выбегало десятка два вооруженных людей с закрытыми понизу лицами. У одних в руках были луки, у других — пращи. Сенека не поверил своим глазам. Неужто разбойники? Его, племянника египетского префекта и гостя наместника Иудеи, смеют грабить какие-то еврейские голодранцы? Сама эта мысль была нелепа.

Повозка остановилась. Полный возмущения, Сенека решительно толкнул ногой дверцу и прыгнул на дорогу. Двое всадников лежали в пыли, сраженные стрелами. Остальные сгрудились вокруг повозки, выставив копья. Стоял ужасный гам: нападавшие что-то вопили на своем языке, всадники орали в ответ.

— Вы понимаете, кто я такой? — что есть силы закричал Сенека на латыни. — Одно моего слова достаточно, чтобы всю вашу Иудею засыпали солью.

<sup>35</sup> Панетий Родосский (II в. до н. э.) — греческий философ, реформатор стоицизма.

<sup>36</sup> Цитата из «Писем с Понта» Овидия. Перевод З. Н. Морозкиной.

<sup>37</sup> Антисфен (V—IV вв. до н. э.) — греческий философ-киник.



— Господин, они — злодеи, — по-гречески с сильным акцентом произнес один из воинов. — Хотят вещи. Иначе хотят убить.

Сенека метнул на него гневный взгляд.

— Кого убить? Меня? Вы что, меня убить грозите? — обратился он к нападавшим на латыни, от гнева забыв греческий.

Ответом ему была стрела, пролетевшая рядом с ухом и угодившая в глаз Сардонику, который тоже полез наружу вслед за хозяином. Не успев даже охнуть, раб вывалился наружу и замер. Сенека отшатнулся в ужасе. Неужто это не сон? Такого с ним не случилось даже в Египте, где грабитель — уважаемая профессия.

— Вы знаете, сколько стоил этот раб? — заорал он по-гречески, выкатив глаза.

— Давай воз! — закричал убивший Сардонику. — Воз нужен.

— Телега? Хотите отобрать мои вещи? Забирайте все и проваливайте к воронам. Но оставьте свитки. Вам они все равно ни к чему.

— Нет! — замотал головой лучник. — Нужно все.

— Всё? Котурны вы безграмотные! Зачем вам мои рукописи?

Ответом ему была еще одна стрела, просвистевшая над головой.

Сенека махнул рукой.

— Забирайте и уматывайте. Наместник все равно вас из-под земли достанет.

Всадники опустили копья. Один из разбойников подбежал к телеге, согнал возницу и рабов Сенеки, взял лошадь под уздцы и затрусил в рощу. Остальные продолжали целиться из луков, пока телега, грохоча, не исчезла среди деревьев. Сенека, дрожа губами, провожал ее взглядом. Не вещей ему было жалко, а книг. «О благодушии» Панетия и «Кира» Антисфена он даже не успел прочесть. А трактат о магии? Эти мерзавцы и не догадываются, какое сокровище попало им в руки. С чем он явится к Антипе?

Дождавшись, пока налетчики скроются в роще, Сенека подошел к телу Сардонику.

— Как несправедлива судьба! Я ведь хотел освободить тебя. — Он поднял мертвого невольника под мышки и втолкнул его обратно в повозку. Воины тем временем спешили и окружили своих поверженных товарищей.

— Афинагор жив! — воскликнул кто-то.

— Положите его в повозку, — приказал Сенека. — Да поосторожней, не заденьте стрелу. Скорее в город, пока он не истек кровью.

Ко дворцу наместника они примчались так быстро, что Пилат даже не успел приступить к делам. Сенека на ходу выскочил из грохочущей по камням повозки и влетел во дворец. Совершенно забыв об учтивости, он бросился в покои хозяина. Возле двери в спальню путь ему преградили два раба с ножами за поясом.

— Дайте пройти или распну! — рывкнул Сенека, совершенно забыв, что они, быть может, не понимают латынь.



Маленький и щедедушный, он был похож на взъерошенного кота перед молосскими псами. Дверь распахнулась, и оттуда выскочила перепуганная рабыня.

— Что тут такое? — пролепетала она. — Госпожа встревожена.

— Госпожа? — нахмурился Сенека. — Передай ей мои извинения.

Мне нужен твой хозяин.

— Он спит в другом месте, — ответила рабыня, таращась на него.

— И где же это место?

— Наверху. Мне передать что-то госпоже?

— Нет. — Сенека развернулся и зашагал к мраморной лестнице.

Рабыня крикнула ему вслед:

— Хозяина нельзя беспокоить!

— Тогда передай госпоже, — велел Сенека, обернувшись, — что меня ограбили за городскими воротами. Я подожду префекта в зале.

И вышел.

Наместник вскоре явился. Вид у него был крайне встревоженный.

— Слава Геркулесу, ты жив, мой дорогой гость! Я принесу жертву геннию Августа за твое спасение. Эти негодяи не ранили тебя?

Сенека, в нетерпении ходивший меж статуй, посмотрел на него и в ярости сжал зубы.

— Так-то ты следишь за порядком во вверенной тебе провинции, уважаемый Пилат?

— Я потрясен не меньше твоего. Здесь, под стенами Кесарии, всегда было спокойно. У нас тут не пустыня и не сирийская граница. На каком языке говорили эти мерзавцы?

— Точно не на греческом. И не на латыни. Один из воинов переговаривался с ними.

— Значит, на еврейском или сирийском. Я уверен, мы скоро их переловим. Твои убытки я восполню из моих средств.

— Я потерял довольно много. Кроме личных вещей еще грамотного раба, который помогал мне в моих трудах, и свиток по египетской магии. С чем я явлюсь к Агриппе?

— Потерю раба я также оплачу. Что касается свитка, то его, надеюсь, обнаружат вместе с прочим украденным. Мессалам — здешний надзиратель за преступниками — знает Иудею как свои пять пальцев. От него ничто не укроется.

— Но я не могу ждать, пока он закончит поиски!

Наместник развел руками.

— Тут я бессилен. Могу лишь предложить тебе заменить этот свиток другим из моей библиотеки.

— Мою работу не заменить ничем! — вспыхнул Сенека. — Она неповторима!

Пилат опустил в курульное кресло и поник.

— Но ведь в Египте у тебя осталась копия? — спросил он.





— Не копия, а обширный труд, толкующий о природе Египта и обычаях его жителей. Хочу преподнести его Тиберию или Сеяну.

Пилат невольно покосился на статую префекта претория.

— Позволь спросить, а зачем вообще дарить Агриппе трактат о египетской магии?

— Он падок на редкости, как всякий варвар. Мне неприятно было бы сознавать, что я забрал у него деньги, не дав ничего взамен.

Пилат в удивлении поднял бровь, но спорить не стал.

— Ты можешь взять из моей библиотеки все, что пожелаешь. У меня есть любопытные вещи. Писания Элефантиды, Приапова книга...

Сенека едко рассмеялся.

— Нашел чем удивить! Такого добра хватает у всех. А вот имеется ли у тебя, наместник, работа Антония о винопитии или трактат Брута по стоической философии? А сочинения Кремуция Корда или Кассия Севера? А как насчет, — он выдержал паузу, — «Отыквления божественного Цезаря»?

Пилат в ужасе посмотрел на него.

— «Что ни поэт — то безумец»<sup>38</sup>, — процедил он. — Желаете, чтобы я окончил дни на Гиаре?<sup>39</sup> К этим мерзким свиткам я не приближаюсь. А «Отыквления Цезаря» и в руках не держал.

— Выходит, прочие держал? — прищурился Сенека.

— Ты задаешь неуместные вопросы, — холодно ответил Пилат. — То, что тебя ограбили, не дает тебе права дерзить мне.

Сенека хотел было язвительно спросить, что же дает такое право, но тут раб объявил о приходе Мессалама.

\*\*\*

Сенека был настроен мрачно. Скорее всего, налетчики уже скрылись в пустыне или разбежались кто куда. Но, к его удивлению, первого злодея схватили уже вечером. При нем нашли войлочную шляпу из вещей Сенеки, которую Мессалам тут же вернул хозяину. Головореза же, избитого, со связанными руками, привели в дворцовый зал. Это был еврей или другой варвар из местных — черные волосы стекали по вискам, переходя в столь же черную бороду. Меж обломанных зубов сочилась кровь. Грязная серая туника по краю была подбита красной бахромой. Сенека, сидевший на двухместной мягкой скамейке у стены, не мог сдержать омерзения при виде этого дикаря. Животное! Настоящее животное!

— Кто такой? — холодно спросил по-гречески Пилат, восседавший в кресле на возвышении.

— Иисус, — мрачно прохрипел варвар, исподлобья глядя на наместника. Воины держали его с двух сторон, выворачивая руки.

<sup>38</sup> Цитата из «Писем с Понта» Овидия. Перевод А. В. Парина.

<sup>39</sup> *Гиара* — остров в Эгейском море, обычное место ссылки во времена Древнего Рима.

— Еще один еврейский бунтовщик, — брезгливо сказал Пилат. — Ты почему не величаешь меня господином? Сотник, всыпь-ка ему десяток плетей.

— Это кинжальщик, господин, — сказал стоявший слева от злодея Мессалам. — Они никого не называют господами, кроме своего бога.

— Эти мне евреи... Ты уже приговорен к распятию, негодяй, — сказал Пилат. — В моей власти сделать твою смерть быстрой и легкой или долгой и ужасной. Отвечай быстро: кто твой отец? Где ты родился? Сколько людей с тобой было? Их имена. И не делай вид, что не понимаешь меня.

Еврей захрипел, с ненавистью глядя на Пилата, и что-то коротко произнес. Сенека разобрал только нечто похожее на «бараббас». Пилат недоуменно посмотрел на Мессалама.

— Что он там бормочет?

— Это по-арамейски, господин. «Бар абба» означает «сын отца».

— Да он смеется! Ладно, посмотрим, как ты запоешь завтра. Уведите его! Ты тоже можешь идти, — сказал Пилат писцу, сидевшему на ступеньках трибунала.

Налетчика потащили к выходу. Мессалам двинулся следом, но голос наместника остановил его.

— Надзиратель, ты останься. Я хочу знать, как ты нашел его и почему уверен в его вине.

Мессалам вернулся.

— Декаду назад этот человек произвел волнение в еврейском квартале, господин. Он прибежал в Кесарию из Переи и с тех пор затевает споры с еврейскими старейшинами. Полагаю, он из шайки того одержимца, которого Антипа казнил в прошлом году. Я не трогал его, потому что он не казался мне опасным. Но сегодня, после нападения разбойников, решил на всякий случай проверить. Иудеи сказали мне, что изгнали его, так как он говорил непотребные вещи об уважаемых людях и призывал не платить десятину в Иерусалим. К счастью, мне не пришлось его долго искать. Он ушел к ессеям<sup>40</sup> — тем людям в белых одеждах, которые живут на Крокодильем ручье. Я распознал его по шляпе, слишком дорогой для такого отребья. Когда я схватил его, то нашел при нем длинный нож и двадцать драхм Антипы, зашитых в одежду. Это подсказало мне, что перед нами кинжальщик, ведь они не прикасаются к римским монетам и всегда носят ножи. Возможно, его послал сюда сам Элеазар бен Диннай, если он еще жив.

— Он сказал, куда спрятал добро нашего гостя?

— Подельники увезли добычу в горы Бет-Хорон. А этот остался, чтобы волновать народ.

<sup>40</sup> *Ессеи* — одна из трех древнееврейских религиозно-философских школ (саддукеи, фарисеи, ессеи).





— Плохо дело, — огорчился наместник. — Теперь, чтобы вернуть твои вещи, Луций, придется высылать большой отряд, но и он может ничего не найти. Бет-Хорон — гиблое место.

— Значит, такова моя судьба, и пенять на нее глупо, — ответил Сенека, вставая со стула и приближаясь к трибуналу. — А кто такой этот Элеазар бен Динай?

— Предводитель разбойников, прячущийся в заиорданской пустыне, — ответил наместник, спускаясь по ступенькам.

— Но откуда он знал, что я поеду сегодня в Тибериаду?

Пилат пожал плечами и вопросительно посмотрел на Мессалама.

— О том, что к тетрарху едет знатный римлянин, знает весь город, господин, — ответил Мессалам.

— Это Прокула растрепала подругам! — с досадой выпалил Пилат по-латыни, обращаясь к Сенеке. — Больше некому.

— Прошу тебя, не наказывай ее, — взмолился Сенека. — Никто же не говорил, что моя поездка должна храниться в тайне.

— Это правда, — смягчился Пилат. — Ты можешь идти, Мессалам. Я доволен тобой. Но не прекращай поисков. Мы должны вернуть нашему гостю все потерянное.

Мессалам поклонился и вышел, а Пилат сказал Сенеке, опять перейдя на латынь:

— Если ты не оставил намерения встретиться с Агриппой, это можно было бы сделать в Иерусалиме. Так будет безопаснее. Я не прошу себе, если с тобой опять что-нибудь случится.

— О, наместник, избавь меня от варварских игрищ в варварском городе! — воскликнул Сенека. — Я уже посмотрелся на этих людей в Египте. Твоя Кесария мне больше по вкусу. Тибериада, я слышал, тоже цивилизованное место. Там мне будет намного приятнее говорить с Агриппой, чем в Иерусалиме.

— Как тебе будет угодно, — кивнул Пилат.

\*\*\*

Выходя из дворца, Мессалам увидел Тумелика. Мальчишка сидел на крыльце и наблюдал, как двое сорванцов возились посреди дороги, вгоняя булыжниками монету в щель между камней. Увидев тень, Тумелик повернул к надзирателю голову и прищурился, прикрывшись ладонью от солнца.

— Развлекаешься? — ухмыльнулся Мессалам, сразу догадавшись, что монету мальчишкам вручил сын Арминия. Откуда еще у таких голодранцев деньги?

Тумелик улыбнулся. Мессалам приблизился к нему и посмотрел сверху вниз.

— Ты все правильно сделал. Учитель будет доволен.

Вечером, омывшись в бронзовой ванне и поужинав, Мессалам призвал двух рабов и передал им заплечный короб.

— Отнесите это в Гитту кожевеннику Симеону. Назад вернетесь завтра.

До Гитты, самаритянской деревни в кесарийском округе, посланцы добрались уже затемно. Стучаться в чужой дом после захода солнца было не принято, но Мессалам не сомневался, что Симеон обрадуется его гонцам, когда узнает, что они принесли.

Так и вышло. Когда кожевенник прочел короткое письмо надзирателя и заглянул в короб, его недовольство, вспыхнувшее было при появлении непрошенных гостей, тут же улетучилось. Он угостил посланников хлебом и сыром и отправил в сарай спать на тюфяках.

«Учитель, — писал ему надзиратель за преступностью на древнем языке, известном только мудрецам да священникам. — Господь помогает нам. Посылаю тебе книгу египетских таинств, написанную римским книжником со слов жреца Сераписа, — да поможет она пролить свет на сокровенное знание. С нею вместе отправляю и несколько греческих писаний. Быть может, они также окажутся полезными тебе».

## В Тибериаде

Ночью похоронили Сардоника. Устройством похорон занимался человек Пилата, но Сенека тоже принял участие в церемонии, сопроводив тело верного слуги на кладбище и произнеся над ним похвальную речь. Потом тело сожгли, а кости и прах ссыпали в урну, которую Сенека оставил у Пилата, намереваясь захватить ее на обратной дороге, чтобы доставить жене Сардоника. Пилат был потрясен — никогда в жизни он не видел, чтобы господин так пекся об останках своего невольника.

— Если желаешь, я приглашу мимов, — предложил он то ли в шутку, то ли всерьез. — И зарезу свинью.

— Он был больше, чем невольником, — резко возразил Сенека. — Он был другом.

Наместник понимающе кивнул.

На этот раз он выделил Сенеке целую сотню всадников в охранение, а начальником над ними поставил своего боевого товарища Марка, с которым бился при Идиставизо. В том сражении Марку сломали нос, так что теперь этот ветеран войн Германика выглядел столь же устрашающе, как и те варвары, которых ему довелось покорять. С таким сопровождением Сенека мог не то что не опасаться разбойников, а даже покушаться на захват какого-нибудь городка.

Сенеку все это не утешило. Он пребывал в горьких чувствах. Его, римского всадника, имеющего связи в Сенате, ограбили какие-то





мисийцы<sup>41</sup> в забытой богами дыре! Конечно, плох тот философ, который теряет самообладание от таких неприятностей, ведь мудрец должен умереть для внешних вещей, но отстраниться как-то не получалось. Сенека вспоминал пережитое и скрипел зубами от ненависти. Во всем виновата Прокула, ее проделки! Она хотела получить трактат по египетской магии, вот и навела на него разбойников. Но знал ли об этом Пилат? Конечно, знал! Неужто его жена сама могла набрать молодчиков, поджидавших его на дороге? Надо написать жалобу в Рим. Напомнить, что Пилат служил под командой Германика, а Германик передал ему сына Арминия... Сенека чуть не потерял руки от удовольствия. Но тут же одернул себя. Нет, благородный муж не опускается до доноса! Надо выступить честно и открыто. У него нет доказательств? Ну и пусть. Не все ли равно, как будет восстановлена справедливость? Зарвавшийся чиновник получит свое, а провинция — нового, лучшего наместника. Все будут довольны. Зря он не поговорил с тем евреем. Доверился Мессаламу, а Мессалам — человек Пилата... Зря!

Плохое настроение Сенеки подпитывалось уверенностью, что в Тибериаде он встретит одну лишь враждебность. Евреи вообще злобное племя: не едят свинину, бездельничают в Сатурнов день, не женятся на иноверцах, пуще огня боятся изображений богов и правителей, молятся облакам и пустому небу, а еще кастрируют себя. И вот среди такого народа ему предстоит провести несколько дней. «Провались к Плутону эта Сирия Палестинская, и все сирийцы в придачу», — бурчал Сенека. Интересно, пустит ли Антипа его за свой стол или заставит принимать пищу в одиночестве?

Все ему теперь казалось отвратительным: дорога, вдоль которой не было ни одного храма и ни одной гробницы, зато бесконечно тянулись еврейские деревушки и засеянные поля; природа, куда более обильная здесь, в Галилее, чем на побережье, но по-прежнему весьма бедная в сравнении с египетской; бесконечные холмы, из-за которых то и дело приходилось пересаживаться с передней лавки на заднюю и обратно, чтобы не съезжать на пол. А еще выводили из себя бесконечные караваны, двигавшиеся по дороге. Их было так много, что ноздри то и дело пронзал мерзкий запах навоза, от которого у Сенеки уже першило в горле. Он пытался отвлечься, читая Парфения и Эвфориона, которых раздобыл в библиотеке Пилата (с паршивой овцы хоть шерсти клок), но, как назло, эти двое совершенно не пришлись ему по вкусу. Может, и впрямь следовало взять какое-нибудь руководство по астрологии или сборник анекдотов, как советовал наместник. Такого рода книжонок там было в избытке. А он вместо этого решил ознакомиться с любимыми поэтами Тиберия и прогадал. Ни грубые шутки Эвфориона, ни любовные страдания Парфения не произвели на него впечатления.

<sup>41</sup> Мисийцы — народность, относящаяся к группе фракийских племен. В переносном смысле — разбойники.

«Цицерон был прав, — подумал Сенека. — Лучше читать Энния»<sup>42</sup>. Но у Пилата такого не водилось.

Когда в очередной раз повозка застряла в скопище ослов и верблюдов, Сенека не выдержал и, высунувшись в окно, закричал вознице по-гречески:

— Или ты сейчас же выберешься отсюда, или я напишу такое письмо Пилату, что ты всю жизнь будешь служить на набатейской границе!

Перепуганный возница заработал хлыстом, пытаясь разогнать животных, но только внес сумятицу. Поднялся разноголосый рев, караванщики тоже зашумели, возмущаясь такому обращению с их скотиной. Сенека, не обращая на них внимания, подзадоривал возницу, а тот бил вожжами двух мулов, запряженных в повозку, и охаживал хлыстом верблюда, который зацепился тюком за оглоблю. Раздался треск, и передняя доска, в которую вставлялась оглобля, упала на дорогу, а вслед за ней грянулась носом и повозка. Возница рухнул на камни, Сенеку, опиравшегося локтем на край окна, развернуло и бросило спиной в переднюю стенку. Мулы дернулись вперед и потащили за собой вырванное с доской дышло. К повозке уже приближались разозленные караванщики, а им навстречу столь же решительно шагали охранники Сенеки. Гам не смолкал.

С караванщиками все уладилось быстро: сотник Марк просто дал короткий совет, куда им следует убираться, и те, хмуро огрызаясь, пошли собирать скот, разбредшийся по полям. С повозкой было сложнее.

— На станции должен быть плотник, — сказал Марк. — Я отвезу тебя, господин, а повозку оставим здесь под охраной.

Путь до станции Сенека проделал верхом — лошадь ему одолжил один из воинов, оставшихся при повозке. Прихватил с собой и мальчишку-раба, с которым бегал по утрам. Дорога заняла меньше часа. Но плотника там не оказалось.

— Уже год ждем, — сказал начальник станции. — Раньше у нас еврей работал, так ушел в пустыню. А замену никак не пришлют.

— Бардак, — покачал головой Сенека. — И что же делать?

— Можете доехать до постоялого двора. Это в трех милях отсюда. Или поехать в Автократиду. Это примерно столько же, но по другой дороге. Оттуда тоже есть дорога в Тибериаду. Только придется сделать крюк.

— Тогда едем в Автократиду, — решил Сенека, ужасавшийся мысли, что ему придется заночевать на постоялом дворе посреди варварской земли.

«Ну берегись же, Пилат, — злобно подумал он. — Когда в Риме прочтут, как ты следишь за провинцией, мигом вылетишь отсюда».

До Автократиды добрались через полстражи<sup>43</sup>. Стояло лютое пекло, и Сенека возблагодарил богов, что Мессалам сумел отыскать его

<sup>42</sup> Парфений (I в. до н. э.) и Эвфорион (III в. до н. э.) — древнегреческие поэты; Квинт Энний (III—II в. до н. э.) — древнеримский поэт, грек по происхождению.

<sup>43</sup> Стража — здесь: мера времени, равная примерно трем часам.





шляпу. Впрочем, если бы надзиратель этого не сделал, Пилат наверняка подарил бы гостю головной убор из своих запасов. Отправляться в путь летом, не имея такого предмета одежды, было смерти подобно.

Автократида, огромным гнездом облепившая холм, оказалась городом римским, но населенным евреями. На самом верху красовалась базилика, вопреки обыкновению напрочь лишенная статуй. Сенека сразу пожалел, что не отправился на постоялый двор — тот хотя бы принадлежал его согражданам. А здесь даже не имелось храма Августа и бродили странные люди в полосатых покрывалах, с коробочками, прикрепленными ко лбу и запястьям. Жители, увидев конный отряд, прятались по домам, как мыши от кота. Не у кого было спросить дорогу. Наконец нашли гостиницу. Хозяйка, пожилая иудейка, заметалась, узрев столь важного гостя, принялась усиленно кланяться и пообещала не только разместить Сенеку, но и послать за овсом для лошадей. А еще найти плотника.

— Прикажешь ли отвести твоему сыну отдельную комнату, господин? — спросила она по-гречески, показав на мальчишку.

— Это не сын, а раб, — сварливо откликнулся Сенека. — Он поспит на полу. Дай ему циновку и покрывало.

— О, господин! — всплеснула руками хозяйка, испуганно таращась на него. — Прости, я не знала ваших обычаев.

— Каких обычаев? — подозрительно уставился на нее Сенека.

— Просто... у нас нет рабов-детей. Прошу, не сердись на мою дерзость.

Сенека махнул рукой и пошел спать. А утром перед пробежкой имел удовольствие наблюдать, как хозяйка препирается с Марком по поводу платы за овес.

— Разве моя вина, что нынче субботний год? — говорила женщина. — Зерно везут издалека, отсюда и цены.

— Свинья учит Минерву! У вас, евреев, вечно то год не тот, то жратва. Продажные, как сардинцы! Я цену знаю. Получишь то, что причитается.

— Что же мне делать? — воскликнула хозяйка. — Вот что я сделаю: сообщу царю. Он за меня вступится.

— Что за дело до того Гиппоклиду? — небрежно усмехнулся сотник.

— А что там с повозкой? — спросил Сенека, подходя к ним.

— Она в Назарете, господин, — ответила хозяйка. — Это деревня недалеко отсюда. Плотник сегодня починит ее.

— Сегодня? — нахмурился Сенека. — Мне уже надо быть в Тибериаде.

— До города рукой подать, — сказал Марк. — Можем доехать верхом, господин. Повозку доставят воины.

— Пусть будет так, — подытожил Сенека.

<sup>44</sup> Поговорка, означающая пренебрежение к чему-либо.



Ирод Антипа неожиданно принял гостя столь душевно, что Сенеке стало стыдно за свои мысли о нем. Тетрарх разместил гостя на втором этаже своего дворца, а вечером устроил в честь него пир, созвав всех вельмож и чиновников, живших в городе, самого же Сенеку положил на почетное место, по левую сторону от себя. Угощение своим разнообразием не уступало обедам александрийских гурманов, во время перемены блюд выступали музыканты и акробаты, вино лилось рекой, а со стен на гостя взирали лики Венеры и Геркулеса. Если бы не отсутствие женщин, Сенека подумал бы, что находится в Риме или Египте.

— Попробуй нашего пива, Луций, — посоветовал Антипа. Из уважения к гостю он говорил по-латыни. — Оно веселит сердце куда лучше вина. Жаль, я не могу предъявить тебе нашу главную гордость — рыбу. Ну разве что соленую. Эти подлецы, галилейские рыбаки, придумали себе пост перед Песахом и не хотят работать.

— Пост? — спросил Сенека. — Похвальное благочестие. Нынче такое редкость. А нельзя их как-то заставить?

— Меня и так здесь не слишком привечают. Может быть, ты слышал — в прошлом году пришлось казнить одного горлопана, собиравшего толпы бездельников. Если возьмусь еще и за рыбаков, не избежать волнений. В Иерусалиме только этого и ждут. Там сидит негодяй Каиафа, зять Анны. А Анна, бесстыжий как собака, платит Пилату.

— Вот как? — вяло удивился Сенека, слегка уже опьянев. — А в Риме об этом знают?

— Несомненно. Я постоянно об этом пишу в столицу.

— Тиберий не любит менять наместников. Говорит, что мухи должны насытиться, иначе сожрут государство.

— В итоге мы без рыбы, — вздохнул Антипа.

Сенеке стало смешно. Хозяину дворца было уже под пятьдесят, а он как ребенок переживал из-за таких мелочей.

— Я не большой любитель рыбы, — сказал Сенека, чтобы утешить тетрарха. — Твой стол и без того богат. Честно говоря, меня это изумляет. Ведь у твоего народа множество запретов на еду. Не ожидал встретить здесь такое изобилие.

— Ты что же, думал увидеть здесь обед Диогена? — высокомерно прищурился Антипа.

— Нет-нет, что ты! Такого у меня и в мыслях не было, тетрарх.

Антипа усмехнулся.

— А вот евреи зовут меня царем.

Сенека растерялся.

— Ты хочешь, чтобы я тоже так делал?

— Не откажусь, — грохнул смехом Антипа. — Я бы хотел, чтобы все так делали. — Он приблизил лицо к Сенеке. — Пилат не знает евреев. Он доуправляется до восстания. Ты знаешь, что он учудил, когда прибыл?





Вывесил перед иерусалимским дворцом щиты, посвященные Тиберию. Сущий абдерец!<sup>45</sup> И приказал legionерам нести службу с императорскими значками. Ему повезло, что народ не взбунтовался.

— Не вижу здесь ничего предосудительного, — заметил Сенека.

— Ты, видно, не знаешь наших обычаев...

— Я слышан о них.

— Местные готовы отдать жизнь за то, чтобы не идти наперекор своим священным книгам. Я-то, как видишь, выше суеверий, но Иерусалим мне не принадлежит. Будь я там хозяином, сумел бы склонить выи непокорных, как делал мой отец. — Он многозначительно посмотрел на гостя. — Я слышал, тебя ограбили под стенами Кесарии. Красноречивый пример того, как Пилат радеет о провинции.

Сенека охотно согласился с этим выводом и сообщил, что из всех даров, которые он хотел преподнести тетрарху и его племяннику, больше всего сожалеет о потере трактата по египетской магии.

— Я хотел преподнести его Агриппе. Слышал, он большой ценитель редких книг.

— Агриппа? — удивился тетрарх. — О нет, такого за ним не водится. Если он что и читает, то лишь скабрёзности. Да и те только изредка. Куда больше ему по душе скачки и игра в кости.

— Вот как? Значит, у меня неверные сведения. — Сенека посмотрел на Агриппу, возлежавшего за другим столом в компании каких-то сановников. Племяннику тетрарха было лет сорок; желтое дряблое лицо, подпертое короткой черной бородой, обнаруживало склонность к порокам.

— Эти страсти его погубят, — продолжал Антипа. — Он приехал из Рима, обремененный долгами, и уже здесь сумел набрать новых. Больше всего он должен главному сборщику налогов в Ямнии Гаю Гереннию Капитону. Это тот, что лежит слева от него.

Антипа взялся расспрашивать гостя о семье и родственниках. В основном его интересовал дядя Сенеки, египетский префект. Вопросы были вроде бы самые обычные, но Сенека чувствовал подвох: тетрарх, очевидно, старался выведать, в каких отношениях находится Гай Галерий с Сеяном и не прислал ли он своего племянника в качестве соглядатая. Ощувив это, Сенека решил припугнуть хозяина и рассказал, как здорово ладили между собой его дядя и нынешний префект претория, когда Галерий жил в Риме.

— Почему же ты сам не остался в столице? — спросил Антипа, явно удрученный тем, что услышал.

— Грудная болезнь вынудила меня перебраться вслед за дядей.

И это была чистая правда. Не будь Сенека слаб здоровьем, никогда бы он не покинул Вечный город, где его ждала сенаторская карьера.

— Правду говорят, что Агриппа был близок с Друзом? — спросил он тетрарха.

<sup>45</sup> Абдерец — здесь: наивный простак, смешной провинциал. Абдерцы — жители города Абдеры во Фракии, считавшегося глухим захолустьем.

— Разве дядя не рассказывал тебе об этом? — подозрительно прищурился тот.

— Он говорил, что вокруг Друза крутились разные владыки с востока. Но не уточнял, какие именно.

Прозвучало не слишком учтиво. Выглядело так, будто потомки великого Ирода побирались у сына Тиберия как бедные родственники, которых и помнить-то ни к чему. Но такова была правда. Сенека решил не исправлять неловкость — пусть Антипа ощутит все могущество его дяди.

Тетрарх задумчиво отпил вина.

— На пиру не говорят о делах. Но я чувствую, ты здесь из-за Друза. Сенека повернул к нему голову.

— Ты прав, тетрарх, на пиру не говорят о делах. Когда ты примешь меня?

— Завтра в первую стражу дня. Приходи в мои покои.

— Пусть Агриппа тоже присутствует. Я буду говорить о нем.

Тетрарх пристально посмотрел на гостя и кивнул.

— Хорошо.

Вечером из окна своей спальни на втором этаже дворца Антипы Сенека, глубоко дыша, взирал на погруженный в сумрак город. Дворец стоял на холме, и Тибериада лежала перед гостем как на ладони. У самого подножия холма угадывались очертания театра и стадиона, на котором Сенека собирался завтра побегать и потаскать гири. Вдоль берега бескрайнего Галлийского моря сотами лепились дома, большие и маленькие, в полутьме похожие на кучу обтесанных блоков, из каких строились пирамиды. «Не надо было пить, — думал Сенека с раскаянием. — Тем более еврейское пиво. Завтра трудный день». Откуда-то издалека раздался густой звук трубы — легионеры играли третью стражу.

\*\*\*

Таблинума у Антипы не водилось, он принял Сенеку на открытой террасе, под журчание фонтанчика, украшенного небольшой статуей Ганимеда с кратером в руках. Тетрарх сидел на стуле, рядом стоял насупленный племянник.

— Я слушаю тебя, Луций, — сказал по-латыни Антипа, когда были произнесены приветствия.

— Марк Юлий остался должен дяде десять тысяч драхм, и дядя хотел бы напомнить об этом, — начал Сенека, назвав Агриппу его римским именем.

— Я помню, — сказал Агриппа, но тетрарх прервал его движением руки.

— Лишь из-за этого ты приехал сюда? — спросил он гостя. — Или есть еще что-то?

— Марк Юлий также должен немалые суммы друзьям дяди, оставшимся в Риме. Некоторые уже в немолодых годах и хотели бы увидеть свои деньги перед смертью.





Антипа вздохнул и обратился к племяннику:

— Я говорил тебе, что такая жизнь до добра не доведет! И вот допрыгался, теперь держишь волка за уши. Что же нам теперь делать?

— А не может твой дядя подождать? — спросил Агриппа Сенеку. — Видишь ли, мы сейчас воюем с набатеями и нуждаемся в средствах. Но когда победим, то всю добычу отошлем в Египет.

— Дядя ждет уже очень давно. Если бы он хотел подождать еще, не отправил бы меня сюда, — жестко ответил Сенека.

— Можно обложить всех особым налогом, — предложил Агриппа, повернувшись к тетрарху. — Или не собирать в этом году на золотую корону.

Антипа прикрыл глаза ладонью и молчал, качая головой. Потом поднял взгляд на племянника.

— Особым налогом — в субботний год. Прекрасная мысль. И написать Тиберию: «Не будет тебе золотой короны. Нам тут с долгами расчитаться надо». Еще лучше.

Он поднялся со стула и вдруг начал орать на племянника, как на нашкодившего мальчишку. Сенека оторопел. Тетрарх честил Агриппу на чем свет стоит, называл его великовозрастным лоботрясом, позором царского дома, презренным фригийцем и почему-то пастухом. Кричал, что терпит его лишь из-за сестры, что его давно пора обратить в раба и лучше б он вообще не рождался на свет.

— Шестьдесят талантов долга! — разорвался он. — Шестьдесят! Где мы возьмем такие деньги? Вся тетрархия дает двести. Вся! Что же ей теперь, работать на тебя?

Увлечшись, он начал путать латинские слова с греческими, а потом и вовсе перешел на местный язык.

Агриппа упал перед ним на колени и разрыдался, обняв дядины ноги и что-то бормоча сквозь слезы.

Антипа, накричавшись, опустился на стул.

— Я напишу префекту, твоему дяде, — глухо сказал он Сенеке полатыни. — Попрошу его об отсрочке.

— Я передам ему твое письмо, — пообещал Сенека.

— Да-да, передай, прошу тебя, Луций, — почти умоляюще произнес Антипа. — Мы тут как Иов на... — он сбился, вспоминая латинское слово, — на куче отбросов. Был такой... — он опять сбился, — философ. Бог послал ему испытания. Вот и у нас сейчас так. И субботний год, и война с Аретой... Еще всякие крикуны покоя не дают. Скажи дяде, что Агриппа все отдаст. А если не отдаст, — он грозно посмотрел на племянника, — я выдам его Гаю на суд и расправу. Пусть делает с ним что захочет.

Агриппа поежился. Сенека кивнул.

— Полагаю, мы пришли к согласию, тетрарх. Да пошлют тебе боги здоровья и благополучия!

Антипа наклонил голову в знак признательности. Сенека вышел.

До пятого часа он занимался с мальчишкой на стадионе гимнастикой и бегом. Потом, перекусив хлебом и сыром, пошел искать Агриппу, с которым хотел переговорить с глазу на глаз. Найти племянника тетрарха оказалось не так-то просто. Хотя тот и занимал должность смотрителя за рынком, на торговой площади его не оказалось. В претории его тоже не было. Служащие посоветовали поискать начальника в кабаках на набережной. Сенека, немало удивленный этим, отправился туда и действительно обнаружил племянника тетрарха возле одной забегаловки азартно наблюдающим за петушиным боем. Не веря своим глазам, Сенека протиснулся к Агриппе, который стоял возле ивовой ограды и возбужденно кричал, потрясая кулаками. Сенека положил ему ладонь на плечо. Агриппа обернулся, и широкая улыбка сползла с его лица.

— У меня к тебе дело, Агриппа, — сказал Сенека по-латыни.

— Погоди... — растерянно промолвил тот, косясь на дерущихся птиц. — Но мы же все выяснили.

— Не все.

— Тогда подожди. Я поставил пятьсот сиклей вон на того.

— Долго они еще будут драться?

— Сейчас закончат.

Жестокое зрелище было неприятно Сенеке, и он отошел, поражаясь легкомыслию внука Ирода.

Наконец бой закончился, и распорядитель принялся выдавать деньги выигравшим. Агриппа был доволен — сегодня ему повезло.

— Я слушаю тебя, Луций, — весело сказал он, завязывая бренчащий мешочек на поясе.

Они неторопливо направились вдоль берега озера.

— Ты можешь избавиться от долга перед моим дядей, если дашь мне одну вещь, — сообщил Сенека.

— Прекрасно! Какую же?

— Одну книгу. Говорят, ты привез ее из Рима. — Сенека остановился и посмотрел Агриппе в глаза. — «Отыквление божественного Цезаря».

Собеседник вытаращился на него как на жуткое страшилище.

— Ее у меня нет, — пробормотал он.

— У кого же она?

— Она... у меня ее никогда и не было, — ответил Агриппа так быстро, что не оставалось сомнений в его вранье.

— Не лги, Агриппа. Я знаю, что она у тебя.

Тот вцепился в бороду.

— Кто тебе сказал?

— Дядя. Он ведь друг Сеяна. А Сеян прекрасно знает, чем тебя одарил Друз.

— Неужели знает? — ужаснулся Агриппа.

— Да.

— Но почему... почему тогда ничего не сделает? — спросил смотритель, пугливо озираясь.





— Ты ему не нужен. Пока не нужен.

Сенеке показалось, что он слышит, как у Агриппы стучат зубы. Еще бы! «Отыквление Цезаря» — самая опасная книга в стране. За ее обладание — смертная казнь. Лучше приносить жертвы духам Брута и Кассия, чем держать дома такую вещь.

— У меня ее нет, — повторил Агриппа.

— Перестань!

— Я ее отдал в счет долга.

— Кому?

— Капитону.

Этого еще не хватало!

— Это тот римлянин, который возлежал рядом с тобой на пиру?

— Да.

— Кто он такой? — спросил Сенека.

— Прокуратор Явне. Вы называете ее Ямнией. Это в Иудее. Он управляет императорскими землями.

Сенека задумался. Проще всего было заставить Агриппу отправиться к Капитону за книгой — пусть выпрашивает обратно. Но что он ему предложит? Агриппа по уши в долгах. Разве что будет действовать через сестру, которая замужем за его дядей. Но время, время! Капитон вряд ли тут задержится, да и у Сенеки нет для этого повода — он ведь уже сказал тетрарху, что они пришли к согласию. Значит, нужно идти самому. Но это так опасно! Как же поступить?

— Любопытно, откуда у прокуратора столько денег? — спросил Сенека задумчиво.

— Он беспощинно продает бальзамическое масло, — объяснил Агриппа. — Это ведь собственность Тиберия.

— А выручку забирает себе, — сделал вывод Сенека.

— Он платит налоги в казну наместника.

Ну разумеется. О нем тоже можно написать в Рим. Вообще неплохо бы разворошить этот муравейник. Хорошо они тут устроились, вдалеке от Палатина<sup>46</sup>.

— А что тут делает Капитон? — спросил Сенека. — Зачем он приехал в Тибериаду?

— Дядя пригласил его. Будут решать, как поступить с землями Хузы.

— Хуза — это человек или местность? — уточнил Сенека.

— Это дядин управляющий. Набатей. Отвез Фазелис к Арете и не вернулся. Теперь дядя хочет отобрать его земли. Но они разбросаны по всей Палестине, даже в Ямнии есть. Вот дядя и пригласил Капитона. Будут решать.

Сенека ничего не понял и потребовал подробностей. Агриппа объяснил: его дядя рассорился не только с Пилатом и арабским царем Аретой, но и с собственными подданными, и даже с частью своих вельмож.

<sup>46</sup> Палатин — центральный из семи главных холмов в Риме. На нем находился дворец Тиберия.

Хуза — человек Ареты. Двадцать лет назад он привез в Галилею Фазелис, дочь Ареты, которая вышла замуж за Антипу. Тетрарх назначил Хузу своим управляющим, а тот взял во временное пользование оливковые рощи в Ямнии. Но в прошлом году Антипа вдруг отослал Фазелис к ее отцу и женился на сестре Агриппы Иродиаде. Хуза тоже уехал и не вернулся, поскольку оскорбленный царь набатеев объявил Антипе войну. Теперь Антипа в затруднении и не знает, как поступить с раскиданными там и сям землями Хузы, на которые заявила права его жена Иоанна, коренная галилеянка. Да не просто заявила, а еще и связалась с магом из числа последователей того горлопана, которого Антипа казнил за дерзость.

— Да-да, я что-то слышал, — сказал Сенека. — Один из ограбивших меня тоже был поклонником речей этого демагога. Что ж, Антипу можно понять. Ни один властитель не будет терпеть, когда в его владениях разгорается бунт. Но почему Иоанна не уехала вместе с мужем?

Агриппа засмеялся.

— Бросить богатство и жить у арабов, лоя корки с царского стола? Это не для нее.

— Но ведь все ее богатство принадлежит Хузе. А он покинул Галилею.

— Она и сама не из нищих. А Хуза передал ей дарственную на все свои земли.

У Сенеки пошла кругом голова.

— Дарственную жене?

— Жене и дочери.

— Ну и ну! Разве Антипа не может просто лишить их имущества?

— Он боится.

— Боится женщину с ребенком?

Агриппа кивнул, презрительно выпятив губу.

— Боится, что скажут люди. Боится первосвященника. Я бы не боялся.

Сенека покачал головой.

— Я решительно этого не понимаю. Вы, иудеи, странный народ.

Агриппа промолчал. Сенека принялся расспрашивать его про Капитона, желая понять, можно ли открывать этому человеку свою тайну. Со слов Агриппы выходило, что прокуратор — тот еще паук. Приехал в Палестину бедным, а теперь купается в деньгах. Такого не обведешь вокруг пальца. Может, просто пригрозить ему? В Риме не обрадуются, если узнают, что управляющий императорским хозяйством в Сирии Палестинской читает на досуге запрещенную литературу. Но тогда самому Сенеке не видать заветной книги как своих ушей. Придется, видно, пойти на переговоры.

Сделав такой вывод, Сенека скорбно вздохнул. Перед тяжелым разговором надо бы заручиться поддержкой богов. Но как? В этой никчемной стране всего один храм, и тот в Иерусалиме. Не отправлять же туда людей с жертвенной овцой. Значит, остается гадание.





Сенека вернулся во дворец и велел рабу принести с рынка несколько куриных яиц. Когда раб выполнил поручение, Сенека приказал зажечь масляную лампу, положил одно из яиц на ложечку и подержал его над огнем. Сквозь скорлупу начала проступать влага, Сенека напряженно следил за каждой каплей и молился про себя, чтобы яйцо не треснуло (это считалось плохим знаком). Яйцо, к счастью, осталось целым, но количество влаги не удовлетворило Сенеку. Он подумал, что неплохо бы получить еще какое-нибудь знамение. Стал вспоминать, не пришло ли ему чего ночью, затем подошел к окну, устремил взор на плавающий в липком мареве город, гудящий от тысяч голосов. Долго стоял, ожидая намека от богов и сокрушаясь, что под рукой нет Гомера — по нему тоже хорошо гадается. «Вот же странное положение! — подумал он. — Я в земле магов и целителей, а не могу найти завялящего прорицателя». Может, поблизости есть оракул или, например, священная роща?

Тут до него донеслись голоса из соседней комнаты: один раб отчитывал другого.

— Сколько еще будешь копать? Скоро день закончится.

Сенека вскочил, окрыленный. Вот он, знак! Спасибо вам, бессмертные!

Капитону, как и Сенеке, кров предоставил Антипа, а потому искать его не пришлось. Он жил во дворце тетрарха, на первом этаже, в южном крыле. Из этого следовало, что Антипа ставил Капитона выше Сенеки, раз предоставил ему более почетное помещение. Оно и неудивительно: прокуратор — римский чиновник высокого ранга, а кто такой Сенека? Всего лишь племянник египетского префекта, даже не кровный.

Сенека заявился в покои прокуратора, очень смутно представляя себе, как будет вести разговор. Он не сомневался, что Капитон начнет отнекиваться и даже, наверное, делано возмущаться, яростно отрицая, будто держит у себя опасную книгу. А значит, надо сразу предложить ему хороший куш.

Повадки Капитона выдавали в нем низкорожденного: он встретил Сенеку преувеличенно вежливо, как простолюдины встречают благородного, а услышав о книге, тут же сделался высокомерно-холодным.

— Ты, видно, подшучиваешь надо мной, если говоришь такое, — процедил он, пронзительно глядя на Сенеку.

— Скажи мне цену, Капитон, — по-деловому отозвался гость, сразу пресекая дискуссию.

— Цену моей жизни? Думаешь, я не знаю, что за эту книгу полагается смерть?

— Тогда зачем ты ее держишь?

— Видимо, мне придется просить тебя удалиться, уважаемый Луций.

Сенека не шелохнулся. Он сидел на стуле, положив сцепленные руки на колени, и смотрел на тощего лысеющего прокуратора, который начал было вставать, чтобы кликнуть рабов, да так и замер, полусогнувшись,



с нерешительно приоткрытым ртом. Потом Капитон медленно опустился обратно на стул и пожевал губами.

— Пожалуй, ты можешь мне помочь.

— Говори, — сухо ответил Сенека.

— Ты, вероятно, слышал, что я здесь по делу. Тетрарх хочет отменить одну сделку из-за недостойного поведения совершившего ее. Сам совершивший сбежал, но осталась его жена, которой он выписал дарственную. Женщины, как мы знаем, хитры и умеют наводить чары. Мне бы не хотелось пасть жертвой ее заклятий. Тетрарх, я думаю, найдет способ признать дарственную недействительной и вернет все участки под мое управление. Я же составлю договор, в который впишу тебя — как временного пользователя этих угодий. Если ты согласен на это, то получишь книгу.

Сенека оценил изворотливость прокуратора. Значит, если Иоанна вздумает наслать на него порчу за отнятое имущество, ее проклятья падут на Сенеку. Ловко!

— А весь доход пойдет тебе? — спросил он.

— Это так, — тонко улыбнулся Капитон.

— А если я предъявлю права на эти земли?

— Тогда мне придется рассказать, при каких обстоятельствах ты их получил.

— Тебя лишат имущества и сошлют на Гиару за такие проделки.

— А тебя принудят броситься на меч.

Это правда.

Сенека задумался. Стоит ли книга такого риска? Женщины — мастирицы по части волшебства, а иудейки — лучшие среди них. Но чего ему бояться? Ведь он знаком с египетской магией. Пусть он насмехался над ней в Кесарии, чтобы отбить у жены наместника охоту получить книгу, но против халдейской ворожбы приемы египтян вполне могут работать. И потом, вряд ли Иоанна сумеет навредить ему, если ни разу его не увидит.

— А эта женщина сейчас в Тибериаде? — спросил Сенека.

— Иоанна? В Иерусалиме. Ябедничает первосвященнику на тетрарха. Уже хорошо. Но все же надо подумать.

— Я дам ответ завтра, — сказал Сенека, поднимаясь.

— Надеюсь, ты не забыл, что завтра — суббота, Луций, — ответил Капитон, тоже вставая.

— И что с того? — рассеянно спросил Сенека.

— Наш договор должен утвердить Антипа. А в субботу евреи ничего не делают.

— Ах да, я запомнил о знаменитой еврейской лени. Ну что ж, утверждает его на следующий день.

— На следующий день он отправляется в Иерусалим.

Сенека, собиравшийся уже уходить, остановился и чуть не плюнул с досады. Получается, он должен дать ответ сейчас.





— Надеюсь, Антипа не узнает, на каких условиях ты перепишешь на меня владения этой иудейки? — задумчиво произнес он.

— О нет! Об этом не тревожься, — усмехнулся прокуратор.

Сенека завел руки за спину и походил туда-сюда, все еще взвешивая за и против.

— А ты что же, тоже ценишь редкие книги? — спросил он.

— Ценю то, что приносит прибыль. Так каков твой ответ, Луций?

— Ты будто знал, что я явлюсь за этим свитком, — криво усмехнулся Сенека.

Капитон не ответил. Сенека вздохнул.

— Что ж, пусть будет так.

— Превосходно. Тогда идем к тетрарху.

Антипа принял их тотчас же, едва узнал, по какому поводу они явились.

— Значит, с участками Хузы в Явне уладили дело, — сказал он, потирая руки. — Сам Господь привел тебя к нам, Луций.

Они вновь находились на той самой террасе, где Сенека утром разговаривал о долге Агриппы.

— Ты уже придумал основание, на котором заберешь эти уголья? — спросил Капитон.

— Нет ничего проще, — ответил тетрарх. — Явне принадлежит Тиберию и вдобавок находится на территории провинции. Значит, там действуют римские законы. А по этим законам любые сделки между супругами запрещены. Значит, дарственная Хузы недействительна.

Капитон засмеялся.

— Ты сделал бы карьеру в Риме!

Антипа позвал писца, и они быстро состряпали договор о передаче Сенеке во временное пользование участков, принадлежавших Хузе. Потом Антипа на правах судьи своей тетрархии продиктовал постановление об отмене дарственной бывшего управляющего.

— Осталось получить от Пилата указ о лишении Хузы владений в Явне за бегство к врагу, — сказал он Капитону. — Но это уже твоя задача.

На следующий день Сенека и Капитон в прокураторской повозке выехали в Ямнию. Сенека был счастлив. Чуть не облизываясь от предвкушения, он делился своей радостью с Капитоном.

— Кто бы мог подумать, что в этой жалкой стране я получу в свои руки величайшее сокровище нашей державы! Скорее всего, прокуратор, у тебя остался последний экземпляр этого сочинения. Все другие давно уничтожены. Ты читал его?

— Читал. Последний мим в сирийском кабаке не высмеивает так местных забулдыг, как там высмеивается Цезарь Август. Это мерзкая книжонка, и я бы давно сжег ее, если б не рассчитывал со временем выгодно продать.

— Там стоит имя автора?

- Разумеется, нет. Кто же подпишет себе смертный приговор?
- О да, дураков нет, — усмехнулся Сенека.
- А ты знаешь, кто ее написал?
- Неужели ты не догадываешься?
- Мм, Кассий Север? Или сам Бафилл?<sup>47</sup>
- Да Тиберий же!

## Опять в Кесарии Палестинской

Полночи Мессалам допрашивал в подвале иудея. Палач, взятый из легионеров, был не очень изобретателен — умел лишь стегать бичом да прижигать каленым железом. Впрочем, при наличии соли этого обычно хватало. Но не сейчас. Иудей наотрез отказался признавать, что участвовал в ограблении римского гостя.

— Скоро будет Божий суд, за все тебе воздастся, подлый самаритянин, — шипел он по-арамейски, прикованный запястьями и лодыжками к стене.

Писец-грек беспомощно хлопал глазами, не понимая его слов.

— Говори по-гречески, мерзавец, — спокойно произнес Мессалам, сидевший за одним столиком с писцом. — Ты — кинжальщик, не отпирайся. Давно видел Элезара?

В свете факелов взмокшее лицо надзирателя отливало медью.

— Я был кинжальщиком, — признался еврей, на этот раз по-гречески. — Илия открыл мне глаза. Грядет суд и великое освобождение. Сильные падут, а последние станут первыми.

— Кто этот Илия? Ваш новый вожак?

— Пророк, сошедший с небес. Он вернулся, а значит, уже грядет Господь-Мессия. Час расплаты близок.

— Ты, верно, про того несчастного, которого казнил Антипа в прошлом году. Только его звали как-то иначе. Ты ессе́й?

Иисус отрицательно покачал головой. Он был так измучен, что даже не мог поднять голову.

— Почему ты назвался «сыном отца»? Решил посмеяться над наместником?

Еврей усмехнулся и сплюнул себе под ноги. Кровавая слюна повисла на губе.

— Наместник представляет здесь особу правителя, — назидательно продолжал Мессалам. — Его оскорбление — это оскорбление величия. Тебя умертвят на кресте, как раба или преступника. И даже могилы твоей не останется.

— Мне она не нужна. На Страшном суде мертвые воскреснут.

— Неужто все?

— Все, — прохрипел иудей.

<sup>47</sup> *Бафилл* — вольноотпущенник Мецената, мастер шутилой пантомимы. Один из популярных актеров времен Октавиана Августа.





— А дальше что будет?

— Господь-Царь отделит агнцев от козлиц и воссядет на престоле в Иерусалиме, дабы править вечно, — произнес кинжальщик по-арамейски.

Мессалам почесал ухо.

— В доме, где ты сейчас пребываешь, есть изображения людей, а еще едят свинину. Как ты думаешь, куда отправит тебя Бог на Страшном суде?

Иисус смолчал, и Мессалам понял, что задел его за живое.

— Видишь, ты уже согрешил. Если скажешь правду, сможешь очиститься перед смертью. Итак, ты напал на римского гражданина, потому что тебе приказал Элеазар или потому что хотел его ограбить?

— Я не нападал на римлянина.

— Значит, пойдешь на распятие как обычный грабитель и без очищения.

— Я не грабитель, ты, подлый самаритянский выродок!

— Значит, тебя послал Элеазар? — спокойно продолжал Мессалам. — Мы уважаем таких врагов, как ты. Тебя распнут как бунтовщика против римлян.

— Я не бунтовщик! — почти выкрикнул еврей.

— А кто только что говорил про Божий суд? Разве тебе неизвестно, что нет высшего суда, чем суд императора? Ты — бунтовщик, признайся. Ты ненавидишь римлян. Разве нет?

— Я ненавижу римлян, — подтвердил иудей.

— Ну вот, уже лучше. Итак, ты был кинжальщиком и хотел восстановить Израиль, верно?

— Я хотел восстановить Израиль, чтобы в нем правил Бог, а не цари.

— Прекрасно. То есть ты подтверждаешь, что тебе не нравится власть земных правителей. Так?

— Да! Нет иного правителя, кроме Господа!

— Ну, если ты уже признался в таком большом преступлении, как бунт против Рима, тебе нетрудно будет признаться в столь малом проступке, как нападение на римского гражданина.

— Я не нападал на римлянина!

Мессалам вздохнул.

— Аввай, всыпь-ка ему, — велел он палачу.

Тот поднял бич и хлестанул прикованного поперек груди, распоров ему кожу железными шипами. Еврей завопил и часто-часто задышал, приходя в себя.

— Ну что, дать тебе еще или признаешься? — спросил Мессалам.

Иудей смотрел на него диким взглядом.

— Если продолжишь отпираться, мы будем брать всех евреев подряд и допрашивать их, как тебя. С особенным пристрастием поговорим с ессеями, которые тебя приютили. Зачем они дали тебе убежище? Ты ведь кинжальщик, а они — святые люди, не приемлющие насилия. Ты же

не хочешь навлечь беду на свой народ? — Мессалам помолчал, давая измученному иудею осмыслить его слова. — Тебя изгнали твои же соплеменники. Разве это справедливо? Ведь ты не делал ничего плохого. Ты пришел к ним с открытым сердцем, а они изгнали тебя. А теперь они страдают из-за твоего упрямства. И кого станут в этом винить? Тебя. Скажут: «Вот они каковы, люди пророка Илии. Из-за них все несчастья. Правильно мы его изгнали». Тебя все возненавидят — и кто изгнал, и кто дал приют. Неужели ты этого добивался?

— Господь все видит, — прохрипел Иисус.

— И Он увидит, как из-за тебя обрушились гонения на евреев. Ты уже осквернился. Возьмешь на душу еще один грех?

Иудей с трудом поднял на него глаза.

— Проклятый самаритянин.

— Признаешься, что ограбил римлянина — умрешь как защитник своего народа, хоть на кресте, но овеванный славой. Продолжишь отрицать — сдохнешь как презренный убийца, нечистый перед Богом, вдобавок погубишь других. Что выбираешь?

— Господь, запретивший лгать, не велит мне брать на себя чужие грехи, — помедлив, выдохнул Иисус.

— Тогда продолжим, — не смутившись, сказал Мессалам.

Спустя полстражи в подвал заглянул Пилат. Он только что поужинал, а потому был на удивление благостен. Истерзанный еврей к тому времени готов был признаться в чем угодно. К удовлетворению наместника, он честно поведал, как вместе с другими разбойниками явился в Кесарию смущать умы соплеменников и как замыслил ограбить гостя из Египта, чтобы все увидели его бесстрашие. Теперь его товарищи были далеко — кто в Бет-Хороне, кто в пустыне, — а он решил остаться и продолжить свое дело.

— Уж лучше бы ты ограбил меня, — сокрушенно заметил Пилат. И, увидев изумленное лицо надзирателя, пояснил: — Так никто бы не узнал, что у нас под боком бесчинствуют налетчики. А теперь об этом будет болтать вся страна.

\*\*\*

С утра перед дворцом наместника собралась толпа. Пилат, увидев это, сморщился, будто у него болел зуб. Однажды такое уже было. В самом начале, когда он только прибыл сюда и не знал толком местных обычаев. Ему тогда пришло в голову вывесить в Иерусалиме щиты с посвятельными надписями Тиберию. Немедленно в Кесарию понабежало множество иудеев, умолявших убрать эти несчастные щиты. Пилат согнал просителей на стадион и пригрозил всех перерезать, если не уймутся. Но евреи оказались упрямы и выразили готовность умереть, лишь бы не видеть щитов. Наместник был так поражен, что уступил им. Выходит, зря. Ну что ж, настало время показать силу.





Перед тем как разогнать сборище, Пилат все же решил осведомиться, чего они хотят. Он вышел на высокое мраморное крыльцо и спросил, глядя на толпу сверху вниз:

— Чего вам надо?

От него не укрылось, что толпа состояла из одного сброда. Прилично одетых в ней было раз-два и обчелся. И совсем не было святош в полосатых покрывалах, что бродили по городу с закаченными глазами и бормотали молитвы. Обычно именно они выступали заводилами еврейских волнений. А сейчас ни одного из них Пилат не увидел. Любопытно.

Вперед выступил могучий еврей с редкой бородашкой, поклонился и прогудел по-гречески, с сильным акцентом:

— Мы просим, господин, освободить Иисуса. Он не сделал ничего плохого.

Пилат прищурился.

— Он был среди ограбивших моего гостя. Тому есть улики, и есть его признание.

— Господин, его оговорили. Он — добрый человек.

— Добрые люди не ходят с кинжалами.

Еврей растерянно обернулся, словно ища ответ на невысказанный вопрос, затем сказал Пилату:

— Про кинжал мы ничего не знаем. Он пришел к нам как посланец Или и без оружия.

— Он ограбил моего гостя и будет за это наказан. — Пилат нахмурился, вспомнив слова Мессалама. — Вы же сами изгнали его. Так чего теперь явились просить за этого разбойника?

Еврей открыл было рот для ответа, но его опередил другой, выкрикнувший из толпы:

— Его изгнали книжники и торгаши, господин!

Толпа зашумела, соглашаясь.

— Это кто там орет? — рявкнул Пилат, потеряв терпение. — А ну, пошли отсюда вон! Вон, вон, убирайтесь к воронам!

Евреи начали неохотно расходиться. Пилат направился обратно во дворец, поманив за собой Мессалама, который стоял поодаль с десятком воинов-сирийцев, готовый броситься на защиту наместника.

— До Песаха распинать не будем. Сегодня вечером, перед ужином, приведи ко мне знатнейших иудеев. Хочу с ними потолковать.

— Сделаю, господин, — кивнул Мессалам.

У него были красные глаза — сказала бессонная ночь.

\*\*\*

С иудеями Пилат встретился в портике претория, где не было статуй и фресок с изображениями богов и зверей. Началась предпраздничная декада, и евреи блюли себя. Наместника это ужасно раздражало — мало того, что ради этих варваров ему приходилось покидать дворец, так

он еще и не мог ставить статуи Тиберия и Сеяна где вздумается. Что это, как не оскорбление величия?

— Вы, конечно, знаете, что сегодня утром я имел разговор с вашими соплеменниками, — обратился он по-гречески к стоящим перед ним бородатым иудеям в разноцветных накидках с красной бахромой. Сам Пилат, одетый в пурпурную тунику, сидел на курульном кресле, опершись локтем о стоящий рядом деревянный стол. Было ужасно жарко, со стороны порта несло рыбой. — Они просили освободить того разбойника, который участвовал в ограблении моего гостя. Знайте: еще один такой визит, и прольется кровь.

— Господин, — ответил с глубоким поклоном один из евреев, — мы глубоко сожалеем, что тебя побеспокоили эти низкие люди. Они — лентяи и невежды, очарованные смутьяном. Мы признательны тебе, что ты проявил терпение и не велел их разогнать. В знак благодарности мы хотим преподнести тебе две тысячи динариев.

Он отступил, и вперед вышел другой иудей, пониже и поскромнее одетый, с туго набитым мешочком в руке. Поклонившись, он передал его наместнику. Пилат повеселел. Две тысячи динариев — годовой заработок префекта сирийской когорты, охранявшей порядок в Кесарии. Неплохо.

— Мессалам говорит, что он из кинжальщиков, — продолжил наместник, подбрав. — Если так, почему вы не выдали его мне?

— Мы не знаем, кинжальщик ли он, — объяснил первый еврей. — Этот человек явился от Иоанна, мага, которого казнил Антипа. Он ничего не сделал против римлян.

— Как же ничего, если ограбил моего гостя?

— Нам это было неизвестно, господин, и мы посыпаем головы пеплом, — скорбно произнес еврей.

Пилат задумчиво посмотрел в сторону, соображая, к чему еще можно придраться.

— Все равно вы должны были его выдать, раз маг, от которого он явился, был преступником.

— Он был преступником в глазах Антипы, но не в наших и не в глазах первосвященника, — возразил еврей. — Он ничего не говорил против Рима.

— Антипа — друг римского народа, — возвысил голос наместник. — Его враги — враги Тиберия.

Евреи обеспокоенно переглянулись.

— И потом, вы же сами его изгнали, — напомнил Пилат. — За что?

— Он пророчил конец света и всеобщее равенство в грядущем мире. Толпа податлива на такие слова.

— И вы будете говорить, что он не выступал против Рима? — грозно спросил Пилат.

Евреи заволновались пуще прежнего.

— Прости нам наше неразумие, господин, — кротко попросил кто-то из них.



— Вы знаете, что в городе вас не любят, — сказал Пилат. — Если бы не я, вас бы давно растерзали. Вы можете искупить свою вину, если дадите денег на акведук, который я хочу провести в Иерусалиме. Мои воины страдают без свежей воды. Соберите сто тысяч динариев и передайте моему казначею.

Евреи ахнули.

— Господин, сейчас субботний год... — залепетал он.

— Что-что?

— Да-да, мы соберем деньги, господин, — тут же сникли иудеи.

— И не заставляйте меня ждать. Когда вернусь из Иерусалима, чтобы вся сумма была собрана. — Он обвел их взглядом, убеждаясь, что вогнал всех в трепет, и добавил: — Тогда же я распну и вашего разбойника.

— Это воистину мудро!

\*\*\*

Все было хорошо в доме у Симеона, кроме неистребимой вони дубленых кож. И хоть сушильни стояли далеко от жилища, запах доносился и сюда. Понятно, отчего мастерам этого дела предписывали селиться только за городом.

Тумелик любил бывать у самаритянского мудреца. Было это всего дважды, и оттого вызывало особенно сильные чувства. В первый раз Симеон открыл Тумелику его судьбу, во второй — передал послание для Прокулы. Что было в этом послании, Тумелик не знал, но с тех пор жена Пилата перестала цепляться к нему с двусмысленными намеками. И вот теперь Тумелик, сопровождаемый Мессаламом, в третий раз пришел к учителю праведности.

Мессалам говорил, что Симеону открыты тайны бытия, неведомые даже сивиллам и пифиям, а еще он умеет изгонять бесов и знает будущее. И точно: едва кожевник увидел Тумелика, сразу напророчил ему великую судьбу. Тумелик был восхищен.

— Тебе предстоит потрясти государство, как это делал твой отец, — сказал ему Симеон при первой встрече. — Но берегись прислужников тьмы.

Это означало, что Тумелик должен хранить в тайне то, что услышит здесь. Если проговорится, чары рассеются и рок больше не будет вести его за собой. «Сокровенное знание сильно, пока известно избранным, — говорил Симеон. — Духи зла не должны увидеть тебя». И Тумелик молчал, хотя о его вылазках в самаритянскую деревню знали многие. Пилат ими не интересовался, а Прокула сама была очарована речами мудреца. Друзья-греки, с которыми Тумелик ходил на стадион, охотился на перепелок и задирали нищих, не уставали потешаться над его дружбой с лохматым варваром, но не проявляли любопытства к его учению. Все их мысли занимали скачки и выступления мимов.



В этот раз Симеон был не один. За столом, куда он пригласил Тумелика и Мессалама, уже сидели пять человек разного возраста. Угощение было привычно скромным: хлеб, сыр, фиги, козье молоко. Гарума самаритяне не знали, а оливкового масла кожевенник не признавал.

— Книга, которую ты доставил мне, Мессалам, оказалась очень полезна, — начал Симеон по-гречески, усаживаясь с торца и переходя сразу к делу, без полагающейся в таком случае молитвы. — Но это не снимает с тебя грех пособничества в убийстве! Не твоя рука направляла стрелу, поразившую того несчастного, но ты набирал людей, чтобы завладеть свитком римлянина, и ты несешь за них ответственность. Постись и кайся, как делаю я, — да не умножится зло! Его и так без меры. — Он прикрыл глаза, неслышно что-то прошептал, и провозгласил: — «Дух — небесам, тело — земле». Так сказано в книге египетской мудрости. И еще: «Небеса владеют духом, а земля — твоим телом». Великие слова! Египтяне давно постигли то, о чем греки лишь догадываются, а евреи не знают вовсе: Тот, Кого мы зовем Богом, — не верховное и не всемогущее существо.

Все ахнули, и лишь Тумелик остался невозмутим, потому что ничего не понял.

— Так ведь и греки это говорят, — заметил один из гостей.

— Прежде чем возражать мне, выслушай, — ответил Симеон. — Греки правы в том, что есть много богов, но есть и Один непонятый и неизвестный всем, и Он-то — Бог всех богов. О том же написано и в нашем законе, уже в самом начале. Вспомните: когда первый человек принял завет от Бога брать плоды с любого дерева в саду, но не с дерева познания добра и зла, змей посредством женщины убедил его нарушить это предписание, обещав, что люди станут богами. Он сказал: «Вы будете, как боги», ясно показав тем самым, что иные боги существуют. И когда Адам и Ева вкусили запретный плод, Бог сказал: «Вот, Адам стал как один из Нас». Еще сказано в законе: «Богов не злословь и начальника в народе твоём не поноси», что тоже указывает на многих богов, которых Один верховный даже не хочет проклинать. А сколько раз в Писании говорится: «Покушался такой-то бог пойти, взять себе народ из среды иного народа казнями, знамениями, чудесами и войною и великими ужасами, как сделал для вас Господь, Бог ваш». Если бы других богов не существовало, стал бы Он говорить «покушался такой-то бог»? Или вот: «Боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес». И в другом месте: «Пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои». А еще: «Господь, Бог ваш, есть Бог богов». И кроме этого: «Кто, как Ты, Господи, между богами?» И еще: «Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд». И наконец: «Имени других богов не упоминайте; да не слышится оно из уст твоих».

Повисла напряженная тишина. Все неотрывно смотрели на Симеона, ожидая продолжения.

— Далее: Творец всего сущего, хоть, быть может, и сильнее прочих богов, отнюдь не всемогущ и не всеведущ. И это тоже было видно





с самого начала, ведь человек, которого Он создал, оказался не способен оставаться таким, каким Он хотел его видеть. Ведь Он позволил первочеловеку есть со всех деревьев рая, кроме древа познания. Не странно ли это? Адам, будучи сотворен по Его подобию, оставался слепым и не владеющим знанием добра и зла, и изведен из рая, и наказан смертью.

— Адам не был слеп! — пылко возразил самый молодой из самаритян. — Нигде в законе не написано, что он был незрячим.

— Его ум был слеп. Обладай он предвидением, он бы знал, что змей обманет его жену. Но он не знал, потому что и Сотворивший его не знал об этом. Творец зрит не во всех местах и не знает будущего. Он несовершенен, недобр, подвластен многим и бесчисленным печальным страстям. Сами убедитесь в этом. Вот что Он говорит об Адаме: «Как бы не простер он руки своей, и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». В самих этих словах — «как бы» — Он проявляет свое неведение, да еще и зависть. А вот что Он говорит перед тем, как ниспровергнуть Содом: «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю». А что сказано дальше? «И раскаялся Господь, что создал человека». То есть творение поступило не согласно ожиданиям Творца. Где же тут всеведение? А вот еще признак Его страстей: «И обонял Господь приятное благоухание». Стало быть, Он получает удовольствие от плотского жира, а значит, подвержен желаниям. Он же и искушитель, поскольку написано: «Бог искушал Авраама». И Он не благ, потому что запретил Адаму познавать, что есть зло и добро, тем самым лишил его возможности избегать зла. Когда же Адам и Ева нарушили заповедь и открыли, что есть добро, и научились прикрывать свою наготу, ибо ощущали себя неприглядными перед Творцом, Бог приговорил их к смерти, хотя лишь тогда они постигли, как можно оказывать почесть Богу. Мало того, он еще и проклял змея, показавшего им эти вещи. Но если человеку угрожала такая опасность от древа познания, зачем Бог поместил это древо в рай? И разве это благо — удерживать другого от постижения добра?

— Если Бог лукав, как ты говоришь, то как Он допустил, что все эти улики против Него попали в Писание? — спросил самаритянин постарше, глядя бороду.

— Может быть, обвинение против Него написано другой силой, над которой Он не властен.

— Какой же?

— Высшей. Если Творец несовершенен, значит, есть другой, Тот, кто совершенен, другой Бог, более прекрасный и более всемогущий, чем все. Не является ли тогда Творец мира простой относительностью? Он вреден, как вода вредна огню, но полезна для иссохшей почвы; как железо — благо для земледелия, но вредно при убийствах; и похоть не зла в отношении брака, но дурна в отношении измен; как убийство — зло, но благо для самого убийцы, который благодаря нему достигает своей цели; и обман — зло, но приятен тому, кто обманывает; и прочие вещи подобного

рода и благи, и дурны в сходной манере. Таким образом, ничто не зло и не благо; одно производит другое. Не обстоит ли дело так, что нет ничего дурного или благого по природе, но разница возникает через закон и обычай? Ибо разве нет такого обычая у персов — жениться на их собственных матерях, сестрах и дочерях, тогда как брак с другими женщинами воспрещен как варварский? Отсюда, если не установлено, что вещи злы, невозможно для всех ожидать суда Божьего.

— Так что же, нет надежды на спасение? — воскликнул молодой самаритянин.

— Есть, но придет оно не через суд, а через знание. Кого судить и за что, если само добро относительно в мире, созданном несовершенным Богом? Этот Бог был послан более прекрасным Существом сотворить плоть, и сделал это. А затем выдал себя за единственного Бога и потребовал поклонения Себе. Он скрыл, что спасение дарует Высший от него, благой Бог, и спасение это дается через признание этого Бога. Очень сложно человеку познать Его, пока человек заключен в плоть; ибо чернее, чем вся тьма, и тяжелее, чем вся глина, — наше тело, в котором пленницей томится душа. Лишь наши души сотворены благим Богом и потому могут к Нему вернуться.

— И зачем же так усложнять спасение? — усомнился пожилой самаритянин. — Нашего Бога мы знаем, а кто этот благой? Не потеряем ли мы Бога вообще, если отвернемся от нынешнего?

— Разве это опасно — подниматься к Тому, чья слава богаче? Если души — от Него и не знают Его, а Он — их Отец, протяни свое чувство на небо, даже выше неба, и смотри, где-то там должно быть место за пределом мира или вне мира, где нет ни неба, ни земли и где ни одна тень этих вещей не производит тьмы; и следовательно, раз нет тел, нет и тьмы, вызванной телами, а есть один лишь неизмеримый свет, настолько великолепный, что свет солнца показался бы тьмой рядом с ним. Спросите, отчего никто об этом не знает? Потому что высший Бог, будучи праведным, желает посылать откровение только достойным. А те, кто ждет помощи и оракула от низшего Бога, видят лишь обман. Даже во снах им не открывается правда, ибо безбожный человек не видит истинного сна. Мне кажется невозможным, чтобы безбожный человек получал сны от Бога в каком-либо виде вообще. Но избранные, постигшие тайное знание, становятся ближе к главному Богу и тем выше всех прочих людей. Они облакаются правом не следовать человеческим обычаям и законам, если того требует поклонение верховному Богу. Их уделом должна стать любовь, это отражение Божества, которым следует делиться с ближними. Для них нет различия между римлянами и самаритянами, иудеями и сирийцами, и даже между мужчинами и женщинами. Перед высшим Существом все равны — и люди, и народы. А их призвание — открывать людям правду посредством любви. Вся земля отныне одинакова, и не важно, где муж сеет. Главное — чтобы сеял. — Симеон обратил взор на Тумелика. — Тебя, Тумелик, высший Бог выделил особо. Ты — первый из римлян





среди моих учеников. Но единственный ли, кто познал сокровенное? Вместе с книгой египетской магии мне в руки попали записки того римлянина, что гостил у Пилата. И о чудо! Там я нашел такие мысли, которые могут свидетельствовать, что и этому человеку открыта правда. Возьми их и почитай. И когда этот римлянин вернется в Кесарию, постарайся узнать у него, постиг ли он высшего Творца. А лучше приведи его ко мне. Прокула поможет тебе в этом. — Симеон перевел взгляд на Мессалама. — Пилат скоро отправится в Иерусалим. Это удобная возможность для меня встретиться с Прокулой. Хочу поведать ей то, что уже рассказал вам. Ты понял меня, надзиратель?

— Я понял тебя, учитель.

Пилат действительно через два дня отбыл в Иерусалим, как делал всегда во время Песаха. Но в этот раз он неожиданно прихватил с собой и Тумелика — мальчишке скоро предстояло надеть взрослую тогу, и названный отец хотел научить его, как поддерживать порядок в скопище возбужденных варваров. В те же дни в Иерусалиме оказался и Сенека.

## В Иерусалиме

В четвертом часу дня, надышавшись не в меру приторного фимиама, воскуряемого при жертве всеожжения, учитель Гамалиил покинул Храм и, окруженный воспитанниками, направился в Дом учености. Подростки, все как один с длинными косичками на висках, громко балагурили и шутиливо пихали друг друга плечами, внося свою лепту в невообразимый гам и суету на улицах.

Самый старший из учеников, тарсянин<sup>48</sup> Саул, поравнялся с учителем и сказал ему по-арамейски:

— Коль скоро многие так недовольны священниками, господин, почему бы не поручить изготовление фимиама тем, кто умеет это делать лучше?

— Кому же?

— Любому, кто владеет этим искусством.

Гамалиил недоверчиво покосился на парня.

— Предлагаешь допустить к таинствам нелевитов?<sup>49</sup>

— Если весь народ священен, как говорят фарисеи, то почему любой не может служить в Храме?

— Потому что Господь это запретил, — ответил учитель, удивленный невежеством собеседника.

— Господь определил левитам служить Ему, но не запретил другим делать это.

— Да ты ловкач! — добродушно засмеялся Гамалиил. — Не удивлюсь, если станешь членом совета.

Саул коротко обдумал эти слова и продолжил:

<sup>48</sup> Тарсянин — выходец из города Тарса.

<sup>49</sup> Левиты — священнослужители в древнем Израиле.

— Во Второзаконии сказано, что нужно собирать народ раз в семь лет для изучения Писания. Однако мы собираемся каждые семь дней. У патриархов было много жен, а нынче мы считаем это прелюбодеянием. Нам говорят, что избавление от плода — это детоубийство, но в Моисеевом законе ничего об этом нет. Утверждается, будто соитие без зачатия греховно, однако в законе нет и этого. Мы осуждаем истребление скота в чужой земле, предание этой земли огню, ограбление павших в битве воинов противника и сокрытие правды от друзей, но закон об этом молчит. А когда Александр Яннай во время праздника кущей пролил воду на землю, разве он преступил закон? Однако народ возмутился. — Саул глубоко вздохнул, как перед окунанием в воду, и закончил: — А разве не осуждали твоего деда, великого Гиллея, учитель, когда он придумал способ сохранять долги в субботний год?

— Что ж, возможно, придет время, когда и к таинствам допустят всех, а не только левитов.

Навстречу им по другой стороне улицы шел человек в гиматии и длинной полосатой накидке на голове, с медными коробочками, привязанными ко лбу и запястьям. Он двигался как слепой, прикрыв глаза и выставив вперед руки, то и дело натываясь на какое-нибудь препятствие. Горожане нехотя уступали ему дорогу, а крестьяне, во множестве понаехавшие в Иерусалим на праздник, посмеивались и отпускали ехидные замечания.

— Или вот, — сказал Саул, показав на него. — Этот фарисей боится соблазниться женщинами, но мы-то не отворачиваем от них взор.

— Ибо крепки духом и не соблазняемся, — улыбнулся Гамалиил.

Саул криво усмехнулся. Не такого ответа он ждал от знаменитого Гамалиила, чья мудрость гремела от Палестины до Испании.

Возле Дома учености их прервали. К учителю робко приблизился невысокий кудрявый крепыш в выдавшей виды тунике и низким голосом осведомился, может ли он спросить его совета по одному важному делу.

— Сейчас у меня занятия. Разве что к двенадцатому часу, — ответил книжник.

— Я подожду, господин, — сказал крепыш. — Меня зовут Иуда.

— В Иудее носить имя Иуда — все равно что не носить никакого, — ухмыльнулся Гамалиил. — Ты можешь посидеть на занятии, если желаешь.

— О господин, я и не мечтал о такой чести! — воскликнул проситель.

Раздача советов давно превратилась для Гамалиила в такую же рутину, как занятия с учениками. Если бы он брал за это деньги, то был бы богат как Крез. А если бы ему еще платили за каждого ученика... Хорошо все же иметь медную мастерскую и доходный дом! Особенно в Иерусалиме, где тебя все уважают. В Галилее не так: за три года, что Гамалиил прожил там, к нему никто и не подумал обратиться за разъяснением закона. Грязекопатели, что с них взять! Народ земли...

Учителем Гамалиил был удивительным. Вместо того чтобы уныло цитировать Тору, а потом нудно разъяснять значение каждого слова, он



обращался к ученикам: как они понимают сказанное? От этого на его уроках стоял галдеж, но и любили его как никого другого.

Сегодня перед дневной жертвой обсуждали заповедь из Левита: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего как самого себя». Гамалиил спрашивал, как при этом понимать предписание из той же главы возлюбить пришельцев в землю Израиля как самих себя — остается ли в таком случае разница между евреем и иноверцем в смысле отношения к ним? В итоге пришли к выводу, что под пришельцем, несомненно, следует понимать обрезанного язычника, принявшего веру Моисея.

Вернувшись из Храма, Гамалиил хотел зачитать стих о приношении первин<sup>50</sup> (вопрос животрепещущий, учитывая субботный год), однако разговор с Саулом заставил его поменять намерения. Он начал с того, что спросил учеников, как они понимают Моисееву веру? Допустим, если некто отрицает посмертное искупление грехов и не ждет Мессию, можно ли его считать иудеем? Ученики понимающе заулыбались, смекнув, что наставник имеет в виду саддукеев. А если, продолжал Гамалиил, некто отказывает в повиновении земным властям, признавая власть одного лишь Бога, иудей ли он? Этот намек тоже был ученикам ясен — Гамалиил толковал о кинжальщиках. А если кто-то еще, говорил далее учитель, соблюдает одни предписания закона и не соблюдает других (к примеру, не платит храмовый налог), остается ли он евреем? Тут уже ученики затруднились в понимании, и тогда Гамалиил уточнил: многие землекопы, особенно в Галилее, не ходят в синагогу, нарекают детей греческими именами, смешивают мясное с молочным, но блюдут субботу и делают взносы в Храм. Кем же их считать?

— Самаритянами! — шутливо бросил Саул, и остальные засмеялись.

— Самаритяне не собирают деньги на Храм, — возразил Гамалиил.

Это была правда. Разгорелся спор. Посыпались цитаты. Всплыл вопрос о вмешательстве Божиим в дела человеческие, заговорили о Торе и отеческом предании, о кознях бесов и свободе воли. Вспомнили о воскресении мертвых и обсудили, каков будет мир после Страшного суда.

— А чьей женой станет вдова после воцарения Божьего — мужа или его братьев? — подкинул Гамалиил полешек в костер, имея в виду закон, велевший заботиться о вдовах.

— Тогда не будет ни мужей, ни жен, а люди станут подобны ангелам, — подал голос Иуда, сидевший позади всех.

Ученики изумленно оглянулись. Даже наставник остолбенел, услышав такой довод. Иуда же покраснел и пробормотал:

— Прошу простить меня, господин.

— Нет-нет, очень любопытное рассуждение, — подбодрил его Гамалиил. — Вполне согласное с воззрениями ученейших мужей. Ибо мир после пришествия Мессии станет настолько иным, что не в наших силах

<sup>50</sup> Первины — первые плоды урожая; также обряд посвящения их Богу.

его постичь и описать. Люди как ангелы — весьма необычный взгляд, да. Почему бы и нет?

Когда урок закончился, ученики, гомоня, повалили к выходу, а Иуда почтительнейше приблизился к Гамалиилу.

— Благодарю тебя, господин, что позволил присутствовать сегодня на твоём уроке. Это была великая честь, о которой я буду помнить до последних дней. Теперь я и сам многое передумал.

— Надеюсь, ты не передумал задавать мне свой вопрос, — добродушно откликнулся наставник, убирая лежавший перед ним свиток в деревянный ларец, окрашенный лазурью. — Если он не касается оскорбления величия, мы можем обсудить его по пути домой.

Иуда озадаченно посмотрел на него, и Гамалиил согнал улыбку с лица.

— У тебя же не государственное дело, верно?

— Вот уж не знаю, — помедлив, ответил тот.

Гамалиил вскинул брови.

— Ну что ж, тогда давай останемся здесь.

Он поставил ларец в нишу под шестиконечной золотой звездой и задернул багровую шелковую завесу.

— Пойдем к воде, — сказал Гамалиил. — Там посвежее и нас не беспокоят.

Они вышли во внутренний дворик и уселись на мраморный край бассейна для омовений, в тени от западной стены. Здесь и правда было чуть прохладнее, а шум с улицы позволял надеяться, что их не подслушают.

— О чем же ты хотел спросить меня, Иуда?

— Господин, я хотел узнать, достойно ли обвинить того, в кого раньше верил и в ком потом разочаровался?

— Если он совершил преступление, это, без сомнения, будет достойным поступком.

— А если преступления еще нет, но оно может совершиться, приведя ко многим бедам?

Гамалиил подумал.

— Ты опасаясь, что кто-то может вызвать волнения в праздник, как бывало в прошлом? Или тревожишься, что кому-то могут причинить вред? Если первое, тебе следует уведомить первосвященника. Если второе — обратиться к надзирателю за преступниками. Но ты, очевидно, имеешь в виду что-то другое, ибо в ином случае не пришел бы ко мне за советом.

— Да, господин, — хрипло ответил Иуда. — Я говорю о богохульстве. Мне казалось, будто я понимаю, что это такое. Но теперь, посидев на твоём уроке, уже не уверен в этом. Мне было невдомек, что книжники так по-разному толкуют дела веры, и теперь я сомневаюсь, не зря ли явился сюда.

— Дела о богохульстве рассматривает малый совет. Но ты сказал, что преступление еще не совершено. Объясни.

Иуда понурился.





— Может быть, совершенно, а может быть, и нет. Я не знаю. Я пришел в Иерусалим с назаретянином Иисусом, который проповедовал в Галилее учение Иоанна. Он излечил многих одержимых, к нему стекался народ, и я уверовал, что он — великий целитель и праведник. Но сейчас мне кажется, это был обман.

— Покойный Иоанн сбил с толку многих. Теперь по земле Израиля бродит много его приверженцев, которые смущают умы. Что до меня, я никогда не считал Иоанна посланцем Божиим. Вдохновенно вещать — не значит быть пророком. Того же мнения держусь и о его последователях. Поэтому твои сомнения законны. Однако что там с богохульством?

Иуде явно не понравились его слова об Иоанне, но возражать он не стал. Подумав, он заговорил быстро-быстро, словно боялся утратить нить:

— Иисус твердит странные вещи, господин, а ведет себя и того страннее. Иоанн призывал к чистоте, а этот, гордясь знакомством с пророком, водится с подонками и пирует на свадьбах. Видел бы ты, что за люди его окружают — сборщики налогов, шляхи... О двоих идет молва, будто они убийцы. Он называет себя сыном человеческим, а Бога — отцом. Я никогда не слышал таких слов и потому в смятении. Он сам словно обуянный бесами! Он оскорбляет фарисеев и хочет разрушить семьи. Он не женат, хотя ему уже за тридцать. Про детей его мне тоже ничего не известно. — Он закрыл лицо ладонями. — Родные предупреждали меня, чтобы я не связывался с галилеянами, но я не послушал. Я был словно во сне. Этот Иисус так складно говорит, хоть и не обучен грамоте. На все у него есть ответ. Он называл нас избранными и предрекал нам власть над коленами Израилевыми. Он говорил, что мы и есть Царство Божие. А теперь мне кажется, он — сатана или другой злобный дух, явившийся искушать нас. Вчера за трапезой он объявил нам, что хлеб — это его плоть, а вино — кровь: через них он дает нам жизнь. Что это, как не одержимость, господин? Трое учеников отошли от него. А я... я направился к тебе.

— Экое изуверство, — покачал головой учитель. — Галилеянин, одно слово... Твой рассказ свидетельствует о нем как о хитреце или о безумце. Но богохульство ли это? Не знаю. Мне надо потолковать с ним. Где вы остановились?

— В Вифании, господин. На склоне Масличной горы. Но Песах будем встречать в доме саламинки<sup>51</sup> Марии, сестры левита Иосии, в Нижнем городе.

Гамалиил покивал, размышляя.

— Если тебя одолели сомнения, уйди от него, — сказал он Иуде. — Большого я не могу посоветовать, пока не услышу его.

— Я бы уже ушел, господин, но мне доверены деньги тех, кто следует за ним. А значит, чтобы уйти, я должен объявить об этом и передать

<sup>51</sup> Саламинка — уроженка города Саламин на Кипре.



деньги другому. Но если я это сделаю, боюсь, он проклянет меня или околдует словами.

Гамалиил положил ему руку на плечо.

— В таком случае ты не сделаешь худого, если обратишься к первосвященнику. Тебе нечего бояться. Совет рассмотрит дело назаретянина и вынесет справедливый приговор. Я тоже расскажу достопочтенному Иосифу об этом Иисусе.

— О, благодарю тебя, господин. Я так и поступлю! — воскликнул Иуда.

Он вскочил и, поклонившись, был таков.

Начало темнеть. Гамалиил поднялся и пошел к выходу, недовольный собой. Он чувствовал, что мог бы сделать еще что-то для этого человека, но что? Ничего ему не приходило в голову. К тому же, он устал.

\*\*\*

По прибытии в Иерусалим Пилат первым делом вызвал в царский дворец, где всегда останавливались наместники, Анну бен Сефа, бывшего первосвященника, самого влиятельного человека в городе. Когда тот явился, Пилат сообщил ему, что задумал осчастливить горожан акведуком, для чего ему нужны деньги. Взять их было неоткуда, кроме храмовой казны. Анне оставалось принять это к сведению и отсчитать требуемую сумму.

Между ними уже давно установилось душевное согласие: Пилат делал что хотел, пока не задевал еврейских обычаев, а Анна правил городом, в случае нужды обращаясь к наместнику за помощью. Сила римского оружия была достаточным доводом, чтобы смирить всех неприятелей Анны. Благодаря такому взаимопониманию семья Анны уже двадцать четыре года держала в руках бразды правления в Иерусалиме, из них четыре — при Пилате.

Разумеется, нравилось это не всем. Точнее, это никому не нравилось, кроме семьи Анны и левитов, кормившихся с ее ладоней. Во-первых, недовольны были другие знатные семьи, тоже имевшие виды на первосвященнический сан. Во-вторых, шумели фарисеи, возмнившие себя учителями народа и не боявшиеся спорить с самим Каиафой. Для них мало было Торы, они блюли неписанный закон и в запальчивости готовы были идти на костер или под топор палача. Темный люд уважал их, потому что эти демагоги морочили ему голову рассказами о грядущем Царствии Божием, в котором все будут равны и счастливы. Анна и его собратья-саддукеи твердо знали, что книга Даниила, с которой носились эти несчастные, — не более чем бредни воспаленного ума, и надежды на воскресение мертвых нет. Но зловерное учение, к негодованию достойных, захватывало всё новые души и грозило потрясениями. Поэтому с фарисеями надо было держать ухо востро. В-третьих, строили козни сыновья Ирода, владевшие Галилеей, Переей и Итуреей. Полуарабы-полусамаритяне, принявшие иудаизм лишь на словах, они вели жизнь греческих царьков и были





не прочь восстановить державу отца. От старшего из них, Архелая, удалось избавиться под предлогом его неопишуемой жестокости (как будто Ирод не был жесток!), но двое других оставались на своих местах, и хоть носили титулы тетрархов, были не прочь повысить свой статус, вернув себе Иерусалим и всю Иудею. А еще мучили воду кинжальщики, резавшие неугодных, о чем-то шептались ессеи, собиравшиеся на таинственные обряды, бродили по стране пророки, звавшие народ в пустыню, а самаритяне, хананеяне, ионийцы и ашкелонцы вообще мечтали перебить всех евреев — как тут без твердой римской руки? Неудивительно, что Анна с родичами лебезили перед наместниками: только те могли защитить их от завистников и злодеев. Но с римлянами тоже было непросто. Цезарь требовал налогов, и мытари драли три шкуры, не глядя на обстоятельства. Страну поразила засуха? Плевать. Арабы угнали половину скота? Тем хуже для владельцев стад. А когда наступал субботний год, становилось совсем невмоготу. Поля оставались неубранными, и сразу оскудевал поток приношений в Храм — налоги-то никто не отменял, и евреи спешили накормить римского льва, справедливо полагая, что Господь один годик может и потерпеть. Анна нашел выход: в субботний год забирал в пользу Храма всю причитающуюся левитам десятину. До поры те лишь роптали, но в этот раз после праздника кущей<sup>52</sup> вдруг отказались служить в Храме, требуя увеличить выплаты. Видно, настали последние дни, если даже избранные среди народа презрели Божью волю. Анна, однако, не растерялся и пригласил левитов из Египта. Все бы хорошо, но гости оказались неважной заменой: скверно готовили фимиам и посредственно пели. И вот, как назло, Пилату взбрело в голову строить акведук за счет храмовой казны. Как не прийти в отчаяние?

Едва не раздирая на себе одежды, Анна взялся было плакаться на бедность и темный люд, который не оценит такого счастья, но Пилату достаточно было недоуменно поднять бровь, и правитель Иерусалима скис. Тумелик, присутствовавший при разговоре, не сумел сдержать презрения (Симеон Гиттонец никогда бы не позволил так относиться к себе!). Анна заметил выражение лица мальчишки и едва сдержался, чтобы не пристыдить того. За что карал его Господь таким унижением? За то ли, что двадцать четыре года он защищал народ Израиля от алчности Иродианов, мести язычников и собственного неразумия? За то ли, что держал в узде фарисеев и кинжальщиков? И как теперь быть? Если люди узнают, что римляне возводят акведук за счет храмовых денег, начнется такое, в сравнении с чем бунт Иуды Галилеянина покажется мелкой стычкой.

Удрученный, вельможа вернулся домой, но не успел прийти в себя, как к нему нагрянула нежданная гостя — Иоанна, супруга беглого управителя имений Антипы. Он хорошо знал ее — женщина славилась своим благочестием (поистине ослепительный светоч в гнезде разврата, каким

<sup>52</sup> Праздник кущей (шалашей), он же праздник собирания плодов, — один из важнейших иудейских праздников.



был двор тетрарха), а еще дружила с царицей Еленой, адиабенской<sup>53</sup> праведницей, переселившейся с берегов Тигра в Иерусалим. Среди постигших Анну невзгод такие люди служили ему утешением. Но сейчас сама Иоанна нуждалась в помощи: тетрарх норовил отнять земли, принадлежавшие ее мужу, и женщина просила защиты первосвященника. При других обстоятельствах Анна порадовался бы возможности поставить на место сына Ирода, который жил в кровосмесительном браке с женой своего брата и в ус не дул на возмущение народа, но сейчас ему было не до Антипы. Впрочем, выслушав Иоанну, он горячо посочувствовал ей и обещал поговорить с зятем. Разговор их был недолог, Иоанна покинула его дом в полной уверенности, что теперь-то ее никто не тронет. С тем она и направилась к Пилату, чтобы получить такие же заверения от него.

Тем временем к Пилату прибыли Сенека с Капитоном, уже сутки дожидавшиеся его в городе. Наместник был крайне удивлен, встретив египетского гостя в Иерусалиме, и скорбно сообщил, что поиск грабителей пока ничего не дал. Сенеку это почему-то не слишком огорчило. Он пребывал в странном возбуждении, увлеченно рассказывал о Тибериаде и с не меньшим восхищением говорил об Иерусалиме, который поразил его наличием цирка и театра — этих знаков высокой культуры, которую Рим прививает варварам. Пилату было мало дела до его восторгов. Куда больше его волновало, сколько он получит от сделки, задуманной Капитоном (в том, что Капитон уже заплатил Сенеке, наместник не сомневался).

Пока они обсуждали подробности, Тумелик в саду играл с воинами в кости. У кого выпадала «собака», тот ставил по денарию на кон, а у кого — «Венера», забирал деньги. Войдя в азарт, Тумелик не сразу заметил раба Сенеки, дожидавшегося хозяина в тени крытой колоннады. Удивленный встречей, он оставил игру, приблизился к невольнику и спросил его, не слуга ли он племянника египетского префекта? Тот кивнул, и сердце Тумелика заколотилось. Вот это да! Человек, с которым ему поручил встретиться Симеон, здесь, в Иерусалиме. Не бывает таких совпадений. Сам Бог послал его сюда. Тот Высший Бог, о котором говорил Гиттонец.

Тумелик расспросил раба: надолго ли приехал его хозяин? Где остановился? Один ли он прибыл? Тот отвечал неохотно, но, когда увидел монету, сверкнувшую в пальцах мальчишки, оживился и рассказал, что приехали вчера утром, поселились в большом доме знатного иудея по имени Иосиф рядом с каким-то дворцом и завтра собираются идти осматривать Храм. Отдав рабу монету, Тумелик вернулся к игре и уже в следующем коне взял десять денариев. Какой замечательный день!

Когда Сенека, наконец, вышел от Пилата, Тумелик рванул было за ним, но увидел Капитона и остановился в нерешительности. Этого еще не хватало! Что он тут делает?

<sup>53</sup> *Адиабена* — царство в Северной Месопотамии. Адиабенская царица Елена приняла иудаизм и переселилась в Иерусалим.



Мысли пронеслись в голове как стрелы. Раб говорил, что они поселились возле дворца. Дворца Хасмонеев? Один Геркулес ведаёт, что этот невежда мог принять за дворец. Может, поговорить с гостем прямо сейчас? А как же Капитон?

Отбросив сомнения, Тумелик кинулся вслед за египетским гостем.

— Рад видеть тебя здесь, господин, — крикнул он ему в спину полатыни.

Сенека и Капитон обернулись. На лицах обоих изобразилось недоумение.

— Я — Тумелик, господин, — сказал мальчишка Сенеке, приближаясь. — Ты видел меня в Кесарии.

— Да-да, сын Арминия. Я помню, — улыбнулся Сенека. Капитон тоже кивнул Тумелику, которого хорошо знал.

— Ты впервые в Иерусалиме, господин? Могу я быть чем-нибудь тебе полезен?

— Полезен? — удивился Сенека. — Даже не знаю...

— Если тебе что-то понадобится в этом городе, ты можешь сказать мне, а я передам наместнику. Если желаешь, я могу даже провести тебя в Храм. Там не привечают чужаков, но со мной ты будешь в безопасности.

— Прекрасно! — обрадовался Капитон. — Сами боги послали тебя к нам. Наш гость как раз хотел сходить завтра в Храм.

— В самом деле, — согласился Сенека. — Ну что же, я буду рад твоей компании, Тумелик.

Из разговора выяснилось, что они остановились у аримафейского старейшины Иосифа, с которым Капитон вел какие-то дела. Дом действительно находился возле дворца Хасмонеев, с южной стороны. Тумелик пообещал зайти за Сенекой в начале второй стражи, когда иудеи приносят утреннюю жертву. «Но идти придется пешком, господин, — предупредил он. — Лектики<sup>54</sup> здесь не используют». «Превосходно! — обрадовался гость. — Мне полезно двигаться».

К Пилату тем временем заявила Иоанна. Наместник не хотел ее принимать, но, поколебавшись, решил все же разобраться с неприятным делом сейчас, не откладывая его на завтра. Ему пришлось спуститься во двор, так как благочестивая иудейка побрезговала вступить под своды жилища идумеянина<sup>55</sup>, обagrившего свои руки еврейской кровью. Там Пилат и сообщил ей тяжкую весть об отмене дарственной и о передаче земель Хузы в римскую казну. Иоанна подняла крик. Вот уж от кого она не ожидала подвоха, так это от Капитона, с которым Хуза никогда не ссорился. Плача, Иоанна перечислила все обиды, причиненные ей Антипой, напомнила о заслугах Хузы перед Римом и заклала Пилата одуматься. Но тот остался безучастен — он уже получил свою долю от сделки, и упрашивать его было бесполезно. Впав в иступление, Иоанна заявила, что наместник своим поступком оскорбил не только ее, но и семью первосвященника.

<sup>54</sup> Лектика — носилки с занавесями, паланкин.

<sup>55</sup> Идумеи — семитский этнос, из которого происходил Ирод Великий.

Это был весомый аргумент, и он на какой-то миг озадачил Пилата, но наместник быстро нашелся, сказав, что собственность цезаря Каиафы не касается. Женщина, стена, попробовала разжалобить его, но куда там! Тогда она пригрозила дойти до самого цезаря, но и это не смутило Пилата, который велел ей убраться.

Первой мыслью Иоанны после этого разговора было броситься к Капитону, но солнце уже садилось, и она вернулась во дворец адиабенской царицы, где всегда останавливалась в Иерусалиме, а оттуда отправила укоризненное письмо прокуратору. Пилат же пошел ужинать. По закону он был прав, а варварские обычаи его не заботили. Но на всякий случай, едва закончив трапезу, он отправил послание Анне, предостерегая его от вмешательства в имущественные дела Тиберия.

\*\*\*

Сенека быстро пожалел, что решил осмотреть святилище во время жертвоприношения. Тумелик еще не успел довести гостя до ступеней, ведущих к базилике на Храмовой горе, а у Сенеки уже гудела голова от жары, человеческого гомона и испражнений согнанной скотины. Вдобавок Тумелик сообщил ему, что внутрь Храма их все равно не пустят. Раздосадованный Сенека хотел было повернуть назад, но упрямство взяло верх.

Тумелика тоже одолевали сомнения. Он все подбирал момент, чтобы начать важный разговор, ради которого напросился сопровождать гостя, но никак не мог решиться. Раз за разом прокручивал он в голове первые слова, даже открывал рот, но тут же и закрывал, ужасно злясь на себя.

Изрядно помятые и уставшие, они наконец поднялись к базилике, битком набитой менялами и голубятниками, и начали прокладывать себе путь в просторный двор перед Храмом, тоже заполненный народом.

— Что тут происходит? — спросил ошарашенный Сенека, показав на менял.

— Дают тирские драхмы за динарии, — отдуваясь, объяснил Тумелик. — Евреи боятся изображений людей, поэтому не пользуются в храме римскими монетами.

— Поразительное суеверие, — покачал головой Сенека.

Двор был перекрыт стеной, так что видна была лишь верхняя часть Храма, откуда слышалось хоровое пение. Размерами еврейское святилище, пожалуй, не уступало святилищу Юпитера Капитолийского, но из отделки на нем красовались лишь золотые листы — ни единой статуи, ни одного барельефа, разве что над входом сиял позолоченный орел.

— Спартанская простота! — с восхищением заметил Сенека, вытирая пот со лба.

На них косились и брезгливо отодвигались — короткостриженный мальчишка и римлянин в широкополой шляпе выделялись в толпе длинноволосых евреев в маленьких шапочках на макушке. Те не обращали





на варваров внимания: Сенека был поглощен созерцанием Храма, а Тумелик пребывал в собственных мыслях. О боги, как же начать разговор?

— Господин, — выдохнул он, решаясь. — Ты знаешь самаритянина Симеона из Гитты? Он великий мудрец.

— Нет, этот человек мне не знаком, — рассеянно ответил Сенека.

— Он... он просил меня поговорить с тобой. Он думает, что тебе известно тайное знание.

— Он прав, — усмехнулся Сенека, с прищуром разглядывая орла. — Могли бы хоть здесь поставить статую Тиберия, — заметил он.

— Господин, я возвращаю тебе твои записи, — продолжил Тумелик, вытаскивая из-за пазухи свиток.

Сенека непонимающе уставился на папирус в руке мальчишки и нахмурился, соображая. Поднял взгляд на парня, желая что-то сказать, но тут где-то позади них раздались крики, послышался грохот и треск, а затем над толпой, громко хлопая крыльями, взметнулись голуби. Люди начали оборачиваться, Тумелик тоже завертел головой, пытаясь понять, что происходит. Прямо на него из скопища тел вывалился всклокоченный еврей в разорванной тунике и пронесся рядом, выбив свиток из рук. Вслед за ним, расталкивая народ, пробежали несколько человек с плетками и короткими деревянными жезлами.

— Ай! — завопил Тумелик, шаря взглядом в поисках оброненного папируса.

Вот он, под копытами овцы! Мальчишка метнулся за ним, но его оттолкнули, а хозяин овцы что-то гневно заорал ему в лицо. Вокруг нарастала суматоха, с ревом металось перепуганное животное, люди пытались его поймать, а где-то за их спинами стражники лупили направо и налево плетками и дубинками. Свиток совсем пропал из виду, затоптанный ногами и копытами, и Тумелик, чуть не плача, крикнул Сенеке:

— Его нет!

— Папируса?

— Да! Как же мне теперь быть?

Сенека развел руками, тревожно озираясь.

— Что там было?

Тумелик не успел ответить. Иудеи, поймав овцу, о чем-то загомонили, показывая на римлян. Тумелик разобрал слово «арам» — так евреи называли чужаков. Он понял: местные из-за чего-то обозлились на них. Опыт общения с варварами подсказывал, что лучше убраться поскорее. Тумелик сказал об этом своему спутнику, и они устремились обратно к базилике.

Торопливо спускаясь по ступенькам с Храмовой горы, Сенека упорно ругал всех евреев, Иерусалим, Палестину, варваров в целом и даже Пилата — за то, что тот не умеет с ними обращаться. Ругал, впрочем, на латыни, справедливо полагая, что вряд ли кто-нибудь здесь понимает речь завоевателей. Тумелик молчал, переживая потерю свитка. Но когда гость прошелся по качествам его названного отца, не выдержал:

— Считаешь, господин, что Пилат — негодный наместник?

— Не может быть двух мнений. Человек, не способный очистить от разбойников даже окрестности своей столицы, недостоин занимать эту должность. Он даже в Кесарии не чувствует себя хозяином: я слышал, в еврейском районе нет ни одной статуи Тиберия и Сеяна. Не позор ли это?

— Но цезарь сам велел ему уважать обычаи иудеев. Пилат не раз говорил, что связан этим приказом.

— Вот как? Значит, это Тиберий у него виноват, что налетчики бесчинствуют под стенами города, а римские граждане не могут войти в Храм? Может, Тиберий виноват и в произошедшем сегодня? Меня, племянника египетского префекта, за несколько дней дважды чуть не растерзали в этой забытой богами стране. Хорошо же Пилат следит за порядком!

Сенека распался все больше, и Тумелик умолк, не зная, что ответить. Долг домочадца требовал от него встать на защиту главы семьи, но напор разгневанного римлянина совершенно спутал его мысли. Может, Сенека прав и Пилат в самом деле не умеет управляться с евреями? Впрочем, какая разница! Главное сейчас — вернуться к разговору о тайном знании. Авось еще удастся выполнить обещание, данное учителю праведности!

Но Сенека пребывал в такой ярости, что нечего было и пытаться остановить поток его проклятий. Так и не сумев успокоить его, мальчишка довел гостя до дома Иосифа и попрощался, все еще лелея надежду вернуться к прерванному разговору завтра. Но на следующий день Сенека в сопровождении Геренния Капитона убыл в Явне.

\*\*\*

После того как дым от жертвы всесожжения, смешавшись со скверным фимиамом, рассеялся в небесах, а священники унесли спекшиеся останки ягненка, Анна поднялся на балкон Женского двора и пригласил туда Иоанну и Антипу (тот днем раньше прибыл в Иерусалим). Тетрарх нехотя подчинился, заранее зная, что ничего хорошего от тестя первосвященника не услышит.

— Эта достойная женщина пожаловалась мне на тебя, тетрарх, — сказал Анна по-арамейски, встав у ограды и наблюдая сверху за пустеющим двором. — Ты хочешь лишить ее земли, пользуясь отсутствием мужа. Если ты сделаешь так, весь Иерусалим станет тебе врагом.

— Я не нарушаю закон — забираю то, что дал Хузе, когда он приехал служить мне, — угрюмо возразил Антипа.

— Он передал все мне, когда покидал тебя, — возразила Иоанна.

— У римлян такое запрещено, — ответил Антипа.

— Мы не римские граждане, а твои подданные.

— Раз подданные, значит, должны меня слушаться.





— К счастью, есть суд повыше тебя, тростник, ветром колеблемый! — выкрикнула Иоанна, теряя самообладание.

Антипа побагровел. Никто не смел бросать ему в лицо это прозвище, под которым его знала вся Палестина. Он уже сто раз пожалел, что решил чеканить на монетах тростник, — лучше бы поместил там платан или другое прочное дерево, не сгибающееся от порыва ветра.

— Я тебя по миру пушу, одержимая! — огрызнулся он в ответ.

— Кровосмеситель, убийца, вор! — захлебывалась женщина.

— Обманщица и жена обманщика!

— Прекратите! — рявкнул Анна. — Забыли, где находитесь? Великий Гиллель говорил: «То, что ненавистно тебе, не делай другому». Ты же, Антипа, источаешь душевный смрад и живешь в скверне: возвел дом на могилах, отнял жену у брата, бессудно убил святого человека. Мне давно следовало закрыть для тебя двери Храма.

— Этот святой человек и тебе стоял поперек горла, — ухмыльнулся Антипа. — А если перестанешь пускать меня в Храм, не видать тебе ни моих денег, ни моих урожаев.

— Угрожаешь мне, первосвященнику? — вспыхнул Анна.

— Ты стал первосвященником благодаря римлянам. Тебя не любят так же, как меня.

Анна с ненавистью посмотрел на тетрарха. Никому, кроме наместника, не позволено было так говорить с бывшим первосвященником и главным человеком в Иерусалиме.

— Может, и так, — процедил он. — Но я все же в дружбе с Пилатом, а ты — нет. Забыл, какая судьба постигла Архелая?<sup>56</sup>

— Теперь уже ты угрожаешь мне, почтенный Анна?

— Знай же, тетрарх, что, если ты продолжишь утеснять эту благородную женщину, я буду всячески вредить тебе в глазах народа и наместника. А еще стану молить Бога о твоём падении.

Антипа посмотрел на Анну и усмехнулся.

— Что ж, поступай как знаешь. У тебя самого бунтуют левиты. Что будешь делать, когда останешься без моих денег, Анна?

— Как ты смеешь так говорить с великим Анной? — возмутилась жена Хузы.

Антипа перевел на нее взгляд.

— Я слышал, ты явилась сюда в сопровождении бродячего целителя. Хорошее знакомство для благородной женщины! Зачем тебе земли и доходы, если ты ходишь с нищими и ночуешь под голым небом? Отдай их тому, кто ведет себя сообразно положению.

— Моему племяннику? — фыркнула Иоанна. — Тебе не хуже моего известно, что по закону все переходит дочери, а не внуку.

— Так считают саддукеи, — возразил Антипа. — У фарисеев и набатеев другое мнение. А мы, Иродиады, почти набатеи.

<sup>56</sup> Архелай — старший брат Ирода Антипы, этнарх, был смещен с поста и отправлен в ссылку.



— То ты говоришь про римский закон, то про набатеев, — подловил его Анна. — Вот уж точно, тростник, ветром колеблемый. Но я-то — саддукей и следую писаному закону.

— Что ж, тогда тебе предстоит нелегкая схватка с фарисеями в совете.

— Думаешь, они станут вступаться за тебя, Антипа?

— Они станут вступаться за свое понимание справедливости. Их хлебом не корми, дай порассуждать о законе. — Он пристально посмотрел на Иоанну. — Завещаний и дарственных в обход обычая они тоже не приемлют.

Намек был понятен: Иоанна получила половину недвижимого имущества по завещанию отца, а другую половину — в дар от мужа. И то и другое выглядело сомнительным в глазах обычая и римского закона. Антипа хотел сыграть на этом. Хоть он и был неподсуден иерусалимскому совету, все же опасался его мнения — тот запросто мог закрыть ему дорогу не только в Храм, но и в саму иудейскую столицу. А потому тетрарх собирался давить на фарисейское чувство правды, пользуясь неприязнью народа к саддукеям, которые чтили древнее право, отдававшее предпочтение дочери перед внуками. Это было опасно. Пусть люди не любили тетрарха как наследника Ирода, спорить с фарисейским взглядом на вещи они вряд ли станут. Это был вызов, и Анна принял его.

— Что ж, — веско промолвил он. — Увидим, переломит ли твое начетничество всеобщую ненависть к тебе.

Антипа повернулся было, чтобы уйти, но тут на балкон торопливо поднялся Гамалиил.

— Господин, — сказал он Анне, — кто-то напал на меня и торговцев. Кажется, это был назаретянин Иисус, о котором я говорил тебе.

Иоанна вскрикнула, прикрыв рот, а тетрарх посмотрел на бывшего первосвященника и рассмеялся.

— Теперь-то посмотрим, что скажет совет.

\*\*\*

Гамалиил всегда приводил учеников для молитвы во Двор язычников, занимая место у притвора Соломона, чтобы после окончания обряда быстро вернуться в Дом учения. Обстановка в притворе, конечно, не располагала к мыслям о высоком — там было полно менял, голубятников и торговцев жертвенной скотиной, — но выбирать не приходилось. Если идти во внешний двор, пришлось бы возвращаться в город вместе с потоком молящихся и терять уйму времени.

Как выяснилось, менялы и торговцы досаждали не только Гамалиилу. Стоило ему с учениками подняться по южным ступеням, как в глубине колоннады раздавался грохот, и кто-то грянул по-арамейски с ужасным северным акцентом:

— Хде ж здесь дом молитвы? Вижу только пхритон. Узрите, как рухнет все и не останется тут камня на камне!



Произошло замешательство, кто-то заорал:

— Что ты делаешь, несчастный!

В просвете между неторопливо идущими людьми Гамалиил заметил длинноволосого молодого человека, который в остервенении опрокидывал деревянные столы. Звенели сыпавшиеся с них монеты.

— Стражу! Зовите стражу! — послышался чей-то испуганный возглас.

Человека попытались остановить, но он будто обезумел.

— Не Храм, а вехртеп! — кричал он, круша столы. — Не слуги Божьи, а разбойники!

Какая-то женщина, наблюдавшая за погромом, стянула платок с головы и, захохотав, воскликнула: «Хвала тебе, Господи!» Кажется, она была рада происходящему. Кто-то упал, другой споткнулся о него и тоже упал. Несколько человек, расталкивая встречных, побежали вниз по лестнице. Одержимец тем временем продолжал носиться меж колонн и опрокидывать столы. Гамалиил остановился, не веря своим глазам. Неужто самаритяне нагрянули? Или какие-то сектанты? Но тут он заметил в толпе Иуду и все понял. Вчерашний собеседник его стоял, не шевелясь, и взирал на происходящее с ужасом и недоверием. Похоже, даже он не ожидал такого. Гамалиил огляделся: ученики сбились вокруг него, растерянные и перепуганные. И только вспыльчивый Саул рванулся вперед, спеша наказать осквернителя святого места. В этот миг появились левиты с плетками, и виновник произошедшего исчез, словно его и не было. Вместе с ним растворились и его сподвижники. Стражники же принялись охаживать плетками и дубинками всех подряд, внося еще больший хаос. Гамалиил громко призвал всех успокоиться, но его голос утонул в общем гаме. Наконец волнение понемногу улеглось, торговцы принялись поднимать перевернутые столы и торопливо собирать разбросанные монеты.

Вернувшийся Саул показал ему какой-то помятый свиток.

— Погляди, учитель, что я нашел.

Гамалиил вздохнул.

— Беда тебе, народ иудейский, от твоих пророков. — Он взял папирус у Саула и спросил, не разворачивая: — Что это?

— Кто-то обронил в суматохе, — ответил Саул. — Я успел поднять, пока не затоптали.

Они вышли во двор.

— Учитель, это был одержимец? — дрожащим голосом спросил один из учеников.

— Это был проходимец, — буркнул Гамалиил. — Искатель дешевой славы. Если он чем и одержим, то лишь жаждой известности.

Они остановились возле портика, не углубляясь во двор, и Гамалиил развернул папирус. Это были какие-то греческие нравоучения, набросанные столь небрежно, будто владелец писал их, сидя в седле или в трясущейся повозке: «Хочешь жить для себя — живи для других», «Лишь бедный свободен духом», «Живи сегодняшним днем, не откладывая жизнь на завтра», «О твоих благодеяниях пусть говорят другие», «Алчный

всегда нищ, даже если богат», «Готовность к смерти делает свободным», «В любом закоулке можно найти лестницу в небо», «Счастлив тот, кто не гонится за счастьем» и прочее в таком духе. Смаживало на мудрствования каких-то философов, совсем необязательно эллинов — в Храм приходили и паломники из рассеяния<sup>57</sup>, не знавшие ни арамейского, ни иврита.

— Похоже на писания терапевтов<sup>58</sup>, — равнодушно сказал Гамалиил, возвращая папирус Саулу.

— Не думаешь, господин, что это могло принадлежать тому одержимцу?

— Вряд ли этот дикарь умеет читать и писать. Судя по егоговору, он из Галилеи, простой землекоп. Вот что, Саул, после обряда сбегай к первосвященнику, спроси, не заходил ли к нему некий Иуда с рассказом про назаретянина Иисуса. Ты видел этого Иуду на занятии. Помнишь? Если не заходил, то иди в Нижний город, разыщи там дом саламинки Марии, сестры левита Иосии, и спроси про Иуду у них. Ясно?

— Да, господин.

— Если он там, спроси его, готов ли он быть свидетелем на расспросе лжепророка. Запомнил?

— Да, господин.

— Если не найдешь дом, не печалься. Думаю, этот Иисус и так скоро уберется отсюда подобру-поздорову.

Но сам Гамалиил не был в этом уверен. Больше всего на свете он боялся оказаться во власти необузданной народной стихии, которая причинила столько горя при Архелае. Бесцеремонность римлян, корыстолюбие саддукеев, вездесущность порочных эллинских нравов — все можно было стерпеть, только бы не повторились времена Архелая. В глубине души он даже одобрял казнь Иоанна, хоть и признавал, что тот погиб безвинно. Но Иоанн мог вызвать волнения, а это было куда хуже. Лишь бы не как при Архелае — это присловье повторял не только Гамалиил, но и весь Иерусалим, да и вся Иудея. Недалекие крикуны, вроде того же Иоанна или кинжальщиков, последователей недоброй памяти Иуды Галилеянина, не уставали попрекать Гамалиила и прочих фарисеев в лицемерии — дескать, они верны закону лишь на словах, а на деле только и умеют, что угождать римлянам и знати. Глупые фанатики. Невежество застит им взор. Как же они не понимают, что их ненависть бесплодна: везде сильный помыкает слабым, а свобода — лишь призрак. Истинная свобода недостижима без Царствия Божьего на земле, а оно придет только вместе с Мессией. Пока же надо принимать жизнь такой, какая она есть, и не увлекаться несбыточными мечтами. Если дать волю этим грезам, то уже завтра Палестину зальет кровью новый Помпей, чтобы впрячь в ярмо очередного деспота. К счастью, за кинжальщиками и демагогами шло меньшинство, всякая рвань и дрянь, не нашедшая себя в жизни. Уважаемые люди, будь то владельцы иерихонских

<sup>57</sup> Рассеяние — диаспоры.

<sup>58</sup> Терапевты — иудейская секта в Египте, близкая к ессеям.



рош или сборщики смолы на Асфальтовом море, слушали фарисеев, потому что фарисеи учили их главному — соблюдению обычая. Не заносчивые саддукеи, потешавшиеся над верой в Мессию, и не замкнутые ессеи, объявившие себя новым заветом, а они, фарисеи, провозгласившие народ священным и богоспасаемым.

Оттого так взволновал Гамалиила рассказ Иуды. Если Иисус — ученик Иоанна, значит, он опасен. Не хватало еще бунтов на Песах. Погром в притворе Соломона показал, что Иисус — не очередной деревенский прохвост, охмуривший легковерных, а новый лжепророк. Следовательно, надо было как-то утихомирить его, пока он не наломал дров. Гамалиил не был кровожаден и не собирался карать назаретянина просто так. Он хотел разобраться, что именно тот вещает, и, если его речения окажутся опасными, а пуще того — богохульными, следовало поступить с ним по закону. Не побить камнями, нет, а, например, передать в руки Пилата или вовсе отпустить, если окажется, что он обуян бесами. А еще можно отослать его к Антипе, раз уж Иисус — его подданный. Пусть тетрарх сам разбирается. Но прежде надо было поймать его и учинить допрос в присутствии двух свидетелей.

Больше всего Гамалиила удивляло, что среди спутников этого лжепророка оказалась такая высокочтимая женщина, как Иоанна. Впрочем, женщины, благородные они или нет, легкомысленны по природе и подвержены страстям, недаром их показания не принимаются судом. А этот Иисус, кажется, подкупил ее рассказами о Царстве Божием, где все станут как ангелы, — тут она и потеряла голову. И не только она, судя по возгласам той помешанной в притворе. Ловкач поймал их в сети и теперь, наверное, потирает руки, кормясь за счет легковерных женщин.

Об этом, а также о том, как изловить Иисуса, Гамалиил беседовал с Анной, покидая Храм. Вельможа был страшно расстроен произошедшим, ведь он потерял козырь в противоборстве с Антипой. Гамалиила это не волновало, пусть спесивый саддукей препирается с тетрархом, а он, скромный фарисей, будет заботиться о благе израильтян.

По обычаю, ставшему привычкой, в первый день Песаха Гамалиил заканчивал изучать с учениками «Левит». После занятий он угостил их опресноками с вином, тем самым избавив от необходимости поститься, затем пожелал каждому оправдать надежды родителей и почитал вместе с ними главы «Исхода». Он уже хотел отпустить учеников на праздничную трапезу, когда ему сообщили, что явился некий проситель. Гамалиил вышел на улицу. Там стоял Иуда.

— Вот так неожиданность! Тебя-то я и искал. Ты был у первосвященника? — спросил Гамалиил.

— Не успел, господин. Я едва вырвался к тебе. Из-за частых отлучек меня уже подозревают. Я пришел сказать, что хочу обвинить Иисуса в богохульстве. Сегодня во время утренней жертвы он набросился на меня в притворе Соломона...

— Я был там, — прервал его Гамалиил.

— Тогда ты видел, что устроил этот негодяй и обманщик. Разве может Божий человек творить такое?

— Согласен с тобой.

— Иисус собирается отмечать Песах в доме Марии, о которой я говорил тебе. Но ночевать он хочет в Вифании.

— Пожалуй, там мы его и возьмем, если первосвященник будет не против, — сказал Гамалиил.

— Не лучше ли сделать это во время пасхальной трапезы?

— Нельзя осквернять празднество насилием. Даже преступник имеет право встретить Песах в покое и радости.

— Я понял, господин.

Они уже собирались распрощаться, когда появился взмокший и усталый Саул. При виде Иуды он всплеснул руками.

— Тебя-то я и ищу!

— Мы уже обо всем поговорили, Саул, — сказал Гамалиил. — Прости, что заставил тебя понапрасну побегать. Пойдем есть опресноки.

— Позволишь ли прежде задать этому человеку один вопрос, господин?

Гамалиил кивнул.

— Жду тебя внутри, — сказал он и исчез в Доме учения.

— У меня есть папирус с чьими-то записями, — сообщил Саул Иуде, когда за Гамалиилом закрылась дверь. — Не слова ли этого твоего пророка?

— Он не мой пророк, — угрюмо отозвался Иуда.

— Хорошо, хорошо. На вот, глянть, — сказал он, вытаскивая из-за пазухи изрядно помятый и влажный от пота свиток.

Иуда развернул его и покачал головой.

— Я не умею по-гречески.

— Ах ты ж! — досадливо воскликнул Саул. — Я тебе прочту.

Медленно, то и дело запинаясь, он перевел ему несколько речений.

— Ну как, это его слова?

— Не уверен. Не знаю. Что-то похоже, а что-то нет, — ответил Иуда, явно торопясь отделаться от назойливого собеседника.

— А среди вас вообще есть обученные греческой грамоте? Кто мог это написать?

— Матвей, кажется, умеет. Он собирал подати, ему положено. Иоанна, наверное, тоже. Она из благородных. Прости, но мне пора. Прощай!

— Мир тебе и до свидания! — улыбнулся Саул.

Он успел к самому концу трапезы. Гамалиил сохранил для него один опреснок, который Саул торжественно и съел, сопроводив это благодарностью Господу. После взаимных пожеланий счастливого и радостного Песаха ученики пошли по домам, а Гамалиил подозвал Саула.

— Утром совет вынесет приговору назаретянину. Я бы хотел, чтобы ты стал вторым свидетелем на его допросе. Согласен?

— С большой охотой, учитель! — воскликнул Саул. — Будет очень любопытно его послушать.





— Ты нашел дом Марии?

— Нашел. Там полно галилеян. Между прочим, в Нижнем городе только и разговоров об Иисусе. Но не о назаретянине, а о другом.

— О ком же?

— В Кесарии Пилат схватил какого-то кинжальщика. Тот тоже ходил с Иоанном, а теперь его хотят распять за ограбление римлянина. Народ негодует. Разбойник чем-то полюбился кесарийской черни.

— Понятно чем, — буркнул Гамалиил. — Ругай римлян и благородных, строй из себя защитника обездоленных — и тебя полюбят. А то, что кинжальщики — обычные злодеи, людям невдомек. — Он вздохнул. — Если бы только Анна не был так беспощаден к неимущим левитам...

В отличие от других учеников, у Саула в Иерусалиме не было родни, поэтому он жил прямо в Доме учения, а праздники отмечал в гостях у Гамалиила, обитавшего на одной улице с первосвященником. Туда они и направились, предварительно омывшись, как полагается, в купальне.

За праздничным столом, где собралась вся большая семья иерусалимского книжника, между благословениями и рассказами о египетском рабстве Саул обсуждал с учителем филоновское Слово — самостоятельная это сущность или нет, и тождественна ли она Божественной Мудрости? Гамалиил, к изумлению ученика, посоветовал ему для лучшего понимания вопроса ознакомиться с трудами Гераклита, Платона и Анаксагора («Они есть в кесарийской библиотеке»).

— Но разве Писание не содержит все ответы? — спросил Саул.

— Если там есть ответы на все вопросы, зачем читать Филона? — заметил Гамалиил. — Не следует чураться языческой мудрости. Эллин, отрешившись от идолопоклонства, тоже получит свою долю в грядущем мире. Разве мы все не дети Ноя? И кто такой Платон, как не Моисей, говорящий по-аттически? Красота Яфета уже давно поселилась в шатрах Сима, — поэтически закруглил он свою мысль.

Саул был потрясен. Чтобы фарисей советовал читать языческих философов — такого он и вообразить не мог. Учитель не уставал его изумлять.

— У Филона Слово Бога — то же, что творящая Мудрость, существующая отдельно от Господа, — продолжал Гамалиил. — Это — гераклитовское и стоическое понимание, близкое Писанию. У Платона и Аристотеля не так. У них Божественное Слово лишь суждение, не более. Кто из них прав, мы знать не можем, даже в Писании об этом говорится по-разному: то Премудрость действует сама по себе, то является качеством Господа. Важно то, что Филон воспринимает Пятикнижие через платоновские категории, благодаря чему не только постигает разнообразие Моисеевой мудрости, но и видит пробелы нашего законоучителя...

— А у него были пробелы? — жадно спросил Саул.

— В Писании много противоречий. Впрочем, мы не раз упоминали об этом на занятиях. Вспомни, как в разных местах говорится, например, о Боге: то Он — Господин всего мира, то — Бог народа Израиля;



Бог один и единичен, и в то же время Ему служат сонмы ангелов; Бог присутствует в мире, пребывает среди людей, и в то же время является Богом космоса, сидящим на небесном троне; Бог вечен, неизменен, неподвижный перводвижитель вселенной, и в то же время Ему присущи гнев, жалость и другие человеческие свойства. Бог наделяет человека полной свободой действий, и в то же время управляет человеческими делами в соответствии со Своей волей. Бог позволяет сатане быть обвинителем в небесном суде, и одновременно противостоит силам зла, возглавляемым Велиалом. Как совместить все это? Наших книжников мало это волнует, они погружены в пучину жизни и заняты решением насущных вопросов. Зато греки очень много занимаются этим, и их взгляды могут оказаться весьма полезными. Если бы Филон не заглянул в языческие книги, он бы не стал великим мудрецом, самым необычным из всех.

За такими беседами прошла ночь. Наконец подошло время халлельных гимнов<sup>59</sup>, после которых все отправились спать. В пятом часу, еще до рассвета, явился человек от Каиафы с известием, что Иисус схвачен. Гамалиил велел разбудить Саула, и они отправились к первосвященнику. Иуда уже был там.

Разбирательство длилось недолго. Сначала выступал Иуда, потом — Саул и другие, кто видел произошедшее в притворе Соломона. Гамалиил выступать не мог, так как являлся членом суда, он задавал вопросы, причем так ловко, что Иисус сам выдал себя. Каиафа и Анна поначалу не хотели карать галилеянина сурово, но когда тот, обстреливаемый вопросами, признался, что пришел установить Царство Божие, все было кончено. Каиафа разодрал на себе одежду в знак того, что услышал богохульство, и суд приговорил дерзкого к смерти. «Ох уж эти мне галилейские землекопы, — покачал головой Гамалиил, которому было жаль недалекого крестьянина, запутавшегося в своих взглядах. — От их ретивости одни беды».

— Может, Пилат еще освободит его, — предположил Саул, который тоже не желал зла несчастному. — Песах все-таки.

Мимо них с сосредоточенным видом прошел Иуда. Спустившись по ступенькам, он открыл дверь на улицу и воскликнул:

— А, Симеон, ты тоже здесь! Окоченел совсем, поди. Ну заходи, погрейся.

Пропустив внутрь бедно одетого человека, Иуда вышел, а вновь прибывший приблизился к горящему в стене очагу и протянул к огню ладони. Его трясло от холода.

Из комнаты, где проходил совет, появился благообразный старейшина. Проходя мимо Гамалиила, он укоризненно покачал головой.

— Экий ты въедливый! И стоило оно того? Отпустил бы с миром этого одержимца, ничего бы не случилось.

<sup>59</sup> Халлельные (аллилуйные) гимны — славящие Господа песнопения.



— Великое начинается с малого, Иосиф, — возразил Гамалиил. — Если зло не задавить в зародыше, оно может дать обильные всходы.

— Да какое там зло! Мало ли таких бродит по земле Израиля... Или ты заодно с Антипой?

— Ты знаешь, что это не так, уважаемый Иосиф. Но закон надо блюсти.

— А милосердие как же? Про милосердие-то ты забыл.

— Милосердие необходимо покаявшимся. А этот безумец разве каялся?

Саул не хотел им мешать и потому сошел вниз, приблизившись к незнакомцу, которого впустил Иуда.

— Ты тоже из учеников Иисуса? — спросил он.

— Чего? — повернул к нему голову чужак. Он выглядел старше Саула, но вполне мог быть и одного с ним возраста — селяне быстро стареют от изнурительного труда и солнца. Густые черные космы закрывали лоб и виски, смыкаясь с широкой лохматой бородой. — Н-нет, я так...

— Я же слышал, как тебя окликнул Иуда. И говор у тебя галилейский. Значит, ты тоже из учеников Иисуса, — настаивал Саул.

— Нет, нет, — замотал головой Симеон. — Ты ошибся, добрый человек.

— Я просто хотел узнать, почему Иисус считает себя Мессией. Он ведь не из рода Давида. Это же глупо. Правда, Исайя зовет Мессию словом «незэр», но это вовсе не «назаретянин»...

Галилеянин еще сильнее замотал головой.

— Нет, нет, то не я. Не знаю. Не слышал. — Он вдруг метнулся к двери и выскочил наружу. Саула обдало холодным воздухом.

— Да ты чего! — воскликнул он, кидаясь следом. — Я же только спросить хотел.

Но галилеянин уже мчался, не оглядываясь, по позолоченной рассветным солнцем улице.

\*\*\*

У Антипы ночь прошла довольно весело, а уж утро выдалось и во все замечательным. Песах он, как обычно, встречал во дворце Хасмонеев, в компании жены, ее непутевого братца Агриппы и Саломеи, дочери Иродиады от первого брака. Это был первый Песах тетрарха без прежней супруги, набатейской царевны, и Антипа наслаждался новой жизнью. Весь Иерусалим ненавидел его за кровосмесительную связь с женой своего брата, но какое ему было дело до этого! Антипа никогда не утруждал себя уважением к иудейским обычаям, по опыту отца зная, что все решают сила и римляне. Вот и сейчас, возлежа за столом, как принято у греков, он перемежал чтение «Исхода» с декламацией Гомера, молитвы — с лицезрением танцев Саломеи, а опресноки макал в богопротивный гарум и запивал медовым вином, очень ценным в легионах. Напряжение последних дней отпустило его, и он, довольный, снисходительно поучал племянника:



— Фортуна надо ловить, а не ждать, когда она спустится к тебе. Знаешь ли ты, Агриппа, что оливковое масло, которое у нас в Гискале идет по четыре драхмы за восемьдесят ксестов<sup>60</sup>, в Кесарии можно продать в десять раз дороже? А ксест бальзама, за который у нас дают триста динариев, в Риме идет за тысячу. Если в день я получаю этого бальзама на тринадцать тысяч двести динариев, то цена, какую дают за него в Риме, позволит не только окупить затраты на перевозку, но и принести прибыль. А поскольку с купеческих товариществ подати ниже, я создаю товарищество, записываю туда вольноотпущенников и клиентов — и вот уже смотрители кесарийского порта не могут мне ничего предьявить, Пилату же остается скрежетать зубами. Очень полезны также лазейки в законах. Видишь, как лихо я управился с Иоанной! И что ей осталось? Только пугать меня чарами бродячего мага. Но теперь и эта ее ставка бита. Глупцы скажут, что мне просто повезло — ведь я не мог знать, что этот маг полезет ссориться с первосвященником. А я так отвечаю: где маги, там жди нелепых выкрутасов. Надо было просто подождать, пока он подставится. Всякий знает, что бездельники с подвешенным языком, которым верит чернь, вызывают неприязнь у Анны. Немного осведомленности и расчета — и ты всех обошел на повороте. Между прочим, я слышал, александрийцы отказали тебе в деньгах. Неудивительно! Хочешь помочь себе — займись делом, а не проси сестру ходатайствовать за тебя. Вот тебе задание: перепиши все хозяйства вокруг тетрархии, чьи владельцы находятся в тяжбе с моими подданными. Выясни, в каких случаях причиной тяжбы является ущерб, причиненный моим людям чужими рабами, и смело выноси такие дела на суд первосвященника. Ответчики не откажутся, они знают, что Анна и Каиафа терпеть меня не могут. Первосвященник наверняка наложит взыскание на хозяев провинившихся невольников, он не сможет поступить иначе — так велит древний закон, который лелеют саддукеи. Но упаси тебя Господь обращаться в иерусалимский совет — там заправляют фарисеи, а они против такого подхода. Улавливаешь, Агриппа? — Он взъерошил ему реденеющие волосы. — Все, что заработаешь таким образом, — твое.

— Я ведь смотритель за рынком, — заметил тот. — Когда мне заниматься переписью?

— Не делай из меня дурака. Думаешь, я не знаю, чем ты занят целыми днями? Кстати, у тебя ловко вышло умаслить того римлянина. Не ожидал. Все-таки можешь, когда захочешь.

Агриппа дрогнул губами, порываясь что-то сказать, но промолчал. Ему, сорокалетнему мужчине, было невыносимо терпеть такое отношение, но что он мог поделать? Опутанный долгами, он покорно сносил дядино высокомерие, иначе пришлось бы стать рабом какого-нибудь заимодавца. Ах, если бы не умер Друз, если бы не умер Германик, если бы

<sup>60</sup> Ксест — мера объема жидкостей и сыпучих тел, равная 0,547 литра.





не умерла Ливия, он бы наворочал дел! Но теперь в Риме заправлял Сеян, и Агриппе оставалось лишь выть от тоски и несправедливости мира.

— Не боишься, что префект претория уберет тебя, как Август убрал Архелая? — спросил Агриппа, чтобы хоть чем-то согнать самодовольство с лица тетрарха. — Он же не выносит иудеев.

— Все возможно. Мы — евреи, а нам избежать унижения — уже успех, — пожал плечами Антипа, закидывая в рот финик. — Кому это знать, как не тебе, — рассмеялся он, а его собеседник побледнел и отвернулся.

Утреннюю жертву Антипа проспал, а когда ближе к полудню раскрыл глаза, то услышал ликующие вопли на улице. Подойдя к окну, он распахнул ставни и увидел, что внизу несколько оборванцев под слаженные хлопки и смех окружающих выкрикивали хором: «Иисус! Иисус!» В другое время Антипа подумал бы, что начался бунт, но, поскольку никто не бегал с оружием и не швырялся по дворцу камнями, понял, что дело в другом. Полный недоумения, он позвал слугу.

— Что там творится?

— Народ радуется освобождению разбойника, господин.

— Какого разбойника?

— Какого-то Иисуса. Волновал народ в Кесарии. Наместник схватил его за ограбление римлянина, но освободил по желанию черни.

— Не тот ли маг, который... Ах нет, тот не из Кесарии. А что с тем, другим Иисусом, который пришел с Иоанной?

— Его распяли, господин.

— Какая приятная неожиданность! — воскликнул обрадованный тетрарх. — Быть может, Пилат не так уж плох. Надо его чем-нибудь отблагодарить.

Пока он раздумывал, как выразить наместнику признательность за такую услугу, явилась просительница — женщина из Автократиды. Тетрарх был в хорошем настроении и немедленно принял ее. Женщина оказалась владелицей гостиницы и просила взыскать с Пилата стоимость овса, который забрали римские воины. «Вот чем я отблагодарю наместника!» — сообразил Антипа.

— Твои издержки будут возмещены, не тревожься и иди себе с миром, — заверил просительницу тетрарх.

Он позвал писца и продиктовал письмо казначею с приказом выдать несчастной деньги, потраченные ею на корм римских лошадей. Вернувшись в спальню, он снова раздвинул ставни и прислушался к гомону прохожих. На улице грянула насмешливая песня:

Бэутусы — бьют,  
Ханины — лгут,  
Кафра — клеветуют,  
Бен Сефы — плетками хлещут.

Отец — первосвященник,  
Сын — казначей,  
Зять — управитель,  
А слуга — злодей.

Песня смолкла, и люди наперебой заголосили:  
— Иисус свободен! Иисус свободен!  
— Ах, как же хорошо! — воскликнул тетрарх, втягивая ноздрями сухой обжигающий воздух пустыни.

## Эпилог

Пилат вернулся в Кесарию страшно недовольный, как бывало всегда, когда ему приходилось идти на уступки евреям. Вдобавок он узнал от Тумелика, что римский гость, которого он потчевал во дворце, крайне неблагоприятно отзывался о его управленческих способностях. Поэтому первое, что сделал наместник, вернувшись во дворец Ирода, — расколотил вазу с прахом раба, убитого при нападении разбойников. Потом велел освободить кинжальщика и доставить его во дворец.

— И как ты объяснишь это нашему гостю? — спросила Прокула, узнав про вазу.

— Скажу, что рабыня опрокинула, когда убиралась. Негодница уже наказана. Вот и все. Пусть утрется, мерзавец. Держать в узде евреев я, видите ли, не могу. У него-то какие заслуги, кроме той, что он племянник египетского префекта?

Прокула поджала губы.

— У меня как раз было дело к Галерию. Я хотела обсудить его с Сенекой.

— Какое дело?

— Я наняла людей добывать асфальт<sup>61</sup>. Хочу продавать его беспошлинно в Египет. Ты ведь не будешь против?

Пилат уставился на жену, хлопая глазами.

— Решила заделаться торговкой? Вообще-то за такие проделки...

— Ой, только не рассказывай мне о законе! Кто похвалялся двойными пошлинами с шелка?

Пилат опешил.

— А деньги ты откуда взяла? — спросил он.

— У тебя. Я отдам.

— Да как ты посмела!

— А кто тебе принес пиценское имение? Забыл?

— И что с того? Ты не можешь брать мои деньги.

— Я всё верну, не волнуйся.

— Ты не можешь брать мои деньги! — заорал Пилат. — Я должен наказать тебя.

<sup>61</sup> Асфальт — минеральная смола, применявшаяся египтянами при бальзамировании.





— Только посмей! Я — творящая мысль Бога!

— Чего?

— Творящая мысль Бога. Так мне сказал Симеон Гиттонец, мудрейший из самаритян.

— Это тот колдун, к которому ты бегала с Тумеликом? Я знал, что общение с ним не доведет до добра. Надо, пожалуй, заковать его за смущение умов и наведение чар. Что за проклятая земля! Не успеешь разобратъся с одним магом, возникает другой.

— Только попробуй!

Но Пилат и слушать ее не стал. Он позвал писца и хотел было продиктовать ему приказ, но тут привели освобожденного кинжальщика, и наместник удалился в зал приемов, чтобы поговорить с ним. Прокула же воспользовалась случаем, чтобы отправить гонца в Гитту с предупреждением Симеону об опасности.

Во время ужина они опять ругались, так что в конце концов раздосадованный Пилат не выдержал и ударил супругу, велел слугам увести ее.

— Никакой тебе торговли с Египтом, дура! — рявкнул он напоследок. — Сиди и чеши языком со служанками.

Прокула была оскорблена до глубины души. Она, которую великий Симеон объявил живой Софией, Премудростью Божией, вынуждена была подчиниться этому мужлану, который понятия не имел о тайном знании. Да он просто был недостоин ее!

Разрываясь между яростью и отчаянием, она призвала к себе Тумелика. Вот кто утешит ее! Мальчишка, сам терзавшийся неудачей в Иерусалиме и полный сострадания к сестре по вере, явился и... задержался допоздна, жадно вслушиваясь в рассказ Прокулы о чудесном обряде, который Симеон провел над ней, пока Пилат был в отлучке. Этот обряд, сопровождавшийся египетскими заклинаниями и воскурением ладана, открыл Прокуле глаза на ее великое предназначение. Она, жена скромного всадника, оказалась вместилищем бессмертной души, новым воплощением Елены Прекрасной и самой Евы, уговорившей Адама вкусить плод от дерева познания. Ей ли слушаться какого-то смертного, который скоро обратится в прах? Потеряв голову, она шептала Тумелику, что их навсегда объединило сокровенное знание, теперь они неразлучны, и мальчишка охотно соглашался с ней, прижимая ее руки к своей груди.

Утром их застал Пилат. Видимо, донес кто-то из рабов, потому что наместник не имел привычки являться в покои супруги с утра, если не явился туда вечером. Гнев его был неопишем. Тумелик сбежал при первых раскатах грома, а вот Прокуле пришлось выслушать все обличения разъяренного мужа до конца. Закончил он тем, что посулил сдать ее в лупанарий<sup>62</sup>, раз уж она ведет себя как шлюха. И выполнил свою угрозу, воспользовавшись древним правом! Тумелика он хотел продать в рабство,

<sup>62</sup> Лупанарий — публичный дом.

но того и след простыл. Мессалам прочесал всю Кесарию и окрестности, но ни его, ни самаритянского знахаря не обнаружил. И неудивительно, потому что он сам и отправил обоих в далекий Скифополь. Там, среди набатеев и греков, Симеон продолжил размышлять над устройством мира, а Тумелик, скрывшийся под именем Менандра, внимал ему, готовясь нести свет истины людям.

Спустя день после бегства Тумелика до Кесарии добрался Сенека. Он приехал позже Пилата, потому что задержался у Капитона в Явне, отмечая сделку. По дороге перечитывал сатиру Тиберия, изумляясь, каким дерзким вольнодумцем тот был, пока не стал правителем державы. Но спокойно доехать до города ему не дали. Стадиев<sup>63</sup> за десять, когда Сенека уже мысленно готовился взойти на борт корабля, размышления его были прерваны до боли знакомыми стуками в стенку и отборной бранью. У Сенеки упало сердце. Неужели снова? Он замер, сжав кулаки и оцепенело глядя перед собой. Повозка остановилась, распахнулась дверца, и в проеме, облитый медовыми лучами солнца, появился косматый еврей с кинжалом в руке. Сенека отшатнулся. Он узнал его.

— Не бойсь, тебя не тронем, — по-гречески сказал еврей, желтозубо ослабившись. — Отдавай всё — и езжай дальше.

В этот миг Сенека понял, что заветную книгу он до Египта не довезет.

\*\*\*

Через год после описанных событий префекта Галерия вызвали в Рим. Не ожидая ничего хорошего от этого внезапного вызова, он так распереживался, что умер по дороге. Сопровождавший его Сенека пару лет проболтался в столице без дела, но затем начал блестящую карьеру, добившись всех мыслимых благ и став одним из величайших мыслителей в истории. Христианские философы потом немало удивлялись сходству его идей с речениями Христа.

Симеон Гиттонец, вошедший в историю под именем Симона Волхва, создал гностическую религию, которая очень долго соперничала с христианством за власть над умами. Его первым учеником стал Менандр.

Прокула недолго маялась в тирском борделе. Симеон выкупил ее и сделал своей спутницей, провозгласив воплощенным Словом Божьим.

Ирод Антипа потерпел поражение от набатейского царя. Весь народ Израиля ликовал по этому поводу, увидев в разгроме тетрарха небесную кару за незаконную казнь Иоанна Крестителя. Спустя десять лет Антипа пал жертвой интриг своего племянника и закончил дни в галльской ссылке.

Ирод Агриппа настолько погряз в долгах, что вынужден был бежать из Палестины обратно в Рим, где попал в тюрьму за неосторожные слова о Тиберии. Там он просидел до смерти императора, а новый правитель

<sup>63</sup> Стадий — мера длины, равная 176,6 метра.



Калигула, памятуя о дружбе Агриппы с его отцом Германиком, не только освободил незадачливого иудея, но и удостоил его царской диадемы. Таким образом, Агриппе удалось сделать то, чего не добился его дядя Антипа: восстановить государство Ирода Великого. Совершив это, он начал столь ревностно соблюдать иудейские обычаи, что заслужил похвалу в Талмуде.

Гамалиил, верный принципу верховенства закона, спустя много лет спас апостолов от самосуда разъяренных иудеев, за что был объявлен христианами святым — единственный из фарисеев!

Иисус «Варавва» вернулся к кинжальщикам и долго еще наводил страх на римлян, пока через десять лет сам не получил ножом в горло.

Иоанна, жена Хузы, осталась христианкой и в конце жизни оказалась в узилище, где встретила апостола Павла.

Прочее известно...



Мария ФРОЛОВСКАЯ

## ГРАФИКА ГОЛОГО ПАРКА

\* \* \*

А там идет весна и красят яйца зеленым чаем, желтой шелухой, закутывают в марлю и колготки, и куличи, наверное, пекут. Но мертвые лежат, не воскресая, прикопанные прямо во дворах многоэтажек, у которых небо полощется внутри. Они обжиты закатами, восходами, котами.

Мы тоже здесь печем и красим луком, и пищевым красителем, и даже какой-то перламутровой фигой. Но мертвые лежат, не воскресая, и мы не воскресаем. Боже правый, ну чем же красить яйца, что купить, куда пойти, чтоб стало все как было? Но Бог вне зоны действия сети.

Наверно, он сидит на двадцать пятом, с закатами, восходами, котами, в прозрачной, обгоревшей скорлупе растресканного дома. И к нему всю ночь идут какие-то бабульки, которые забыли адреса и имена, но знают, что должно быть, — высокое серебряное небо, салфетки, вербы, яйца, куличи. Они к нему протягивают руки, в которых пусто, звездно, бархатисто, и Бог им освящает темноту.

\* \* \*

Убогий мой, уютный мой мирок —  
в пекарне булка, за углом творог,  
аптека, почта, детская площадка.  
Ты хвалишься, что скроен хорошо,  
что мал, но безопасен закуток,  
а между тем ты — перышко, пушок:  
дохнут — ни пятнышка, ни отпечатка

от нас. Дом быта, «Хлеб», велопрокат...  
Не выведает новые века,  
чем были мы, о чем мы гомонили,  
как сильно в мае яблоня цвела,  
какою дурой Леночка была,  
как у скамеек прорастали крылья,



когда плели влюбленные на них  
свой тихий полубред и полустих,  
как кладбище захватывал физалис,  
как красили оградки и кресты  
и ежились от близкой пустоты,  
но все ж себе бессмертными казались.

\* \* \*

Нет ни правых, ни виноватых,  
ни плохих, ни хороших нет.  
Дед Мороз — борода из ваты,  
ну какой ты нам, нафиг, дед?

Что подаришь ты тем, в окопах,  
или этим, без крыши над?  
Наши ямбы, хореи, стопы  
обескровливает война.

Дед Мороз, бородатый крендель —  
гикнул, свистнул и полетел —  
что ты можешь пред ликом смерти?  
Что ты знаешь о пустоте?

Я не По, не Бодлер, не Пушкин,  
не страдалец, не ассасин.  
Мы лишь елочные игрушки —  
нас повесили — мы висим.



Едет фраер на верхней полке.  
Чайник булькает на плите.  
А под елочкой бродят волки,  
душат зайчиков в темноте.

\* \* \*

Ветки, прожилки, основа — графика голого парка.  
Мы превращаемся снова в точки, в микрочастицы,  
в нолики и единицы, в не образующий слово  
звук бесмысленный ропот.  
Странное косноязычье —  
так неформленность речи  
свойственна детям и птицам.

Не в состоянии продлиться,  
не в состоянии собраться  
из мельтешенья и гула, пиксельной утренней ряби,  
я распадаюсь на буквы,  
хрупкие желтые листья,  
на отраженные в лужах тени дворов и фасадов.

Где-то когда-то наверно  
нам непременно помогут,  
и соберут микросхемы, и объяснят назначенье.  
Голые черные ветки,  
желтые, красные листья,  
трубы, антенны, а выше — только свеченье, свеченье.



Ирина РОДИОНОВА

## ХЛЕБОПЕЧКА И МАЛЬДИВЫ

Р а с с к а з

В последний раз Тамара увидела ее серым ноябрьским утром. Небо вращало в оледеневшую дорогу, пустые пятиэтажки дремали — жители их давно уехали на работу, и только барышни-пенсионерки куковали по домам. Тамара стояла на балконе, кутаясь в коричневую шаль, и выглядывала на улицу с четвертого этажа. Долго стоять с ее весом было непросто, и Тамара засчитывала балкон за зарядку, крепилась изо всех сил.

В морозы застекленный балкон покрывался узорами инея, но сейчас было тепло. Из квартиры пробивался запах гари — Тамара опять пыталась испечь хлеб по новому рецепту, и опять у нее ничего не вышло.

Опять. Опять-опять-опять...

Оленька медленно ковыляла к подъезду. Сверху она казалась черным круглым жучком — шла с осторожностью, крепко держалась за бамбуковые лыжные палки. Оленька гордо называла их скандинавскими, но Тамара знала, что подруга нашла их, старые и прогнившие, у местной школы на пустыре. Сын Никита помог Оленьке, обмотал их изолентой и заметил острые наконечники резиновыми нашлепками, чтобы палки не царапали по асфальту. Зимой толку от резины не было, и Оленька скользила по присыпанной песком дороге, то и дело неуклюже взмахивая руками.

Тамара постучала в стекло пальцами, и Оленька остановилась. Вскинула лицо, заулыбалась, помахала. Сказала что-то, но слов за некрашеными рамами было не разобрать. Тамара распахнула окно и поежилась от ветра, который снова пришел из степей. Летом в их маленьком городке она спасалась от жара мокрыми простынями, а зимой предпочитала гулять на балконе.

— На улице хоть выползи! — крикнула Оленька и шутливо погрозила пальцем.

Тамара махнула на нее рукой:

— Чтобы ноги все переломать? Спасибо, я и тут воздухом подышу.

— Ну и зря. — Оленька встряхнула белым пакетом в руке: — В «Светофоре» скидки на минтай, я на жареху почти килограмм набрала.

— А мне?!

— А ты разве просила рыбу?

— Значит, жди теперь дорогую гостью, — фыркнула Тамара и натянула шаль на голую шею. — Только в яйце обжарь, с манкой!

— Она еще и командовать будет!..

Даже с высоты четвертого этажа Оленька казалась усталой, возглас ее вышел отрывистым и слабым. Она стояла, опершись о лыжную палку, и глотала холодный воздух широко распахнутым ртом. Полнотелая, с дряблым лицом и смиренной улыбкой, Оленька одергивала пуховик и... казалась старушкой. Тамара приказала себе думать, что они просто женщины в самом расцвете сил.

До старости далеко.

Оленька с трудом заползла по ступенькам в подъезд, громыхнула железная дверь. Подруга всю жизнь прожила рядом, только на третьем этаже. В квартире у Оленьки Тамара куковала, когда Толик уходил в запой и лез с кулаками, а она боялась зашибить его сковородкой. Кормила Оленькиных детей овощными пюрешками и сливочным мороженым, когда муж уезжал на Север, на вахту. Они с Оленькой вообще были неразлучны, подружки-болтушки, только в чуть поувядших телах...

Тамара постояла еще немного, подождала, пока замерзнет. Вернулась с балкона и прикрыла за собой дверь — неплотно, чтобы гарь выветрилась поскорее.

А на следующий день Оленька умерла.

Тамара долго лежала, прислушиваясь к шорохам и крикам. Отщипывала катышки с пледа и принималась к наволочке, от которой воняло дешевым порошком и еще более дешевым кондиционером. Внизу хлопали двери, скрипели деревянные полы и чужие голоса.

Вставать не хотелось. Если что и стряслось, то скоро прибежит Настя, Оленькина дочь. Можно полежать, понадеяться на хорошее. Хоть на что-нибудь... Разве можно так делать, без предупреждения и подготовки? Только-только на пенсию вышли, жить спокойно начали, и на тебе...

Разозлившись, Тамара поднялась с кровати. Накинула на плечи тяжелый халат, стянула с подоконника шаль. Прошлепала на балкон.

У подъезда стояла белая газелька с ржавыми потеками на дверях, рядом с ней курил пропитой мужичок, сплевывал себе под ноги. Темно-синяя роба с поеденным молю черным воротником, засаленные брюки и отсутствующий взгляд... Слишком уж хорошо Тамара знала этих людей.

С третьего этажа крикнули:

— Ильич, ну пошли!

Ильич буркнул, отшвырнул сигарету в сугроб и поплелся на подмогу. О том, что было дальше, Тамара старалась не вспоминать. О Настинном зареванном лице, о лязганье ржавых дверей и бабском шушуканье со всех концов двора. Дом у них был «стариковский», строили его в восьмидесятые — крепкая хрущевка, выросшая на окраине специально для переселенцев с Севера. Молоденькая Тамара приехала сюда, на границу с Казахстаном, из Салехарда, здесь же познакомилась с Оленькой.





Их дом быстро ветшал. Все чаще в подвале рвались трубы с кипятком, все больше шелушилась краска на стенах подъездов. Старели и жильцы: там доживают свой век дед со сварливой бабкой, вон там — одинокая старушка, что кормит бездомных котов и воюет с соседями. А вот здесь все умерли, и квартиры перешли к наследникам. Все чаще и чаще их двор наполнялся далеким детским смехом, в подъезде под лестницей толпились коляски, а незнакомцы сидели на лавочках и караулили холодильники и телевизоры, пока грузчики перетаскивали нажитое добро. Но Тамара и Оленьки все еще жили в этих подъездах.

Правда, на одного человека сегодня стало меньше.

И вот так всегда. Стоило вспомнить о подруге, разжигая газ под чайником или вытряхивая половик с балкона, как мысли сами собой перескакивали то на состарившихся северян и чернобыльцев, то на окрестных старух, от которых Тамара держалась подальше, то...

Но Оленька все равно вспоминалась очень часто. Ждала за прикрытой дверью в ванную, стучала лыжными палками в подъезде, вздыхала в пустой квартире... Даже коробку с черным индийским чаем нельзя было достать без ее скрипучего голоса:

— Гадость, да еще и крепкий.

— Не всем же мочу разбавленную пить, как ты, — огрызалась Тамара.

— Ничего себе новости! Это где ты такое увидела?! Зверобой, чабрец, мать-и-мачеха...

— А вкуса все равно нет, что ты мне ни говори.

Они всегда любили беззлобно перешучиваться.

И над кем теперь Тамара язвить, а?

Похоронили Оленьку на третий день. Дешевый, будто бы картонный гроб привезли к подъезду. Вокруг собрались незнакомые старики и старухи, они шептались и крестили по воздуху покойную, поправляли кружева на подкладке. Тамара сначала решила не ходить — давление скачет, спина ноет. Раньше Оленька ей поясницу мазала сиренью на спирту, а теперь только шаль и спасает от боли.

Вышла все-таки. Закуталась в поношенную шубу, еще из Салехарда привезенную, повыше натянула колючую шаль. Вспомнила, как боялась прощаться с погибшим дедом еще там, в родной деревеньке. Сколько ей было, семь или восемь? Она долго стояла поодаль, плакала от страха и молилась, чтобы ее не заставили целовать твердый дедов лоб. Он, наверное, был холодный, а вдруг еще и каменный, да и внутри от деда ничего не осталось, только оболочка эта серая, жуткая. Бабушка говорила, что дед теперь сидит на облаке и сверху на них дождиком плюется.

Тамара невесело улыбнулась и шагнула к Оленьке. Пригладила платочек на седой голове, губами прижалась к виску.

— Предательница, — шепнула едва слышно. — Куда ты так рано, а?!

Смерть давно не пугала Тамару, все там когда-нибудь будем. Этим утром она достала из шкафа траурное платье — бархатное и тяжелое,



с закрытыми рукавами. Тамара подумывала, что и хоронить ее надо в этом платье, больно уж оно дорогое и качественное, жалко выкидывать. Встряхнула, чтобы убрать соринки, но платье не успело запылиться. Слишком уж часто в последние годы умирали приятели или их родственники, да и собственную родню косило без разбора... Болезнь хоть и отступила куда-то на второй план, но разве от нее спрячешься?

Вон соседки даже на улице в масках стоят, дышат в теплую влажную марлю. Им, наверное, не сказали, что у Оленьки тромб оторвался и до мозга дошел, вот они и побаиваются. Хотя ковидных-то в мешках полиэтиленовых хоронят, в гробах закрытых, да и кто же позволит гроб к подъезду привезти...

На кладбище Тамара не поехала. Отсиделась дома, нечего кости морозить. Родные и соседки вернулись тихими и будто умиротворенными, начались поминки в квартире, и Тамара спустилась туда в траурном бархатном платье. В прихожей пахло вареным рисом, размоченным изюмом и блинами, все сталкивались локтями и шептались, а Тамара стояла у них за спинами и смотрела в Оленькину квартирку. На желтые обои, которые они вдвоем клеили и проглаживали утюгом, на лосиные рога над зеркалом в черной раме, на сваленные в кучу сапоги со сломанными «собачками» и тапочки в пятнышках сладкого киселя... Над телевизором в большой комнате висели акварельные пейзажи, среди березок и осинок белел мягкий пляжный песок и разливалось лазурное море — все в этой квартире пахло Оленькой, дышало Оленькой.

И так странно было думать, что Оленька не вернется.

Все зеркала заплаканная Настя завесила тканью, даже разломанную пудреницу у кровати положила стеклом вниз. На раму в прихожей набросили Оленькину вязаную кофту. Тамара взгляделась в черноту шерстяных петель, будто хотела увидеть себя. Но там, конечно, ничего не отражалось.

...Оленька ехидно прищурилась:

— Чего, сигареты? Нам что, по пятнадцать лет?

— Ты вообще курила когда-нибудь? — Тамара затянулась горячим дымом.

— Ни разу!

— Ну и дура.

— Почему это?

— Все в жизни надо попробовать.

— Ты, как всегда, права, — закивала Оленька. — Пожизненный срок за убийство, аборт и жертвоприношения, наркотики... Что еще предложишь, кроме сигарет, а, подруга?

— Ухохотаться можно, ну ты и юмористка. Нет бы что хорошее вспомнила... Долей вина лучше.

Тамара не курила много лет, а тут вдруг захотелось без причины. Она запекла шарлотку с корицей и магазинными кислыми яблоками, купила бутылку вина по акции, и теперь казалось, что они пьют разбавленный спирт. За окнами уютной Тамариной кухоньки стояла ночь.



— У Тани муж попал в красное отделение, — шепнула Оленька и быстро отхлебнула из кружки.

Тамара потушила сигарету:

— Еще один. На работе вирус подцепил?

— А я знаю? Танюшка плачет, говорит, что он под кислородом, на животе круглыми сутками. В соседний город его увезли, у нас, как обычно, позакрывали все, что только можно. Она теперь на автобусах мотается, воду ему в бутылках возит.

— А воды у нас тоже дефицит?

— Нет, но она в отделении только из-под крана есть, а он не хочет такую. Чужая вода, за желудок страшно. Вот она наливает ему полторашки и везет... А вчера, представляешь, развернули. Говорят, три бутылки, и все, медсестрам, мол, тяжело таскать на третий этаж. А Тане не тяжело возить из другого города?.. Она обратно две бутылки и привезла.

— Бросила бы там, и все. — От вина першило в горле.

Оленька отмахнулась:

— А бутылки потом откуда пустые брать? Даже вода теперь в магазине как из золота. На пенсию-то не разгуляешься особо.

— Ясное дело. Эх, Оленька ты, Оленька... И нас с тобой рано или поздно коронавирус этот сожрет. А там реанимация со старичками в компанию, ИВЛ и вещи в пакете для родственников...

— Типун тебе на брехун! — Оленькины щеки заалели румянцем. — У меня спирт в бутылочках в каждом кармане. Я маски ношу, меняю их и стираю. Я даже на прививку почти решилась...

Тамара хмыкнула и отломил кусок от пирога. Вот зараза, опять не пропекся — внутри тесто влажное и плотное, а внизу поджарилось черной корочкой. Чертова газовая плита, давно пора ее на помойку выбросить.

— Так что я умирать не собираюсь, — хорохорилась Оленька. — Мне Настя еще внуков обещала, двоих.

— Ей уж самой рожать скоро поздно будет.

— Ничего не поздно! Будем с коляской гулять, общаться с подрастающим поколением. Здорово же?

— Оптимистка. — Тамара приподняла кружку, расписанную розово-золотыми пионами. — Давай, за здоровье.

— И за близких, — поддакнула Оленька и звонко чокнулась полупустой кружкой.

Тамара не стала говорить, что из близких у нее только Оленька и осталась. Муж давно спился и помер, Господи, пусть земля ему будет пухом. В родительские дни Тамара даже на кладбище к нему ездила, куличи привозила и яйца крашеные, те, что в кастрюле при варке треснули. Детей у Тамары не было, бракованная она оказалась, пустая. Долго хотела из детдома взять, но всегда отговорка находилась: то у Толика запой, то на работе нервотрепки, то огород сажать, то картошку выкапывать, то сил нет... А потом и возраст, стыдно стало ребенка таким старикам

воспитывать. Так и прожили без детей. Настю вон Тамара растила почти на равных, да и с Никитой помогала.

Нормально все в жизни было. Нормально.

Теперь Тамара Оленьке даже завидовала. Вот змея, вечно чего-нибудь отчудит! То страховок каких-то закупит и живет месяц на макаронах, а Тамару с вареной скумбрией и гороховым супом на пороге разворачивает, гордая. То ногу сломает и припрыгает по лестнице на четвертый этаж, сумасшедшая.

То умрет так рано, да еще и так легко. Тамара завидовала этому больше остального — утром Оленька ладошкой махала и рыбой дешевой хвасталась, а вечером легла спать и не проснулась. Насте в морге сказали, что она не мучилась, не почувствовала даже. Вот бы и Тамаре так, лет через двадцать, не меньше...

Ноябрь расплозлся по гулким одиноким комнатам. Тамара выметала его мокрым веником, сдувала пылесосом, даже купила в супермаркете подкрашенный суккулент с грязно-фиолетовыми листьями, и тот завял через два дня. На балкон Тамара выходила редко, но радовалась, что двор у них проходной: то малышня побежит из школы, бросаясь друг в друга портфелями, то машина забуксует в снежной каше, то кумушки остановятся языками почесать. Все чаще и чаще Тамара присаживалась к телевизору. От крикливых политиков у нее ныл затылок, зато от мелодрам теплело в душе, и даже скорбь как будто затихала внутри. Детские мультфильмы с лупоглазыми героями, концерты комиков и новости, музыкальные клипы и черно-белое кино... Тамара сидела в кресле и щелкала жареные семечки в эмалированную чашку, выходя только в кухню или в туалет.

Так было проще про Оленьку не вспоминать, не травить душу понапрасну. Она-то сидит себе в раю, змея, а им тут мучайся, горюй...

На четвертый день после похорон в квартире у Оленьки началась возня. Тамара проснулась в пять утра, послонялась по квартире, похрустела печеньем с ягодным джемом и даже вышла на балкон подышать. Потом прилегла на диван, задремала под телевизор. Проснулась от шума внизу, обрадовалась — вот и Оленька поднялась! Лежебока, ночами она зачитывалась любовными романами или детективами, а потом отсыпалась до вечера.

Воспоминания заворочались в голове, и Тамара поморщилась от собственной глупости.

Это Настя, наверное.

Снова телевизор, снова забытье. Едва слышное чихание в квартире на третьем этаже, топот в подъезде.

Тамара решила сходить вниз и поговорить. Ей казалось, что скоро она совсем разучится открывать рот, будет сипеть и жестами общаться с кассиршами в магазине. Еще бы, веселенькая у нее жизнь: телевизор, продуктовый, аптека и кровать.

Надо общаться, надо двигаться.



— В дохлом теле здоровый дух! — бодро повторяла Оленька, пока Тамара ходила за тонометром для нее. Оленька расплывалась по кровати и доказывала подруге:

— Это погода виновата. Вчера плюс четыре было, а сегодня сразу минус десять! Тут и молодые мучаются, а мы-то...

— А мы-то тоже нестарые! — Тамара отрывала липучку на манжете тонометра и выносила вердикт: — Девяносто на шестьдесят. Пей таблетки.

Потом мыла сваленную в раковину грязную посуду и собирала фантики вокруг дивана, подметала дощатые полы.

— Свинья! — кричала Оленьке в спальню.

— Я вообще-то болею.

— Как будто ты здоровая о квартире заботишься.

— Твоя правда. Но лучше уж быть порядочной свиньей, чем...

Тамара постучала в дверь, все же надеясь, что дверь ей откроет Оленька, но нет — на пороге появилась Настя. Вытерла нос растянутым рукавом свитера и через силу улыбнулась маминой соседке:

— Тамара Николаевна, здравствуйте! Заходите, конечно...

Занавешенные зеркала припорошило бледной пылью, воздух стоял неподвижный, скорбный. Вспомнилось, как по весне вымоешь окна, натрешь стекла газетами до блеска, а через пару дней они снова стоят грязные. Вымоешь снова, а толку от этого нет. Да и вообще...

Вот, опять мысли побежали. Оленькины шампуни толпились за тумбочкой и шкафом — она всегда набирала полную корзину, чтобы потом поменьше тратиться. На шкафу пылились мягкие игрушки, сбереженные для будущих внуков, сухие веточки вербы в хрустальной вазе — отовсюду Оленька выглядывает, зовет. Вот змея, и почему так рано?..

Как будто Тамаре теперь надо жить за двоих.

В спальне бардака было больше, чем при Оленьке, — Настя вытряхивала из забитого книжного шкафа свои детские раскраски и школьные дневники, а еще сборники советской прозы о пролетариате и революции. Раскладывала книги стопками, связывала шпагатом. Старые почтовые конверты, смахивающие на пергамент старушечьей кожи, веером лежали на темном покрывале.

— Чего ищешь? — Тамара скрестила руки на груди.

— Д-документы, — прогнусавила Настя. — На квартиру, на погреб. Медкнижку там, пенсионное. Надо наследство оформлять, а я даже...

— У меня бы спросила, я ей вечно скорую вызывала. Полис вон в том ящике, на квартиру поищи на полке с Толстым и Буниным, очень она их не любила. Письма от сестер и мамы ее тут, это да... А! Деньги внутри дивана, разложишь и найдешь конвертик под комплектами белья постельного. И еще кошелечек она за унитазом прятала.

Настя кивала, но видно было, что она ничего не запомнит.

— Давай помогу, — вздохнула Тамара. — Все равно дома тошно, сил нет...





Через пару дней Настя с мужем и братом принялись выбрасывать Оленькины вещи, вычищать опустевшую квартиру. Тамару на подмогу не звали, еще бы — ну кому нужна толстая и неуклюжая старушенция, но Тамара следила за ними сверху. Пряталась за занавеской, прикусывала губу и смотрела, как волочатся по снежной каше тяжелые мешки из-под муки, как ползут невесомые фиолетовые шарфики, как валяются на дорогу куртки и пластиковые тарелки, как стоптанные сапоги скрываются в жадной пасти мусорного контейнера.

Тамара уходила от окна, включала телевизор погромче и все равно прислушивалась, сколько еще раз грохнет подъездная дверь.

Оленькины вещи, казалось, не закончатся никогда.

Тамара считала себя женщиной практичной и стойкой — в конце концов, когда тебе переваливает «далеко за», ты похоронила почти всех близких, а из неблизких остались три приятельницы, с которыми перезваниваешься раз в несколько месяцев, то нетрудно смириться с жизнью. Муж в пьяном угаре сломал тебе руку, и пришлось несколько месяцев мыть посуду с гипсом наперевес? Не беда, справимся. Пенсию насчитали с ошибками, а в Пенсионном фонде только развели руками, и ты покупаешь куринные бедра исключительно по акции? Ничего, не голод ведь. Умерла Оленька? Что ж, и так бывает в жизни, ничего не попишешь. Выйдешь на балкон, распахнешь скрипучую створку и помашешь подруге в небо.

А вот то, что Настя вышвыривала из мешков Оленькины вещи в мусорный контейнер, ранило Тамару не на шутку. Обида росла, крепла, и Тамара старалась не выходить из дома, когда приезжали Оленькины дети. Никита вообще с ней едва здоровался и сразу отводил глаза, а внуки навевались редко и больше болтали, чем работали. Тамара выбиралась до магазина утром или поздним вечером, когда в квартире у подруги воцарялась тишина.

Просто не могла видеть всех этих мешков, которые они с Оленькой по осени на плечи забрасывали и в погреб спускали, а там рассыпали молодую картошку во влажных комьях земли и разравнивали руками, чтобы не загнила. Не могла видеть Настиного спокойного и раскрасневшегося лица, старых огородных курток в прорехах и пятнах, ботинок в густом слое штукатурной пыли и даже скатанных половиков, ковров, которые Оленька редко, но все же терла щеткой и поливала разбавленным в тазу гелем для душа...

А потом у Тамары потек унитаз.

И все опять изменилось.

Пока Оленькина квартирка съедалась перфораторами и кувалдами, Тамара боролась с коммунальной катастрофой. Она открыла унитазный бачок, глянула на рыже-желтые стенки с намертво приставшим налетом, поцокала языком. Покрутила сливной рычаг, перекрыла воду и перебрала внутренности, но вода продолжала с шумом утекать в канализацию. И черт бы с ней, но счетчики-то послушно записывали тающую на глазах Тамарину пенсию!



— Бессовестные, — в отчаянии говорила она. — Хоть бы пожалели немного.

Она купила в «Водяном» хлипкую пластиковую арматуру и с трудом, но все же установила ее в сливной бачок. Проблемы это не решило, да еще и вспомнилось некстати, как Оленьке продали «паленый» кран, вода из которого текла мелкими струйками, и Тамара с коробкой наперевес отправилась на разборки.

— Вот, — жажнула она смесителем по стеклянной витрине, чудом ничего не разбив. — Вода не бежит, товар бракованный. Возвращайте полную стоимость.

— Чек, пожалуйста.

Тамара глянула на сконфуженную Оленьку, которая пряталась у нее за спиной. Оленька долго копошилась в мятых записочках и шелестящих инструкциях от таблеток, перевернула всю сумку несколько раз, но чек все-таки нашла. Продавщица покосилась на него и отказалась помогать им:

— Две недели прошло, товар обмену и возврату не подлежит.

Да, они затагнули немного, но ведь время было садово-огородное, абрикосы пошли! Пока наберешь их в пластиковые ведра, пока повырезаешь мясистых белых червяков, отделишь мякоть от косточек и наваришь с сахаром... Только сегодня у Тамары руки до магазина дошли.

— Отлично, — хищно улыбнулась она. — Директора сюда.

— Тома, давай мы просто новый купим, сами же... — Оленьку было едва слышно.

— Нет, милая, не сами! Кран бракованный, вода не течет. Надо защищать права покупателей.

Тамара переполошила весь магазин, закатила скандал с криками и звонками в Роспотребнадзор, но смеситель все же обменяла на новый. Багровая Оленька несколько раз пыталась сбежать на улицу, но Тамара крепко держала ее за рукав дешевенького плаща. Вдвоем они и управились с этой проблемой.

И вот бачок этот злосчастный. Тамара саданула его отверткой. На улице громко выматерился Никита, зазвенели и хрустнули об асфальт пустые трехлитровые банки.

Потом, конечно, обзвонила приятельниц и узнала телефон мастера, который смог бы и сделать на славу, и последние колготки с Тамары не снять. По ночам бачок всхлипывал и гнусаво ныл, Тамара вертелась на жесткой кровати и бухтела, чтобы воспоминания об Оленьке проваливались на все четыре стороны. С комода на нее поглядывала фотография, которую Тамара выпросила у Насти на память. Рядом стояла рюмка с водкой, накрытая окаменевшей корочкой черного хлеба. Тамара уже подумывала, не начать ли ей разговаривать хотя бы со снимком.

А потом на пороге появился он.

— Здравствуй, хозяйка. — Серый невыразительный голос. — Показывай свою беду.

Поразмыслив, какую же из бед ему лучше показать, Тамара наконец махнула рукой в сторону туалета.

Позже она уверилась, что Виктора в одинокую ее квартирку послала судьба или небесные силы, но каждый раз ухмылялась этой мыслью и, чтобы глупостями голову не забивать, шла мыть полы и вывешивать сырое белье из стиральной машины. Виктор оказался неразговорчивым и спокойным, толстое брюхо нависало над худыми ножками-палочками, спина была горбатой, а руки мосластыми. Седые волосы он сбривал почти под ноль, часто кашлял и много курил, по нескольку раз за день бегая на балкон и пропитывая ажурные занавески горьким желтым дымом.

Тамара не противилась.

За первые десять минут он ловко перебрал внутренности в бачке, открыл вентиль с холодной водой, и унитаз не завыл ему в ответ. Виктор скромно улыбнулся:

— Руки можно помою?

В ванной он потоптался на резиновом коврике, глянул на кран и заметил как бы между прочим:

— И тут беда. Капает.

— Есть такое, — крикнула Тамара из коридора. — Но если я еще и кран куплю, то потом месяц его грызть буду.

— Я могу подтянуть. — Он намылil руки и, чуть подумав, добавил: — С большой скидкой.

— Буду рада, — ответила она и улыбнулась.

С тех пор он частенько заходил к ней: то кран починить, то за плитусами щели промазать, то в плите поковыряться... Тамара ходила за ним следом и спрашивала, не нужны ли мастеру чай или вода, а может, Виктор вообще согласится пообедать?

Виктор соглашался. Ел наваристый кислый борщ на говяжьей кости, закусывал печеночным салатом, а на десерт его ждали то рассыпчатые корзиночки с белковым кремом, то эклеры со сгущенкой, то... Теперь Тамаре было из-за чего вставать по утрам. Она даже телевизор на кухню переправила — честно говоря, попросила об этом Виктора, и он помог, даже денег не взял, — и теперь слушала любимые сериалы, не отрываясь от готовки. Да, пускай эклеры прилипали к непромасленному пергаменту, а борщ она то и дело забывала посолить, но гость ел с большим аппетитом и удовольствием. Когда Виктор пропадал надолго, шабашил в других местах, то она заранее мариновала куриные бедра, искала рецепты в толстых тетрадях с наклеенными газетными вырезками или выдумывала, чего бы такого соорудить.

На тоску по Оленьке времени почти не оставалось.

Пока однажды у Тамары не закончились грецкие орехи.

Виктор к тому времени предложил ей выложить плиткой полы на кухне — те были старыми и скрипучими, из-под каждой половицы дуло, а плитка будет на века, ни один ветерок не проскочит. Так, по крайней мере, уверял Тамару Виктор, и она соглашалась. Тем более что он



и с плиткой помог, договорился с кем-то взять подешевле — ее вроде как отколупали из бассейна в заброшенном детском лагере, но на вид она была очень даже ничего. И вот, замерзая даже в шерстяных носках (это Оленька купила их на улице у пропитой продавщицы, которая каждое утро доставала складной стол и вываливала сорочки, свитера и нижнее белье под льющийся с неба снег), Тамара готовила для Виктора свой любимый салат, «Белочку». Тертая сырая морковь, плавленные сырки «Дружба», вареные яйца — все щедро промазать майонезом и сверху присыпать жареным грецким орехом.

Орехов не было ни в одном навесном шкафчике. Даже прелых или сухих, даже с мелкими коричневыми жучками в одном пакете. Ничего удивительного — стояли грецкие орехи теперь столько, что Тамара могла позволить их лишь по праздникам. Но какая же «Белочка» без пары толченых орешков?..

В квартире у Оленьки скребли шпателями по стенам, сдирали мягкие обои, которые Тамара так любила разглядывать. Вот тут Оленька отмечала, как растет Никита. Там, за диваном, Настя пыталась нарисовать дракона зеленой гуашью, а потом долго редела из-за его кривых глаз и ушей. А вот тут Тамара, помогая подруге передвигать мебель, углом стола оставила глубокую царапину: «Но почти не видно же, Оль, ну чего ты куксишься, ну куплю я тебе рулон обоев»...

Оленька отмахивалась и повторяла, что тогда всю комнату переклеивать придется, а на такие подвиги она еще не готова. Теперь внизу разбирали шкафы и по досочкам выносили их к мусорке, ломали антресоли и сколупывали со стен краску...

Тамара вздохнула и засобиралась в магазин.

Когда она возвращалась домой с пригоршней грецких орехов, пакетом кефира и карамельками для чая, в дверях подъезда появилась раскрасневшаяся Настя. Тамара придержала дверь, поджала губы.

— Тамара Николаевна, здравствуйте! Так давно не виделись, я думала, что вы болеете... Как дела ваши?

— Хорошо все. Ремонт у меня, — сказала она и тряхнула пакетом с орехами, как будто они все объясняли.

Настя понимающе кивнула и перетащила через порожек очередной мешок с Оленькиными вещами.

Четыре дня прошло с похорон, прежде чем они бросились уничтожать Оленькину память. Не девять, не сорок. Четыре. Глупо было думать, что квартиру законсервируют, как музей, чтобы Тамара спускалась и бродила по комнатам, щупая теплые от батарей занавески и сдувая пыль с керамических ангелочков. За коммуналку надо было платить каждый месяц, последний ремонт Оленька затевала лет пятнадцать назад, да и вообще...

Из мусорного мешка выглядывало старое тусклое панно: олень на фоне лучей восходящего солнца. Металлический отблеск скользнул по картине, и Тамара застыла как замороженная.

Настя предложила ей:

— Заглянете? Мы столько всего сделали, хоть и разруха вокруг...

Тамара молча кивнула. Настя поволокла мешок на помойку.

В квартире стоял грохот — Никита перфоратором долбил перегородки, Настин муж Алексей сбрызгивал старые обои из пульверизатора. Тамара остановилась в облаке бетонной пыли и огляделась по сторонам.

Квартира осиротела. Из коридора пропали рога и зеркало с черными завитками, тумбочка упокоилась на свалке. В зале больше не было акварелек в рамочках, исчезла верба. Ничего тут не осталось от Оленьки, будто она и не жила здесь никогда. Разведенная в тарелках белая шпатлевка пахла мелом, пятна клея подсыхали на полу, а стены стояли серыми и пустыми. Тамара устало прислонилась плечом к разломанному дверному косяку.

— Вы тут не смотрите. — Это Настя выросла за плечами. Она добродушно улыбалась и тянула чумазыми пальцами Тамару за рукав: — На кухню зайдите лучше, там уже почти готово.

Тамара прошла на кухню в ботинках, прижимая кулек с грецкими орехами к груди.

Новые стены, белая потолочная плитка. И только линолеум прежний, истоптанный ботинками и исплеванный кляксами штукатурки. Тамара хмыкнула, подумав, что для такого свинтуса, как Оленька, это было бы даже не катастрофой. А вот в груди потянуло — обои с нарисованными шпротами и малосольными огурчиками в бледно-голубых клетках, которые Оленька привезла еще с Севера, тусклые шкафчики и старенькая плита, согревавшая Тамаре спину во время посиделок... Все исчезло. Другая кухня, совсем другая. Никаких растрескавшихся от корней цветочных горшков, никаких набросанных ложек и вилок на тумбе возле раковины, даже раковины больше нет.

— Красиво? — спросила Настя, стягивая с плеч рваную куртку.

Тамара кивнула. Сказала хрипло:

— Руки можно помыть?..

— Ой, — Настя засуетилась. — Только в ванной если. Но там грязно.

Не слушая ее, Тамара уже зашла в тесную клетушку. Знакомо мигнула лампочка под потолком. Тамара вечно на Оленьку ругалась:

— Я, что ли, тебе должна плафон покупать? Живешь как бомжиха! Одна жалкая лампочка на проводе...

— Мне хватает!

— Всего-то тебе хватает, ты бы и в коробке на мусорке жила и радовалась.

— А что плохого-то? — беззлобно улыбалась Оленька, но плафон все равно не покупала.

И вот она, лампочка. Вот она, ванна в ржавых потеках, такая же, как у Тамары, только в этой ванне лежит здоровенная кувалда, будто меч из камня торчит. Настя тут же влезла в Тамарины мысли:

— Ванну мы разобьем и на металлолом сдадим, чугунина же. Кафель положим, краску вот со стен топором сбивали, жуть. Тут еще выравнивать надо, пляшет все, но это кафельщиков работа.





Тамара сунула руки под кипятилок и стиснула зубы.

— Вижу, повыбрасывали уже все... А доска тут лежала поперек ванны, помнишь, на краю? Широкая такая, почти черная. Оленька туда тазы составляла, баночки и склянки.

С пальцев капала горячая вода.

Настя скрестила на груди руки.

— Помню, конечно.

— А помнишь, как ты в детстве под эту доску любила нырять? Смотрела, как капельки с нее в воду падают. — Тамара заулыбалась воспоминаниям. — Оленька тогда заглянула в ванную, а в воде только ноги твои, головы не видно... Оленька в крик. Я прибежала на помощь, мы тебя давай выволакивать, а ты вынырнула, воду выплюнула и затараторила, какие там капельки красивые. Оленьку чуть инфаркт не хватил.

— Не помню.

— Не помнишь? — Тамара заморгала. — Ты же каждый раз там пену под доску загоняла, булькала, играла...

— Может, вы перепутали что-то? Да и выбросили мы доску, гнилая она. Я пойду, там обои сохнут. Надо шпателем их ободрать.

Тамара закивала и поплелась к выходу.

«Белочку» с обжаренными орехами съели за пять минут, и Виктор принялся выкладывать пол мелким бледно-голубым кафелем. Тамара извинилась:

— Я прилягу, наверное. Справитесь без меня?

— Конечно, хозяйка. Отдыхайте.

А ночью, мучаясь от бессонницы, Тамара пошла к помойке. У плетеной сетки для пластиковых бутылок стояла икона в облезлой раме — выбросить икону в бак у Насти рука не поднялась, и Тамара прижала образ к себе. Над Оленькой, которая вечно с куличами бегала в церковь, а по субботам порой уходила на службу, Тамара посмеивалась, но теперь икона превратилась в Оленькину память и никак нельзя ее было оставить на улице. Тамара забрала еще и картину с оленем, вытянула из кучи строительного мусора в баке чудом уцелевший халат — черный, с зелеными завитками и мелкими темно-синими бутонами несуществующих цветов, Оленька часто в нем навевалась в гости. Халат пах морозом, гнилыми помидорами и ремонтом.

Тамара собрала все, до чего смогла дотянуться, поволокла к себе в квартиру. Только сейчас она заметила, что неподалеку все это время топтался сухонький старичок и бросал на Тамару тяжелые взгляды. Он поспешил к баку сразу же, стоило ей только уйти к подъезду.

Затошнило.

...Каждый день Настя с мужем и братом таскали строительный мусор, ленты обоев, доски, но теперь Тамаре стало чуть легче дышать. Только раз она отошла от окна, когда они всей толпой выволакивали замызганный и разломанный на половинки диван. В конце концов, не потащит же Тамара к себе и его в придачу?



Тем более что ремонт в ее собственной квартире не умолкал даже по выходным. Виктор сбавлял для Тамары цены, нахваливал ее пустые супы и гречку с луком. Пол на кухне обрастал кафелем, а Тамара присматривалась к Виктору со все большим интересом.

Он редко рассказывал ей о себе. Не женат, детей нет, всю жизнь работал на стройках и режимных объектах, а теперь шабашит, потому что невозможно прожить на пенсию в двенадцать тысяч рублей. клеит обои, штукатурит стены, развлекает Тамару. Горбатый и невзрачный, он слушал Тамару так, что она начинала скучать без него.

Сначала Тамара рассказывала про сериалы и политические ток-шоу, то и дело извиняясь:

— Вам это, наверное, совсем до лампочки...

— Почему, — отвечал он, орудуя сразу двумя шпателями. — Зато радио с собой брать не надо. С вами повеселей.

И Тамара знала, что он говорит это из вежливости, но все равно не уходила. Притаскивала табуретку, усаживалась и болтала обо всем на свете. От бесед о природе и погоде понемногу перешла к воспоминаниям, потом поделилась историей про Оленьку, и боль от потери, казалось, с каждым новым словом выходила из ее груди. Виктор кивал, почти не отвечая, но ей и не нужны были слова сочувствия.

Когда с кухней закончили, Виктор взялся чинить застекленный балкон. Его много лет назад сколотил местный столяр, который тоже приехал с Севера, но в жарком степном городе так и не прижился — уехал, оставив после себя балконы и шкафы из разномастных досок во всю стену.

Тамара куталась в шаль, застегивала сапоги и глядела, как Виктор прикручивает блестящие петли на дверцы.

— А детей... почему детей у вас нет? — спрашивала она тихонько.

— Не знаю. — Он пожимал плечами. — Не пришлось как-то.

Молчание. Скрип, звон падающих болтиков.

Тамарин тяжелый вздох.

— А вы?.. — Он едва ли не впервые задал ей вопрос.

— Врачи сказали, что никак. — Слова сорвались сами собой, и Тамара застыла. Виктор спокойно кивнул и завозился с новым болтом.

— А вообще, вдова я, никого не осталось. Только вы и заходите.

— Зато квартира какая красивая будет, а?

— Это точно.

Потом он выложил кафелем стены в ванной, переклеил обои в прихожей, покрасил шкафы. Что-то из этого она могла сделать и сама, но гораздо приятней было сидеть вот так на табуретке и говорить, говорить, рассказывать о жизни и видеть скупые кивки в ответ.

Она не верила в сказки. Понимала, что это сугубо рыночные отношения, да и не рассчитывала на любовь в их возрасте. Не строила планов, не давила на Виктора, замечала, как он иногда вздрагивает и морщится от ее слов, как прячет голову за сутулыми плечами, и уходила в другую комнату. Ждала его прихода на балконе и махала рукой, пока он весело



вышагивал к ней, размахивая тощим пакетом. Встречала на пороге и чувствовала себя девчонкой.

И так это было хорошо, так сладко, что не должно было заканчиваться никогда.

Первыми закончились деньги.

В очередной раз Тамара раздала долги и поняла, что жить ей почти не на что. Все ее сбережения, все гробовые ушли на плитку и обои, на клей и шпатели, на работу Виктора, да и нечего уже было ремонтировать или красить-белить, как бы они ни искали. Поняв, что больше ремонтов она не потянет, Тамара долго сидела на кухне и гладила стену с квадратиками белого кафеля. Сбоку на одном из них был острый скол, и она то и дело цеплялась за него пальцами.

А потом встала, выключила свет и пошла дышать на балкон.

На следующий день она накормила Виктора ватрушками с творогом, самым дешевым, почти без вкуса. Сама поела перловой каши, позвякивая ложкой по тарелке. Молчал по привычке Виктор, горбилась Тамара. Снизу гудел перфоратор, кажется, там вешали полки.

— Ну, с чем еще помочь? — спросил Виктор, устав вглядываться в бледное Тамарино лицо.

— Да нечего уже ремонтировать. — Она слабо улыбнулась, не поднимая глаз. — Весь дом в кафеле, красота, чистота. Ничего не капает, не скрипит. Спасибо.

— Да пожалуйста. — Он отодвинул от себя кружку с недопитым чаем, чуть расправил спину. — Может, походим, поглядим?

— Не думаю. Пенсии у меня впритык, только на макароны и осталось, видите, даже разносолами не кормлю. Да уж, такая жизнь у современной пенсионерки.

Он покивал вежливо. Поглядел на разложенные инструменты, потер глаза.

— Ну что, прощаться тогда будем?

— Будем.

В прихожей он с трудом натянул куртку, долго возился со шнурками на ботинках. Тамара стояла рядом и куталась в шаль, хоть от жара из нагретой кухни на лбу уже выступили капельки пота.

— Вы это... — пробормотала она хрипло. — В гости заглядывайте. Чаю поьем, пообщаемся.

Лицо его вытянулось.

— Зайду, — соврал он. — Потом когда-нибудь. Работы сейчас много.

— Заходите. Я буду ждать, — не соврала она.

И дверь закрылась.

Она еще видела его, когда Виктор прибежал в квартиру к Оленьке: кажется, он договорился с Настей по поводу кафеля и теперь сутками пропадал вниз. В стены долбили, стены сверлили, стоял грохот и гам. Стук бил Тамару по голове, она пряталась под подушкой и мечтала, что



этот кошмар скоро закончится. Она снова притащила телевизор в комнату, теперь уже сама, но от мыльных опер тошнило, а визгливым участникам ток-шоу хотелось двинуть по физиономии.

В окнах напротив расцветали гирлянды, дворники по утрам расчищали дорожки, и Тамаре хотелось выйти на улицу и попросить лопату. Она гуляла по вечерам, общалась с собачниками — чаще всего приклеивалась к неторопливой Гуле, толстенькой и добродушной, но Гуля на все Тамарины рассказы отвечала только: «И не говорите... Это точно... Да-а-а, ну и жизнь...» А потом подхватывала мопса и торопливо скрывалась в подъезде. Раньше стареньких мопсов было два, потом остался один, да и тот вечно заваливался на бок или, увязнув в сугробе, жалобно звал хозяйку на помощь. Все окрестные соседки гадали, когда же Господь приберет к себе и этого бедолагу.

Понемногу прогулки сошли на нет.

И Тамара отлеживала бока на кровати, смотрела новости и пекла хворост на водке, а потом уплетала его вечера напролет. Жирные бока становились все жирнее, на бледном лице проступили морщины и красноватые прыщи. Тамара вспоминала то Оленьку, то Виктора и мечтала, чтобы у нее сломались стиральная машинка, унитаз и отвалился весь кафель на кухне. Подумывала даже взять кредит на очередной ремонт.

Вечером тридцатого декабря в дверь позвонили. Тамара долго сползала с кровати, охала и проклинала беспомощное тело. Позвонить успели еще три раза, прежде чем Тамара распахнула дверь.

Настя держала в руках легкий пакет и выглядела встревоженной:

— Тамара Николаевна, у вас все хорошо?

— Нормально, — каркнула Тамара и сразу устала от этого разговора.

— Я это... Слышу, что кашляете.

— Продуло немного.

— Это бывает, да... Помощь не нужна? В аптеку сходить, за продуктами?

— Пока справляюсь.

— Это хорошо. — Настя достала из пакета две светло-зеленых коробки. — Это грудной сбор, мамин. Она побольше брала, когда скидки... Вот я и подумала, вдруг вам пригодится.

— Спасибо, — Тамара нехотя улыбнулась. — Еще что-то?

— Да. Я в шкафу нашла конверт... Там было написано: «На Новый год для Томочки». Вот, к празднику и принесла.

Тамара молчала. Глядела на желтый конверт с маркой в три копейки, нарисованной в углу.

Несколько лет назад Тамара подарила Оленьке на Новый год ангела с проволочными крыльшками, а Оленька ей — фарфорового тигра. На следующий год Тамара выбрала косоглазого Деда Мороза, а Оленька — елочку с криво нарисованными шариками. Еще через год Тамара подарила огромный пакет стирального порошка, а Оленька — шкатулку с балериной.





И Тамара не выдержала:

— Мы так и будем пылесборниками обмениваться?

— Почему пылесборниками? — Оленька поджала губы. — Красиво же...

— А я предлагаю дарить полезные вещи.

— Например?

— Например, хлебопечку. Буду тебе буханки таскать, свеженькие.

— А мне путевку на Мальдивы тогда, — сощурилась Оленька.

— Сдурела?! Чего ты забыла на Мальдивах этих? И откуда я денег столько возьму?

— А, ну то есть на хлебопечку мне денег хватит? — Не хватит разве? В складчину если, конечно.

— Нам и в складчину не хватит! — всплеснула руками Оленька. — Не подойдет.

— Давай тогда придумывать, что лучше.

И Оленька придумала. Подарила Тамаре лотерейный билет и приписала сбоку: «На хлебопечку для попрошайки».

И вот она, новая лотерейка. Каждый год они обменивались билетами, вместе смотрели программу и зачеркивали номера, а потом хором ругались, что это все обман и лохотрон. Только раз Оленька выиграла пятьдесят рублей, но это даже не окупило стоимость билета. Подруги все равно не сдавались, надеясь, что рано или поздно разбогатеют, купят хлебопечку и отправятся на Мальдивы, перед этим обязательно наделав бутербродов из свежего домашнего хлеба.

Тамара в этом году билет не покупала. А Оленька, надо же, умудрилась поздравить даже с того света.

— Вот Олька, вот артистка... Насть, ты, может, чаю хочешь?

— Нет, спасибо, дела у меня. А знаете что? Приезжайте к нам завтра праздновать! Чего вам одной куковать?

Она выпалила это одним махом, и в глазах мелькнул страх. А вдруг эта тетка и вправду согласится?

— Нет уж, я новоселья дождусь. — Тамара закашляла в кулак. — А вы зовите, если что. Не пропадите.

— Не пропадем, — горячо сказала Настя.

Тамара вернулась в комнату, выключила телевизор и положила лотерейный билет на стол. За окном, медленно оседая в белом фонарном свете, кружились пухлые снежинки. Тамара подумала, что если бы она жила в сказке, то Виктор пришел бы к ней завтра с елкой, помог достать облезлую мишуру и стеклянные шарики с антресолей, а потом долго хвалил тарталетки с имитированной щучьей икрой. Они бы непременно выиграли в лотерею, и им хватило бы если не на Мальдивы, то на очередной ремонт.

Но Тамара знала, что никаких денег она не выиграет и никакой Виктор к ней не придет.

И все равно улыбалась.

Не знала она, что устроит дебош у Насти на новоселье, перебрав с беленькой. Не знала, что придет мириться с медовиком в руках и Настя на новой Оленькиной кухне будет фальшиво нахваливать Тамирину стряпню. Не знала, что одним осенним днем она проснется от младенческого крика в квартире снизу и только тогда поверит, что Оленьки больше нет. Не знала, как будет ходить кругами вокруг дома, чтобы разогнать жир с боков, а потом возвращаться и играть с Мишкой, Оленькиным внуком.

Всего этого она не знала и знать никак не могла, а поэтому просто сидела и смотрела на снег.

Широкая улыбка не сходила с ее лица.



Лаза ЛАЗАРЕВИЧ  
**ОН ЗНАЕТ ВСЕ!<sup>1</sup>**

Р а с с к а з

От переводчика

Лазар (Лаза) Лазаревич (1851—1891) прославился в первую очередь как выдающийся сербский медик — невролог и психиатр. Сын купца из Шабаца, он окончил медицинскую школу при Берлинском университете, вернулся в родную Сербию и уже в тридцатилетнем возрасте был назначен главным врачом Белградской государственной больницы. За оставшиеся десять лет жизни он успел поучаствовать в трех войнах, дослужившись до подполковника, основать Отделение лечения стариков и Больницу душевных болезней, а затем даже стать личным врачом короля Милана Обреновича. Лазаревичем написаны десятки научных работ по медицине, но куда более широкую известность в Сербии и за рубежом получили другие его произведения — реалистические рассказы и повести, написанные прекрасным слогом, с мягким юмором и большой любовью к героям, соотечественникам автора. К сожалению, рассказов этих немного, меньше десятка, но это не мешает сербам считать Лазу Лазаревича классиком национальной литературы, создателем сербской психологической прозы.

Прекрасно образованный, отлично знавший русский, немецкий и французский языки, Лаза Лазаревич начал свою литературную деятельность с переводов на сербский Гоголя и Чернышевского. Известность ему как автору принес рассказ «Впервые с отцом к заутрене» (1879), за ним последовали «Школьная икона», «В добрый час, гайдуки!», «Вертер», «У колодца», «За народом не пропадет». В 1886 году все они вышли под одной обложкой в сборнике «Шесть рассказов». Проза Лазаревича эмоциональна, певуча, лирична и патриархальна в лучшем смысле этого слова. Изображает он в основном жизнь простых людей, а самые проникновенные строки посвящает отношениям между детьми и родителями и, даже показывая конфликты между ними, раз за разом напоминает о ценности семейного

---

<sup>1</sup> Перевод с сербского М. Сердюка. — Прим. ред.

тепла, родственного взаимопонимания и поддержки. Уже после смерти автора вышла его «Немка» — автобиографическая эпистолярная повесть о любви.

В России некоторые рассказы Лазаревича переводились и с 1887 года печатались в «Русском вестнике», «Вестнике Европы», «Русской мысли», «Мире Божьем». Так что русскому читателю конца XIX века имя сербского новеллиста было хорошо знакомо, чего не скажешь о наших современниках.

В томском издательстве «Гусеница», которое выпускает сербскую литературу на русском языке, готовится к печати сборник произведений Лазы Лазаревича, где наряду с переводами XIX века будут и современные. Один из таких новых переводов — перед вами.

Рассказ «Он знает все!», написанный в 1889 году, — последнее произведение Лазы Лазаревича. За него автор получил премию Сербской королевской академии. Проникнутая ярким южнославянским колоритом история двух братьев, рассказанная их старшим родственником, заставляет и улыбнуться, и посочувствовать, и вновь задуматься о ценности родных и близких людей.

Михаил Сердюк

В те времена людям некогда было ни прилечь, ни присесть, даже ложкой порой не в рот, а в нос попадали — на ходу ели... Но начну-ка я с начала!

Нельзя сказать, что Вучко не учился, но вел он себя жуть как плохо! Иначе бы не выгнали его из школы. Не знаю, как на нас, прочих, но на него школа не оказала никакого воспитательного влияния.

Он ведь, помимо всего прочего, еще и тонул, и даже трижды. А ни один хорошо воспитанный ребенок такого делать не станет. Трижды! Дважды в Саве, во время купанья, а один раз — в пруду, когда провалился под лед... Его секли перед всеми четырьмя классами — за то, что прямо на рынке выпряг коня из цыганской повозки и проскакал на нем верхом по всей торговой части города. В скамейке парты перед собой он сконструировал тонюсенькую дырочку, а в ней спрятал иглу на ниточке: когда кто сядет на то место перед ним, он только дернет за нитку — и готово! А когда поднимешься — не видишь ничего. Разумеется, эта его пакость не могла скрыться от учительских глаз — ведь тот, кто сидел перед Вучко, всегда по два-три раза за урок вскрикивал и вскакивал, хотя руку не поднимал.

Вот какой он был!

В тот судьбоносный день он, как и всегда, был нашим царем. А с другой стороны предводительствовал Джокица Джурич. Этот Джокица, очень мудрый царь и очень осторожный воевода, спрятал главную часть своего войска в хлеву у себя во дворе и лишь слегка тревожил нас то изредка высылаемыми из дровяника отделеньями, то стрелковой цепью из-за дощатого забора. Мы, набив карманы камнями, одной



атакой преодолели забор и оказались во дворе. Тогда сверху, с хлева, из слухового окна в нас полетели камни — да так густо, что наш центр в беспорядке отступил, а фланги и вовсе полезли через забор обратно. Ике разбили голову, а Маркича ударили в спину так, что он стал плакать и оставил боевой порядок, угрожая, что завтра всех нас заложит учителю.

Вучко, наш царь, видя, что в войске резко падает моральный дух, скомандовал:

— В атаку!

Но никто не решился атаковать укрепленного неприятеля.

Тогда Вучко тоже вернулся к нам, перепрыгнув через забор, вынул ножик и заорал:

— Каждого проткну, кто в атаку не пойдет!

Тут нам стало не до шуток! Мы тотчас же снова оказались с вражеской стороны забора и слаженно полетели вперед, крича «ура» и лупя камнями в слуховое окно. Неприятель поколебался и быстро оставил позиции. Видя, что отступить им некуда, враги прямо из окна попрыгали вниз на кучу навоза. Одни сдались, другие попытались найти спасение в бегстве. Их разъяренный царь Джокица неустрашимо пролетел промеж нас прямо к Вучко, молотнул его каким-то дрыном по голове и тут же пустился наутек. Но Вучко рванулся за ним, догнал и ткнул его ножиком в ягодицу. Кровь проступила сквозь штаны. Мы с визгом разбежались и расселись по забору, испуганно ожидая, чем все это кончится. Тогда прибежали старшие — и отвели Вучко в тюрьму. В настоящую тюрьму! Где сидят настоящие задержанные! К исправнику!..

Вот тогда-то, во втором классе гимназии, его и выгнали из школы.

Нам словно полегчало! Не то чтобы мы его ненавидели — сейчас-то я думаю, что мы ему просто по-настоящему завидовали и — боялись его. Да и как его было не бояться? Его, который не боялся никого!..

Хотя — все-таки!

Брата своего Видака он боялся как бога!

И тому Видаку, который тогда был калфой<sup>2</sup>, жаловались на Вучко и мы, и их бедная мать, и учитель, а позже даже и сам директор гимназии.

Хотя тот на многие проделки Вучко смотрел сквозь пальцы, но, когда их мать умерла, никто больше не приходил к директору причитать и плакать, поэтому в тот же день, когда Вучко выпустили из тюрьмы, выгнали его и из школы. Его — Вучко Теофиловича!

После этого брат его Видак устроил так, чтобы Вучко приняли учеником в ту же лавку, где сам он был калфой. И там, говорят, Видак его злодейски избивал. Даже, говорят, ногами топтал!

С той поры Вучко пропал с наших глаз, но воспоминания-то остаются, поэтому еще долгое-долгое время был он нашим героем, нашим недозволенным идеалом.

<sup>2</sup> Калфа (от тур. «помощник в ремесле») — подмастерье, приказчик. Здесь и далее — примеч. перев.

Мы уже, пожалуй, оканчивали лицей, когда брат его Видак начал работать на себя и взял младшего к себе в лавку калфой. Говорят, что с того времени Видак больше и пальцем брата не тронул. А почему бы и нет?

Как-то раз отправил его Видак за кредитом. Вучко приехал в нужный городок, получил кредит и тут же проиграл все в карты! Как говорится, и над попом поп найдется... Тут он поначалу растерялся: домой теперь нельзя, а куда — не знает! В то же время некий цыган, который водил по ярмаркам медведицу, разболелся намертво. Вучко снапал эту подвернувшуюся медведицу — и давай водить ее по улицам! К вечеру у него уже было столько денег, что он опять попытал счастья за картами. И еще до полуночи настолько привел в порядок свои финансы, что заря его застала уже на пути домой, далеко от того места.

Говорят, что с той поры в карты он больше не играл, но азартная страсть у него осталась, найдя свое выражение в игре в крейджер. Игре, которая, как вы знаете, практически исключительно детская. Но он продолжал ею забавляться, давно выйдя из детского возраста.

Также говорят, что Видак ему ни слова сказать не захотел, когда услышал, что с ним в том городке приключилось.

Какой-нибудь приятель, бывало, спрашивает Видака:

— Слушай, что ты своего малого не поприжмешь?

— А с чего бы?

— Да ведь, слушай, это ж не мелочи! Он так однажды все твое имение спустит!

— Не сможет он его спустить, да и не захочет; не будет у него на то ни возможности, ни желания, — отвечает Видак небрежно.

— Да ведь, понятное дело, что не захочет — а если все же ненароком такое учинит? А после увидит, что деваться некуда, а тебя он боится... П-и-их! Может ведь и руки на себя наложить!

— Каждый сам себе и своей голове господарь, — отвечает Видак, позеленевши. — Вот и тебе, — продолжает он, дрожа от злости, — лучше бы за своими делами смотреть. Ты, мне кажется, никого из нас, братьев, хлебом не кормишь, и ни один из нас тебе не должен!

Тот приятель, конечно, видит, что здесь не стоит зубы тупить, ну и отстанет.

Но именно с того дня Видак стал как-то мягче, как-то дружелюбнее относиться к Вучко.

Прежде он обращался к брату так:

— Иди-ка сей же миг к Маринко-лавочнику, передашь ему, что я сказал!

А с той поры стал говорить иначе:

— Слетай-ка, ей-богу, до Маринко-лавочника и проверь там, как ты умеешь, наши с ним дела...

Прежде он с Вучко говорил больше взглядами — на слова он вообще был скуп, всякое его слово дорогого стоило, — а с той поры выбрал этакий





натянато-интимный тон. Только, как и прежде, не делал ничего, похожего на какое-то изъятие любви и братской нежности. Доверял младшему брату, как и раньше, безгранично, и всегда для обоих кроил одинаковое платье. И это все!

Еще, правда, давал он Вучко и своего гнедого, чтобы съездил куда при случае. А больше — никому! Да, по правде говоря, вряд ли кто другой, кроме них двоих, смог бы усидеть на том гнедом.

В те времена людям некогда было ни прилечь, ни присесть, даже ложкой порой не в рот, а в нос попадали — на ходу ели... Ну да Бог поможет!

За несколько лет Видак выбился в первые хозяева и однажды явился свататься к моей двоюродной сестре — к Илинке, дочери дяди Тодора.

Сватовство и обручение состоялись одновременно — обычное дело для тех времен. Дядя Тодор кликнул несколько своих приятелей, Видак пришел с братом и с несколькими знакомыми. Вучко нашел шаркияша<sup>3</sup> и вольнщика.

В комнате царила тихая холодная торжественность — словно на станции, когда уже три раза прозвенело, вагонные двери закрыты и ожидается лишь писк локомотива.

Встал поп. Встали и Видак с Илинкой.

Поп произнес «несколько поучительных слов о браке». А потом спросил их двоих, согласны ли пожениться. Ответили, что согласны.

Потом начали целовать руки. Сперва попу и дяде Тодору, а затем по очереди старым людям.

Их поздравляли. И вот уже словно поезд захотел тронуться, и Стоян Приклапало подмигнул цыганам, чтобы те заиграли, а девушкам — чтобы те принесли вина, и Илинка пошла на кухню, как Видак вдруг поднялся и окликнул:

— Илинка!

Она вытянулась как свеча, опустила глаза и покраснела.

— Видишь ли, — промолвил Видак как-то слишком серьезно, — тут еще есть чему совершиться этим вечером... Первое: вот тебе перстень!

Он снял с руки перстень и протянул ей. Илинка его стыдливо приняла двумя пальцами.

Тогда Видак повернулся к брату, бросив на него один из тех взглядов, которыми смотрят на хорошо воспитанных детей, когда нужно, чтобы те вышли из комнаты:

— Сбегай-ка домой, посмотри — погасили младшие огонь в печке?

Вучко выбежал раньше, чем Видак договорил свое приказание.

Тогда Видак повернулся к Илинке:

— Есть еще кое-что! — говорит он. — Видишь: это мой брат. Ты его уже знаешь. Он хоть и немного ребячлив, но ему пока так и подходит...

<sup>3</sup> Шаркияш — музыкант, играющий на шаркии (балканский щипковый струнный музыкальный инструмент с двумя-четырьмя струнами, разновидность тамбуры).



Нет у него ни отца, ни матери, но он не сирота! Есть кому о нем позаботиться! Лучше всего будет сейчас тебе это сказать... Запомни: сперва за ним смотришь, а уж потом за мной... Хочу, чтобы были у него рубашка к рубашке, носок к носку! Первым делом хочу, чтобы ему умыться попила, а уж потом — мне; его угостишь, а уж потом — меня. И ни обидеть его не смей, ни огорчить, а уж меня — как захочешь... Вот! Это и ты, газда<sup>4</sup> Тодор, услышь!

Дяде Тодору словно бы не по душе такое соглашение. Он нахмурился и лишь отмахнулся:

— Это ваши дела!.. Как вы двое договоритесь.

— Э, да так ли будет, Илинка? — обратился Видак опять к ней.

Она кивнула.

— Одно лишь это и запомни! А теперь... теперь можешь идти, куда шла!

Она вышла. Сразу внесла вино и всяческие закуски. Быстро Стоян Приклапало начал произносить здравицы. Общество развеселилось. Со двора слышится игра волынщика и топот ног в такт. На кухне Вучко среди девушек, феску надвинул на глаза, а шаркияш у него за спиной бьет по струнам и отсекает:

Посильней ногою топну,  
То-то пыли подниму!

И в комнате цыгане налегли подбородками на скрипки. Бубен до мозга пробивает! Вино — как громом оглушает!

Когда я через три года вернулся домой, тут же поспешил к Илинке.

Войдя, я сразу увидел в глубине двора, у забора, прислонившегося к колодцу Вучко. Я решил обойти вокруг домика, чтобы появиться перед ним неожиданно. Но как только подошел ближе, за забором сверкнул чей-то глаз, и я, судя по покрасневшимся щекам Вучко, сразу заключил, что это rendez-vous. Хотел было потихоньку спрятаться, убежать, но в этот миг тот глаз меня заметил! Девушка за забором словно взвилась, вспорхнула на целую сажень над землей — и умчалась к своему дому.

Вучко сперва недоуменно посмотрел ей вслед, лишь потом заметил меня; притворившись, что меня не видит, он начал ревностно дырявить сверлом какой-то деревянный кругляшок, который держал в руке.

И я, конечно же, вышел к нему довольно неуклюже.

— Эй, что это ты там мастеришь?.. Помогай бог! Как дела?

Он вскочил и расцеловался со мной:

— Помогай тебе бог! Слава богу! Как ты? Вот, делаю тележку моему малышу племяннику!

<sup>4</sup> Газда (серб.) — хозяин, собственник, работодатель. Также используется как обращение в значении «богатый, уважаемый человек».



Мне не терпелось повидать Илинку, которая еще два года назад родила.

После всех обязательных и необязательных вопросов я сказал ему, чтобы отвел меня к ней, — хочу, мол, увидеть и ее, и ребенка.

Боже мой! Какое изменение! Из девочки — в цветущую женщину! Она вышла ко мне словно тот памятник, который я видел в день его открытия посреди голой площади, а теперь вокруг него раскинулся ухоженный и величественный парк.

И какого дивного ребеночка держала она на руках!

Спрашивал я ее обо всем. Хотел и еще кое о чем, но как-то стеснялся. Наконец едва выговорил:

— Ну как живешь-то?

— Хорошо!

— Знаю! А Видак?

— Ты о чем?

— Видак! Как он о тебе заботится? Какой он муж?

— Заботится обо мне, как и отец бы обо мне заботился, и, прости господи, даже больше. А добр он как добрый день, да еще и знает все!

— Как это: знает все?

— Ну вот так: знает все! О чем чего ни скажет — так и выходит! Каждое слово его свято!

— Э, э, Илинка! Ты со мной говоришь как с чужаком. А ведь я-то знаю, что Видак — простой человек!

— Простой, так и есть. Но ты только посмотри: ни в каких высших школах не учился, а притом все науки знает!

— Знает, поди, и как земля вращается?

— Ну да, знает!

— Что знает?

— Ну, как земля вращается!

Я остолбенел от удивления. Конечно, я и не думал вести таких безумных разговоров, язык меня как-то сам повел. Теперь же меня разоблало любопытство.

— Ну хорошо — а откуда он знает, как земля вращается, и откуда ты знаешь, что он будто бы это знает, и с чего бы ему тебе об этом рассказывать?

— Э, да он мне про все рассказывает, о чем ни спрошу! Я его спрашиваю, а он мне рассказывает. Я — вот как раз о том, про что говоришь, — нашла как-то на горшке с повидлом одну бумажку, а на ней что-то было написано про землю, ну я его и спросила, а он мне все и рассказал. Так и есть, ей-богу! И говорил, что того, кто догадался, что земля вращается, убить хотели! Этого... Гуттенберга!.. Его же Гуттенбергом звали?

— Нет! — говорю я, все еще остолбеневший.

— Э, ну не знаю теперь, — продолжает она простодушно. — Не помню точно, как его там звали... Впрочем, Гуттенберг ведь тоже что-то придумал!.. Так ты видишь теперь, что он знает все?



— Вижу, вижу!

Ее глаза победно засветились. Она схватила меня за руку и ввела в большую комнату. На полке под иконой аккуратным рядком стояла дюжина красиво переплетенных книг.

— Видишь, — она гордо показала на них рукой, — видишь? И все это он знает! И мне много рассказывает. Вот!

И начинает монотонно, с ударениями, читать вслух:

— «Жизнь и чрез-вы-чай-ные приключения слав-ного англичанина Робинзона Крузо»... Знаю! Это тот, у которого корабль потонул, ну он после... П-и-их!.. Он все это мне рассказывал!.. А это «Ру-ко...»... Знаю! Это «Руководитель»! Здесь есть все: даже про всякие лекарства есть, от любой болезни!.. А это...

— Оставь, прошу тебя, книги! Книги меня из дома выгнали!

Мы замолчали. У меня словно помутнело в голове. Поиграв немного с ее ребенком, я опять завел разговор:

— Слушай, Илинка, ну а этот Вучко?

— Что?

— А с ним как ты ладишь?

— Хорошо, бог с тобой! Как же иначе, если не хорошо? Он мне деверь!

— Знаю. Но ведь он...

— Что?

— Ну, мягко говоря, недоумок!

Она покраснела:

— Скажешь тоже — недоумок!.. Просто он пока еще дитя малое!

— Малое? Это потому, что до сих пор в крейцер играет? Да это дитя... — Я хотел сказать «уже усы за уши заправляет», но это не было правдой, а с Илинкой образно говорить не стоило.

— Ей-богу, дитя. И, слава богу, есть кому о нем позаботиться! Он... — Она весь наш разговор называла своего мужа только «он». — Он ему то же, что и мне: и за отца, и за мать! Пока он у нас есть, мы можем быть спокойны, все у нас будет хорошо. Ни голодать не будем, ни еще что-нибудь... Он знает все!

— Хм! А пьет ли это дитя? — Я намеренно выделил голосом «дитя» и показал рукой на двор, где Вучко делал тележку племяннику.

— И пьет, и курит, но только не при нём! Я ему, бывает, подбрасываю лишний крейцер на табак и прячу его пьяного, чтобы он его не видел.

— Хм! Не нравится мне это. Стоило бы твоему мужу его немного поприжать.

Она положила уже заснувшего сына на подушку и сердито обернулась ко мне:

— Я тебе говорю: он лучше знает, что делать! Он знает все!

— Ну хорошо, хорошо!

Как сладко мне все это вспоминать...





В те времена людям некогда было ни прилечь, ни присесть, даже ложкой порой не в рот, а в нос попадали — на ходу ели... А со стороны выглядело так, словно все шло само собой — и пилося, и пелось, и веселилось!

Разудалый наш приятель Павел был и торговец хороший, и молодец хоть куда!

Когда однажды в воскресенье нам, немного окосевшим после обеда, вывели оседланных коней, я думал, что Павел и шагнуть-то не сумеет. Ну какой ему, пьяному, конь? Он и по земле-то шел раскачиваясь, а на коня взбирался, словно на грушу лезет... Но лишь оказался в седле — сразу другой человек! Как влитой! Конь поднял голову, фыркнул, скакнул разок-другой, да и встал как вкопанный. А Павел лишь стыдливо улыбался, утирая нос рукавом и поглаживая коня ладонью по шее...

Когда мы выехали из городка, Видак сразу же отделился от компании и пустил своего коня выплясывать по траве вдоль дороги. Его гнедой переливался на солнце почти как надраенный щеткой таз. Он был той редкой арабской породы, кони которой до недавнего времени были у нас в большой цене, а сейчас их, почитай, совсем не стало. На длинных ногах, с коротким телом и шеей, широкой грудью, на маленькой изящной морде широченные ноздри и большие глаза. Голова и ноги — сплошь одни кости да жилы, а по крупу вдоль обычно идет этакий желоб, и из желоба того вытягивается прямо назад и чуть кверху хвост, который разными щегольскими способами расчесывают, заплетают, а в тяжелые времена, когда не до роскоши, можно и просто узлами завязать.

У таких коней — по их норову ли, по худой ли дрессуре? — и близко не было той достойной холодности и прирученности, которую покажет любой обычный араб или англичанин, даже когда шибанешь его хлыстом или наподдашь по брюху шпорами. Напротив: они всегда бывали столь дурного нрава, что лишь безумный всадник смел оседлать безумного коня. Совет конь шею так, что жилы набрякнут, развалит ноздри, распахнет челюсти и ну прыскать пеной — дрожит как осиновый лист, словно с тяжкой гонки возвращается, а не только что со двора вышел. Тогда бойся его! Ничто не поможет — даже те немилосердные удила, у которых мундштук глубоко в глотку коню забивается. Охваченный, вероятно, каким-то тщеславием, он со звериным восторгом несет своего всадника, думается, прямо в смерть! Но и всадник не лыком шит: надвинет феску на ухо и сидит в седле легко и небрежно, как дитя на качелях. Вот такого удалца конь уже признает, его терпит, а вероятно — и любит, даже словно гордится им, и тогда несутся они оба так, что всаднику легко рукой до облака достать.

Но тот же самый конь, когда поедешь по торговым делам, когда перекинешь ему через спину вьюки да затянешь ремешки седельных сумок, — пойдет тем шагом, что зовется «ровным», и никакой тебе тут скаковой

удали! Он даже умеет перед пивной сам подойти к бинекташу<sup>5</sup> и ногой подавать знаки, которые трактирщики уже понимают — соответственно и выносят кому вино, а кому кофе и ракию...

Мы все ехали по широкой дороге, играли и перестраивались, слушаясь Павла, который скакал чуть впереди и, изображая старшего, командовал нами по-военному. Один лишь Видак как-то отделился от компании и все скакал по целине вдоль дороги. Конь его по-заячьи подпрыгивал и, где бы ни увидел какой-нибудь поломанный куст, канаву, колоду или лужу, уже издали сердито взъерошивался и фыркал, зная, что Видак сейчас заставит его перескочить. Хотя у всех нас тоже были хорошие кони и мы вполне полагались и на них, и на себя, мы все же с едва прикрытым удивлением поглядывали на Видака, который с какой-то необычной легкостью и небрежностью, но при этом прочно и уверенно сидел на своем гнедом. А гнедой был весь в пене, как намыленный, и из той пены пугающе алели ноздри — как два красных ночных фонаря на локомотиве. Он словно наблюдал за нами искоса своим блестящим глазом; и, вероятно, видя, как мы им со стороны любимся, метался рывками то в одну, то в другую сторону, резко рвался вперед или вставал на дыбы, когда Видак слегка его касался то одним, то другим, то обоими стремями.

Верховая езда опьяняет, как вино. Поскачет человек от дома со вполне миролюбивыми намерениями, но стоит лишь ему оказаться в веселой компании и закататься в седле — такой всадник словно сознание теряет, убаюканный какой-то героической мечтой! Чем веселей компания, тем и кони беспокойнее, и ты уже механически отпускаешь поводья, поддаешь икрами, и тогда уже летишь куда-то, куда тебя сама душа твоя ведет, словно несет тебя конь под облаками, лишь на мгновения задевая копытами землю.

Ехавший чуть впереди Павел, конь у которого среди нас был, пожалуй, самый лучший, вдруг повел его боком и некоторое время пристально рассматривал Видака на его гнедом. Вероятно, Видака этот взгляд несколько раздражал, — обернувшись в нашу сторону, он вдруг гикнул:

— А теперь — ха!

И пустил коня вскачь. А мы тоже, по сильнее надвинув фески, отпустили поводья, икрами сжали своим коням бока — и только ветер в ушах засвистел, да глаза заслезились.

Так мы летели несколько секунд: Павел впереди, я сразу за ним; в каком порядке скакали за нами остальные, я не знаю. Только вдруг меня словно ветром обдуло: я, прижавшись к коню, почти лежа на нем, отчетливо видел лишь мелькавшие впереди копыта задних ног Павлова скакуна, но краем глаза заметил, как Видак на своем гнедом пролетает мимо меня, обгоняет Павла и стремительно удаляется куда-то на край света!

Павлов конь ненадолго опередил моего. Вижу, Павел высоко поднял правую руку. Может, он что и крикнул, но кто ж его услышит? Разве

<sup>5</sup> *Бинекташ* — специальный камень (тумба) для удобства посадки на коня.





что я... Только вижу, что скакавшие за мной стали придерживать коней. Сейчас все мы, вновь сблизившись, просто неслись вперед, чтобы Видак не пропал у нас из глаз. А он снова свернул с дороги на траву и погнал коня прямо к заросшему терновником высокому берегу. Мы еще чуть придерживали коней, когда Видаков гнедой внезапно оторвался от земли, поджав под себя ноги, и взлетел над кустами. Словно кто его понес! Вот он уже с той стороны! Но вдруг он так же внезапно исчез, и мы разглядели, как Видак, словно выпущенная из лука стрела, уже один летит головой вперед! И пропал за стеной терновника!

Павел вскрикнул:

— Видак погибает! — и наподдал коню по животу стремями.

Мы припустились за ним и вскоре прибыли к месту плачевного зрелища.

С той стороны кустов, в двух-трех шагах от берега, мы увидели опрокинутый плуг, меж рукоятей которого застряли передние ноги гнедого. Конь лежал на боку, вытянув челюсть как мертвый, бока его ходили ходуном, от него поднимался пар. Перед ним, с переброшенной через конскую морду ногой, зарывшись лицом в землю, лежал на животе Видак — казалось, совершенно без признаков жизни.

Павел — единственный из нас, кто перескочил кусты на коне и первым домчался до Видака, — увидав того бездыханным, соскочил с коня, забросил поводья за луку седла и хлопнул себя по лбу так, что слетела феска, горько и жалобно выкрикнув:

— Й-их, й-их, бедняга!

Затем пал ниц возле Видака, сунув локти под лицо, и затрясся, громко всхлипывая.

Не знаю, кто из нас оказался самым хладнокровным и перевернул Видака на спину. Из рта его пузырилась кровь, все лицо было измазано — кровью и вспаханной землей. Глаза закатились. Не знаю, дышал ли он.

Павел то и дело поднимал голову и смотрел на Видака, но всякий раз, вскрикнув: «Й-их, ты, бедняга!», быстро вновь прятал лицо, думая, наверно, что, пока он так жмурится, весь этот страшный сон переметнется обратно в веселую явь.

Упавший гнедой сейчас не был Видаку удобным соседом, поэтому кто-то, потянув за рукоятки, вытащил плуг из-под коня, а затем пнул того ногой в живот. Известно, как неуклюже и безнадежно выглядит это быстрое и бесстрашное животное, когда падает, особенно набок. На первый удар гнедой только всхрапнул, но на второй и на третий стал неловко опираться ногами о пашню и, под упорные понукания с двух-трех сторон, поднялся. Встал как вкопанный — и с каким-то растерянным недоумением и страхом стал смотреть на эту суету вокруг себя.

Мы тоже стояли как безумные, не зная, что нам делать. Кто-то утер Видаку подолом кровь и землю с лица, но он не очнулся. Мы договорились искать какую-нибудь повозку. Кроме Павла, все вскочили

на коней и разлетелись в разные стороны. И воротились мы ни с чем, и опять разбежались, и в конце концов кто-то привел с собой хорошие дроги.

Переворошив в повозке сено, мы уложили на него Видака: теперь можно было заметить, что он дышит, и даже услышать, как у него что-то клокочет в груди.

Павел привязал Видакова гнедого к перекладине повозки, а сам поехал впереди перед ней. Мы же, остальные, обступили дроги кругом и, ведя коней в поводу, молча и невесело пошли рядом.

Павел то и дело оборачивался и поглядывал на повозку — видимо, надеясь, что Видак откроет глаза. А после бросал взгляды и на нас — очевидно, пытаясь узнать по нашим лицам наше мнение о его состоянии. Но все, что ему удалось увидеть — как в повозке, так и на наших лицах, — привело лишь к тому, что он неожиданно снял феску, закрыл ею лицо и так согнулся, что приник головою к самому седлу. Мы видели, как трясутся его плечи, и сами были готовы заплакать.

«Ах! — думал я. — Что теперь будет с бедной Илинкой? Убьет она себя, в бога и в душу! Как же ей теперь оставаться с этим червем, с этим шалопаем, с этим полоротым ветрогоном Вучко!»

С запада надвигалась туча — словно чье-то большое злое черное крыло распростерлось над нами, над дорогой, над вселенной.

Уже смеркалось, когда мы медленно входили в городок.

На самом въезде Павел поднял правую руку. Процессия остановилась. Он притиснул коня к повозке, нагнулся к самому рту Видака. Затем немного отодвинулся и пристально всмотрелся в его лицо, а после опять прильнул к нему ухом. Снова поднялся, поправился в седле и некоторое время, о чем-то размышляя, глядел в уже пепельно-серое небо; потом вновь уткнулся в феску и затрясся в неслышных рыданиях. Затем поворотил коня и поехал вперед, но феску на голову не надел, продолжая держать ее в опущенной правой руке. Мне кажется, что многие из нас, уж не знаю, по какой причине, тоже снимали фески, когда копыта наших коней застучали подковами по мостовой городка.

Через городок идти было легче, чем полем. Люди, сперва из любопытства, а после из участия, начали пристраиваться за повозкой. Никому и в голову не пришло побежать вперед, чтобы «подготовить» семью и, что еще важнее, позвать доктора; так вся наша процессия, с каждым шагом разрастаясь, шла тихо и угрюмо, словно облако, неожиданно приносящее бурю, град и громы, и остановилась перед домом Видака.

Поскольку было воскресенье, все было закрыто. И у Видака тоже были закрыты и ворота дома, и ставни лавки, — казалось, вся улица, закрыв глаза, отвернулась от этого жалобного зрелища.

Толпа остановилась, люди испуганно и участливо поглядывали на ворота, пока из них, как безумная, не вылетела Илинка; вскочив через колесо в повозку, она упала Видаку на грудь. Ничего не говорила, лишь вопила в голос бесконечное «ой-ой-ой!».





Тогда откуда-то возник и Вучко. С ходу впрыгнул в повозку, ни где и рукой не придержался. Встал там прямо, словно деревенская невеста, посмотрел вниз на лежащего без сознания Видака и сидящую возле него убитую горем Илинку, посмотрел вверх, на небо, снова вниз, а затем со всей преданностью своей души, сильно и искренне, как цыган, ударил себя в грудь и сам рухнул на колени возле них двоих. Но в тот же миг, словно обо что обжегшись, вскочил и крепко ухватил Илинку за плечи.

— Подымись-ка, сноха! — Голос его был непривычно ясным, звонким и повелительным. Глаза его светились.

Илинка, сломленная, чуть ли не вдвое согнутая горем, поднялась на ноги, как послушное дитя.

— Да он же еще жив! — вскрикнул Вучко радостно, глядя в небо так, словно говорил это кому-то там, наверху. — Слезай, сноха!

Она послушно сошла с повозки, придерживаясь за людей, очевидно не разбирая, чего от нее хотят.

— Влезай сюда еще кто-нибудь один! — крикнул Вучко своим новым голосом.

Кто-то вскочил на дроги. Вдвоем они подхватили Видака и передали на руки, уже протянутые к повозке несколькими людьми.

Видака внесли в дом, в комнате его раздели, обтерли от крови и положили в постель. Но он так и не очнулся.

Тогда Илинка во весь голос жалобно вскрикнула:

— Горе мне, несчастной! Что буду делать, бедная, одна да с сиротой! — и собралась было упасть Видаку на грудь.

Но тут вмешался Вучко и придержал ее, чтобы не падала. Выпятив грудь, он снова хлопнул по ней кулаком, подняв глаза куда-то на чердак, но на этот раз как-то кокетливо, как актер, которому важен эффект:

— А я? Или я не жив?! Разве...

Но тут голос его предал. Закрыв глаза руками, он вылетел на улицу, пробежал сквозь толпу собравшихся, домчался до повозки, в которой привезли Видака, запрыгнул в нее, огрел коней вожжами — и исчез.

...На кровати тяжело и равномерно дышит Видак. Илинка склонилась над ним, не шевелится и не плачет. У Видака в изножье на дощатом полу неподвижно сидит, скрестив ноги и обхватив руками лицо, добрый и простодушный Павел. Он тоже не плачет. В комнате полно народа. Все перешептываются.

Тут снова с улицы послышался грохот. Перед домом остановилась повозка. В комнату влетел растрепанный Вучко, волоча за собой доктора.

Чуть шагнув в дом, доктор прямо с порога скомандовал:

— Алле, фсе бабы — вон!

Вучко широко распахнул двери. Первыми вышли женщины, за ними и мужчины. Лишь Илинка и Павел остались на своих местах.



Доктор подошел к кровати, присел возле Видака и стал его осматривать. Проверил пульс, прислонил ухо к груди, поднимал веки, чтобы посмотреть в глаза, тщательно обследовал рот, нос и уши. Ощупал руки и ноги лежащего, да и вообще его всего, с головы до пят, а когда дошел до правого плеча, произнес:

— Ja, ja, ja, hat ihn schön!

Еще раз вытер кровь с безвольного лица, пальцами раскрыл больному глаз и стал то приближать, то отдалять свечу. Снова проверил пульс и, наконец, подняв голову, обратился к Вучко:

— Он есть так пал? — и показывает рукой: мол, головой вперед.

— Так пал! — кивает Вучко, так же показывая рукой.

— Он не есть блевал?

— Не блевал! — говорит Вучко.

Доктор снова проверил Видаку пульс и, словно в некотором недоумении, пожал плечами.

— Он есть жив! — говорит Вучко.

— Алле так, брату! Видишь, он дышит!

— Но он же останется жив? — спрашивает Вучко.

— Алле, это есть Бог знать!.. Он не есть блевал, не есть ему шла крив из нос, не есть ему шла крив из уха. Пульс... — Доктор опять схватился за пульс и посмотрел на часы, задрал голову, словно разговаривал не с Вучко, а с кем-то там, на чердаке. — Так и есть: восемьдесят! Может, он и не раздушил главу там, где это есть смертельно. Алле, брату, ты то не разумеешь!

— Да все я, приятель, разумею! Просто ты мне будешь вылечить брата, а я тебе буду заплатить, и всё желтыми дукатами, хэй!

На лице доктора показалось выражение негодования и презрения:

— Алле, ты есть так прост! То Бог может лечить! Жди, брату, до утра, мы то увидим. Сейчас я вижу, что он только зломил эту кость, — он показал на правую ключицу, — и мозг у него... Алле, ты то не разумеешь!

Доктор привязал Видаку обе руки к телу, закрепив повязку на спине крест-накрест, особенно туго стянул правый плечевой сустав, чтобы рука не двигалась. Прописал какие-то порошки, а на лоб больному приказал класть мокрые холодные тряпки. В те времена по осени льда не было даже для пива, не говоря уж о болящих.

Потом он поднялся и ушел, обещав, что завтра зайдет пораньше.

Как только доктор вышел, Вучко, стоявший на коленях у кровати Видака, вскочил на ноги и вспылал.

— А что ты здесь стоишь, Стоян? — рявкнул он на парня у дверей. — Ну-ка, схватил кувшин — и живо за водой! А ты, сноха, давай сюда пять-шесть полотенец! Быстро! А ты, Павел, братец... что случилось, то случилось!..

К Павлу он обратился вроде бы мягче и глуше, но тут же опять пробился этот *новый* голос Вучко — голос, напомнивший мне то счастливое время, когда он, как наш царь, с ножичком в руке кричал: «В атаку!»



— Ты, Павел, скачи в аптеку! Да так, чтоб я думал, что ты там, а ты уже здесь! И скажи тому аптекарю, скажи ему, чтобы все хорошо приготовил да чтоб нам товара своего не жалел, — пусть дает лекарства, заплатим ему всё, сколько бы ни стоило!

Опять его голос дрогнул:

— Давай, дорогой мой Павел, мой по Богу брат!

Все разлетелись.

Тогда Вучко бросил на меня неуверенный взгляд, словно разрешения спрашивал, и лишь потом распростерся по Видаку и горько зарыдал.

Уже в полночь Видак очнулся. На следующий день доктор, когда пришел, снова констатировал лишь перелом ключицы и сотрясение мозга. Вучко он объяснял, что «мозги ему делали так-так!», и болтал рукой; на что Вучко опять спрашивал:

— Ведь они ж не навсегда? Он ведь, знаешь, должен совсем выздороветь!

После доктор опять говорил:

— Не разумеешь!

А Вучко опять:

— Разумею! — и требовал у доктора еще какое-нибудь лекарство: — Только лучше, знаешь, вот как этой ночью!

И только Видак, тяжело разбитый, с сотрясением мозга и переломом ключицы, лежал молча, имея виды на полное выздоровление.

За время его болезни я запомнил несколько обстоятельств, о которых должен рассказать.

Часто я бывал с Вучко в лавке, где он теперь один начальствовал над парнями, по отношению к которым так изменился, что они диву давались и в себя прийти не могли. Все он был как-то озабочен и нахмурен. Не знаю, что пришло в голову калфе Ешице, но тот его однажды, вот такого сердитого, дернул за полу гуня<sup>6</sup> и приятельски позвал поиграть в крейцер. Вучко в ответ влепил Ешице оплеуху и несколько раз лупанул его головой о бадью с постным маслом.

— Ишь, чего удумал! Тут тебе не пивная, а приличный торговый дом!

С того дня даже самый старший калфа начал называть его «газда Вучко».

Хотел бы я вам описать, что Вучко стал совершенно другим человеком, да не знаю как. Совсем другим, но ему это было к лицу. Он стал серьезнее. С приятелями своими и разговаривать не хочет. Говорит то одному, то другому:

— Отойди от меня, прошу тебя, — видишь, я делом занят! Знаешь ведь, что брат болен!

Следит за каждой монетой. Даже по воскресеньям нового платья не наденет. Нигде не присядет, не остановится. Вот он в лавке; вот

<sup>6</sup> Гунь — мужская куртка из грубого сукна.

в мастерской, где парни шьют гуни; вот в сушилке, где ворошат шишарку<sup>7</sup>; вот на складе, где разливают ракию; вот в погребе, где хранят вино... Дал Бог удачи! Покупателей навалило, но и работы — со всех сторон! Денег в кассе уже как половы!

Но были вещи, которых я тогда не понимал.

Как-то раз захожу проведать Видака. Вошел в дом и вижу, как на кухне Вучко с Илинкой о чем-то шепчутся. Когда поздоровался с ними и получил ответ, что с Видаком все хорошо, они без стеснения продолжили свой разговор:

— И дай мне, пожалуйста, хотя бы грош купить табаку, — говорит Вучко шепотом. — Я уже три дня не курил!

— Балбес! — говорит Илинка, вынимая из кармана полтинник и протягивая деверю. — Что ж сам-то не возьмешь из ящика?

— Не смей, прошу тебя!

— А если он сам тебе скажет?

— Ну разве что сам!.. Спасибо тебе! — говорит Вучко и, приплясывая как дитя, выбегает из кухни.

Как-то в субботу после полудня встречаю на рынке Павла, которого я очень полюбил с того дня, как с Видаком случилось несчастье. Стоит в рыбном ряду, нанизал жабрами на палец купленного карпа. Увидев меня, мило и добродушно улыбнулся и поднял карпа повыше:

— Приходи сегодня вечером ко мне на ужин!

— Нет, братец, на холостяцкий ужин я к тебе не приду, хоть и знаю, что рыбацкую чорбу<sup>8</sup> ты приготовить сумеешь. Лучше знаешь что? Давай-ка этого карпа сюда!

Он без возражений отдал мне своего карпа, я выбрал еще пару добрых икряных рыбин из корыта перед собой, расплатился, и мы пошли.

— Я сейчас пойду и все это отдам Илинке, чтобы она нам ужин приготовила, а вечером приходи и ты. Знаешь, как Видак будет рад!

Павел радостно всплеснул руками и вечером заявился с огромной баклагой.

Мы уже собирались садиться ужинать, как из лавки пришел Вучко с торговой книгой и со счетами. Видак ему говорит, мол, садись, сперва поужинаем, а потом уже дела посмотрим. Мы сразу налопались рыбы и стали «пробовать» Павлово вино. Эх, сорваться-поскользнуться! Тут, как водится, завязался и разговор, все пошло по заведенному порядку, но Вучко упорно хотел дать Видаку отчет по счетам. Ничего я не понимал из их разговора (вероятно, из-за Павловой баклаги), но вижу, что уж больно долго они говорят и мало-помалу дошло до серьезных речей. И тогда Вучко, этот прежде

<sup>7</sup> *Шишарка* (в старых переводах чаще *шитарка*) — чернильные орешки (они же дубильные орешки, «дубовые яблоки») — наросты до 4 см в диаметре, производимые на листьях дуба мелкими насекомыми — орехотворками. В XIX в. использовались для изготовления чернил, для дубления кож, в народной медицине, а также как краситель и были в большой цене.

<sup>8</sup> *Чорба* (серб.) — мясная или рыбная похлебка, густой суп.





беззаботно-глуповатый Вучко, начал стучать кулаком по столу, упоминать какую-то шерсть, мед, нанковые рубашки, какие-то жестянки, гуни, что-то там еще... Да все больше распаляется — вынул из кармана бумажку, стал хлопать по ней ладонью:

— А это что?! Тут же ясно все, как дважды два — четыре!

Видак сердито выхватил эту цидульку из руки Вучко, остро поглядел ему в глаза, но тут же прыснул смехом и обнял брата:

— Да разве ты, болезный, не видишь, что я с тобой шучу? Я, надо тебе знать... Я...

Он схватил со стола полный стакан вина и осушил его одним духом:

— Я... ты должен знать... мне... Да доведись мне сейчас помереть — помер бы спокойно!.. Я знал... знал я, ей-богу!.. Наливай!

И так мы хорошо накатили, что никто из нас и внимания не обратил, как Видак оперся на ту самую руку, где у него была сломана кость, хотя все мы считали обязанностью за этим хорошо смотреть!

А через день Видак вышел в лавку — правда, все еще со стянутыми повязкой плечами, но тем не менее!

Увидев брата, Вучко смутился и смешался с парнями, которые сразу же потеряли к нему весь былой респект. Представьте! В тот день в дровянике раскалывал он какую-то корягу и, изрядно раскрасневшись, протянул топор калфе Ешице:

— Возьми-ка, ей-богу, притомился я! Уморит она меня совсем.

Ешица нахально ответил Вучко:

— Возьму, если потом со мной в крейцер поиграешь!

У Вучко заплясали глаза. На миг он словно заколебался, но тут же, сам не зная почему, почувствовал, что для него теперь это будет не просто ребячество, но и стыд. Словно резко оттолкнув что-то от себя, он нахмурился и снова протянул Ешице топор:

— Держи и делай, что велено! Если не хочешь, чтобы я тебя снова...

Посрамленный Еша взял топор и начал злобно тюкать по коряге.

Вучко пошел в дом. Когда порядком отошел от Еши, сунул руку в карман, вытащил свинцовую бабку, которой в игре переворачивают крейцеры, и зашвырнул ее куда-то далеко за крышу дома.

В тот же день вечером, незадолго до ужина, Вучко на кухне пристал к Илинке, чтобы намазала ему масла на хлеб — перекусить наскоро. Прибился к ним и я — и словно помолодел.

Илинка необычайно весела оттого, что Видак выздоровел. Все-то посмеивается и подмигивает мне, без конца подначивая Вучко:

— Деверь, болезный, неужели ты ее покинул?

— Молчи, прошу тебя!

— Нет, я, ей-богу, не шучу! Девушка плачет, убивается! Говорит — совсем ты ей внимания не уделяешь!

Вучко уже сам готов заплакать:

— Перестань же, прошу тебя!

— Да нет же, ей-богу, тебе говорю! Так и говорит: с тех пор как он разболелся, ты ей ни разу слова ласкового не сказал!

— Прекрати, сноха, чтоб твой сын был здоров!

Илинка замолкла, как утопленница. Только мне подмигнула, стрельнув глазами вслед выбежавшему из кухни Вучко:

— Сохнет он по ней!

— По этой, газда-Станишиной? — спросил я. — А какова девчонка-то?

— Бог с тобой! Отсюда и до самого моря такой не найти!

— Видел я, вроде красива... Но все же...

— Брось ты это «все же»! Говорю тебе — нет такой и в тридевятиом царстве!

— А хочет ли она за Вучко замуж?

— Безумно!

— А сам-то он на ней жениться хочет?

— Говорю ж тебе, просто убивается! Но отец ее что-то тянет... Это, знаешь, мой турок никак не хочет язык развязать, все бы уже давно пошло как по маслу...

Илинка посерьезнела и задумалась. Вдруг повернулась ко мне, словно протестуя:

— Все они почему-то Вучко держат за что-то такое... мол, легко живет, не слишком на работе упирается! Но я тебе говорю: он единственный, кто у нас не за деньги работает! А не дашь человеку, так и он не даст много... Но ты сам знаешь: это он так определил! А он, братец, знает все!..

— Знаю, знаю! Я и сам вижу, что Вучко вовсе не ветрогон какой.

На воскресенье позвали меня на обед, причем позвали как-то чудно: Видак лично меня пригласил. Я сказал:

— Хорошо!

— Нет, — говорит он, — не «хорошо», а чтобы обязательно был!

— Да приду я, как и до сих пор приходил, я ж из дома твоего, считай, не вылезал.

— Знаю, но ничем другим в воскресенье не занимайся!

— Да бог с тобой, человек! Приду, коль буду жив-здоров.

Прихожу я, конечно же, на обед. Застаю Вучко во дворе, как обычно: руками малыша держит, а глазами за забор пялится. Зато одет он — как на Пасху! Удивился я и спрашиваю его:

— Чего это ты так вырядился?

Он лишь плечами пожал:

— Брат так велел.

Когда я вошел в дом, удивился еще больше: вижу, что и Видак на себя натянул все, что у него есть наилучшего! Еще больше меня удивило, что Илинка как раз ему примеряла под пояс новый, дивно вышитый кисет, чтобы «поглядеть, хорошо ли смотрится». А Видак тут же





вытащил кисет из-за пояса и, словно пряча, засунул его за пазуху под джемадан<sup>9</sup>.

Да что ж это такое? Или я с ума сошел, или сегодня тут все само по себе с ума сходит? Видак же не курит!

Но по-настоящему я удивился, когда прошел в комнату и увидел там, помимо неотлучного Павла, еще и попа, а с ним и господина Стояна — писаря. А эти двое здесь к чему?

Опять выхожу из комнаты, потихоньку спрашиваю у Илинки. Она весело смеется, сжимая кулачки, — как дети, когда чему-то особенно радуются:

— Иди, иди, прошу тебя, в комнату! Слава Богу — восстал человек из мертвых! Сегодня первый раз после болезни в церкви был! Ну как же нам не праздновать?

— А, так лишь в этом дело?

Ну да, так и есть! Видимо, Стоян-писарь Видаку тоже добрый приятель. Я его, правда, прежде у них не видел, но... А поп? Э, ну это уже понятно: они же из церкви вернулись!

Сели мы обедать. Едим, пьем. Льет, братец, поп то вино — словно ручей течет! И возглашает здравицу за здравией. А порядок такой: коли чокнулся — должен выпить. Выпей, усы утри, опять выпей! В общем, напились мы.

— Эй, Видак! — вскрикнул вдруг поп, да так громогласно, словно Видак был от него на ружейный выстрел.

Пьян, что ли, или обезумел?

— Слушаю, отче! — выкрикнул Видак в ответ точно так же.

— А хорошо ли себя ведет твой Вучко?

— Этот, что ли, брат мой родной?

— Ну да, он!

— Сохрани бог, лучше некуда!

Вучко побелел как полотно, и глаза его увлажнились.

— А что ж ты его не женишь?

— Да не могу пока — первым делом надо посмотреть, будет ли ему чем кормить жену! А, господин Стоян?

Опьяневшим разумом я понял, что тут изображают театр, но подробности того представления теперь вспоминаю с большим трудом.

Поп встал из-за стола. За ним встал Видак, встала Илинка. Встали Павел и господин Стоян. Встали и мы с Вучко.

Господин Стоян вытащил из пальто (в те времена все «господа» уже носили немецкое) какую-то грамоту и стал ее зачитывать таким же безумным криком:

— До-го-вор!.. Между нами, двумя родными братьями... мной, Видаком, и мной, Вучко, урожденными Теофиловичами... в отношении

<sup>9</sup> *Джемадан* (тур.) — вид жилета.

нашего совместного, общего братского имени!.. нашим совместным трудом нажитого!.. о том, как что следует...

Это был договор, по которому Видак принимал своего брата Вучко в торговые компаньоны, а все свое имение называл их общим.

Дочитывая последние строки, господин Стоян всхлипывал. Добрый Павел зарыдал в голос, да и все мы ударились в слезы. Вучко подошел к руке попу, собрался было и Видаку, но тот его поднял и расцеловался с ним по-братски. После Вучко расцеловался и с Илинкой, и со всеми нами.

От слез ли, от вина ли, уж и не припомню точно, что там дальше было. Но вспоминаю, как некоторое время спустя я засмотрелся на Вучко, одиноко сидевшего на тахте в дальнем углу комнаты.

Тут Видак заметил, куда я смотрю, и окликнул брата:

— Эй, Вучета!

— Слушаю, братец!

— Садись-ка сюда, человек, да подыми... Дай, Илинка, ему тот чубук!

Илинка вылетела из комнаты и в миг единый вернулась, неся чубук черного дерева с огромным янтарным мундштуком.

Видак взял чубук из ее рук и передал Вучко:

— Закуривай!

Вучко ощупал себя вокруг пояса.

— Ну-ка! — говорит Видак жене. — А вот тебе то, что ты вышивала, да забыла!

Он вытащил из-за пазухи тот кисет и протянул Илинке, которая тут же передала его Вучко:

— Закуривай, деверь!

Вучко нахмурился. Захватив полную горсть табаку, он набил трубку, вытянул ее перед собой и попросил Илинку:

— Кликни, пожалуйста, кого-нибудь из парней!

— Да не надо, я сама! — Илинка бегом принесла из кухни уголек в щипцах.

Вучко глотал дым, но больше слюну: знай себе тянет и молчит, пока в трубке не забулькало. Тогда он ее встряс, набил вторую и раскурил ее недотлевшей искоркой. Сделав затяжку-другую, выдохнул через чубук:

— Ох, братец, а как наша шишарка просохла! Совсем уже дошла — суха, словно порох! Не знаю, чего ты ее хранишь, я бы уже продал!

— А ее как раз у нас спрашивал сосед Станиша, вот мы ему и предложим. Мы с твоей снохой ему обещали, что вечером придем — сватать за тебя ихнюю Милку, так что, если это дело удачно свершим, заодно и с шишаркой подгадаем. А?

И сосватали мы ее. Помню, как бросил я цыгану монету на бубен и схватил Илинку за руку:



— Пошли плясать! Давай мы с тобой начнем — глядишь, и еще кто пойдет за нами! А то этому конца нет... Знаешь, у меня уже голова гудит!..

Поднялись и остальные. И пошли мы в пляс.

— Слышь, Илинка, этот твой Видак, и Вучко... да, сестренка, и Павел, и Станиша, и все эти ваши люди — это что-то необыкновенное!.. Удивительные люди, ей-богу!

— Эх! — говорит мне Илинка победоносно. — Не знаешь ты наших людей! Им что день, что ночь — на месте не стоят! Лишний раз не прилягут, не присядут, уже ложкой не в рот, а в нос попадают, на ходу едят... И притом всюду успевают, и знают, когда чему время и место!.. У них, правда, в картах иногда и по шесть валетов выпадает, но, когда в глазах двоится, друг другу сотни дукатов платят как ни в чем не бывало! И верь — знают они все что хочешь! Вот он, например! А он знает все, словно какой Гуттенберг!

— Знает, знает, да что толку-то?!





Денис ПОПОВ

## ПЛОХАЯ БУМАГА

\* \* \*

Сутуюсь, точно запятая,  
Уткнувшись в старую тетрадь,  
Но врать не стану: не хватает  
Тебя. Не стану врать...

Мы пережили наше время  
И смыслы страха и любви.  
И лишь отдельные морфемы  
Из рукописной синевы

Еще шуршат по старой стогне,  
Дразня рабочий инвентарь.  
И ворот улицы расстегнут  
Ночами на один фонарь.

\* \* \*

И стоя в храме городском,  
Где дрожь свечей,  
Не то чтоб плачу я легко,  
Но легче, чем

Могилки родственников меж,  
Да с пьяных глаз.  
Как если бы в пустой суме  
Нащупал Спас.

Раб Божий не ахти какой —  
Сухой листок!  
Дурак как прежде дураком,  
Зато Христов.

## Плохая бумага

День плохой, как плохая бумага,  
Но какая уж есть — чем богат.  
Я пишу на обломках ГУЛАГа  
На себя самого компромат.

Я пишу, зная, что не посадят:  
Не монах, не солдат — мелковат.  
Нет в душе моей райского сада.  
И креста на мне нет, говорят.

Ну кого удивишь компроматом?..  
А бумага... Бумага и есть!  
И плохая была чьим-то садом,  
Над которым окно — будто крест.

\* \* \*

*Другу-агностику,  
почитателю Бодлера*

Мы любили тему смерти,  
как фантастику, вообще.  
Как и всякий, кто инертен,  
словно камешек в праще.

С молодых возьмешь немного.  
Вот и не брала она —  
смерть брезгливо по дороге  
нас послала в и на.

Подросли. Заматерели,  
кое-как обжились тут...  
Ты закончил по Бодлеру.  
Я хотел бы — по Христу.



## *Народные мемуары*

**Андрей АВРАМЕНКОВ**

### **КАК МЫ ЖИЛИ ДО ВОЙНЫ**

Я родился в Ворошиловграде, ныне известном как Луганск, в 1990 году и большую часть своей жизни прожил там. К моменту, когда в Донбассе в 2014 году началась война, уже обострились противоречия между двумя частями населения страны. Однако до всех известных политических и военных потрясений они были для меня неочевидны. Украина и украинцы ассоциировались с чем-то добрым, радушным и открытым.

Луганская область с русскоязычным населением была самым восточным регионом Украины. По досадному недоразумению в 1990-х годах после развала Советского Союза она осталась в составе Украины, хотя ментально тяготела к России. Если не брать геополитический аспект, это и заложило основу нынешнего конфликта. Теперь эти границы снова переносятся и пересматриваются. Хорошо, что восстанавливается историческая справедливость. Плохо, что это оплачивается жизнями людей.

\*\*\*

Мое детство, как и у большинства сверстников в 1990-е годы, проходило в бедности. Мама работала швеей на фабрике, а папа — на заводе. Родителям подолгу задерживали зарплату, предприятия банкротились и увольняли работников, а миллионам людей было не на что содержать свои семьи. Ситуацию усугубляли разгул бандитизма, неуверенность в завтрашнем дне и громкие заказные убийства. Что запечатлелось в моей детской памяти из того времени? В основном картинки на телеэкране. Убийство Владислава Листьева, телеведущий Леонид Якубович и «Поле чудес», западные мультики о трансформерах и супергероях на ТВ-6, ведущий детских программ Сергей Супонев и «Зов джунглей», «Элен и ребята», «Последний герой» и покемоны, «Братья» и «Сестры» Сергея Бодрова-младшего, «Утиные истории»... Все эти обрывки смешались в моей памяти, как овощи в винегрете.

С детства я смотрел по российским каналам новости и был уверен, что наш президент Борис Ельцин. Казалось, что мы живем в России. О Леониде Кравчуке, первом президенте Украины, в то время я не знал. Формально будучи другим государством, Украина для меня являлась частью России.

С самого раннего детства я каждый год ездил на родину моего отца, к бабушке и дедушке в Воронежскую область. В деревне все говорили



на суржике — смеси украинского и русского языков. При этом в Луганске слышать украинскую речь было в диковинку. Помню, классе в шестом к нам в школу перевелся мальчишка из села. Он говорил на украинском, и мы смотрели на него с большим удивлением.

В нашей школе преподавали две отдельные литературы — русскую и украинскую. Причем в рамках первой мы изучали и зарубежные произведения, например «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. Несмотря на то, что книги я любил с детства, положенное по школьной программе читал неохотно. Ввиду большего разнообразия тем и доступности языка русская литература была мне более интересна. Читать на украинском, хоть я и учился в классе с углубленным изучением этого языка, было скучно и трудно — осиливал от силы пару страниц. Лейтмотив произведений на «титальном языке» — крепостничество и крестьянство — представлялся мне заунывным и трудноперевариваемым. То ли дело «Дубровский» Пушкина или «Герой нашего времени» Лермонтова.

Современная украинская литература была мне куда интереснее. Лет в двадцать я прочитал роман Сергея Жадана «Ворошиловград» в переводе на русский. С точки зрения сюжета вещь незамысловатая, но хорошо написанная. После этого я начал скупать все книги Жадана, до которых мог дотянуться, и читал на языке оригинала. Это были действительно увлекательные современные произведения, с юмором и точностью описывающие живших по соседству с автором людей и знакомые места. Например, в книге «Депеш Мод» один эпизод с проповедью в церкви чего стоит. Я смеялся в голос, а такое при чтении редко бывает.

\*\*\*

Первый значимый и осознаваемый мной политический раскол на Украине произошел во время так называемой оранжевой революции. Были выборы президента, полномочия Кучмы истекали, стране нужен был новый лидер. В финальной схватке сошлись Виктор Янукович, которого поддерживал Донбасс и другие русскоязычные регионы Украины, и Виктор Ющенко, за которого голосовали на западе страны. Однако, когда по количеству голосов начал вести Янукович, чтобы не допустить его к власти, в конце 2004 года в Киеве собрался первый Майдан.

В тот период даже луганское уличное хулиганье, которому до политики не было дела, могло подойти и спросить: «Ты за Януковича? А то поучишь...» Он же наш, из Донецка...

Тогда удалось избежать крови и гражданской войны — Янукович сдался. Это был тревожный звонок. Выбор большинства жителей был проигнорирован, а агрессивное меньшинство поняло, что может диктовать свою волю аморфной основной массе. Впоследствии такое происходило на Украине не раз, продолжается и сейчас.

Единожды дав слабину, Янукович продолжал «гнуться» дальше. К власти в стране пришел Виктор Ющенко, одним из самых заметных «достижений» которого стало посмертное присвоение изуверу-националисту Степану Бандере почетного звания Героя Украины. Конечно, это вызвало

недовольство у жителей Донбасса и других юго-восточных регионов страны. Таким образом создавалось социальное напряжение, раскол, людей сталкивали, сильней разделяли на Восток и Запад.

Что вызывает удивление, так это поддержка Бандеры именно жителями Западной Украины, на территории которой он действовал и жителей которой уничтожал.

В результате в одной стране две части населения считали героями абсолютно разных исторических персонажей: одни — «Молодую гвардию», Жукова и Ватутина, другие — Бандеру, его соратника, руководителя УПА, Шухевича и гетмана Мазепу.

Отсюда и различие взглядов граждан на историю страны. Властям Украины и их подпевалам от псевдоисторической науки было выгодно показывать таких спорных личностей, как тот же Иван Мазепа, предавший Петра I, в качестве борцов за независимость. За это их хвалили и финансировали западные «кураторы». С другой стороны, было нужно делать «реверансы» в сторону востока Украины. Политических деятелей, не раз менявших сторону, был не один десяток.

При этом акцент государственной пропаганды постоянно смещался в сторону независимости именно от «немьтой и нищей России». Тогда как США — это «град на холме» и неоспоримое благо. Истинный вольный дух украинских степей был заменен на раболепие и преклонение перед Европой и Америкой. Теперь украинские президенты — не славные гетманы и воеводы, работающие во благо народа, а жалкие попрошайки в глазах всего мира, которые набивали свои карманы и скрывались на виллах на юге Европы. Кто сейчас вспомнит премьер-министра Арсения Яценюка? Где все его обещания? Где ответственные за убийства мирных жителей Донбасса бывший президент Петр Порошенко и глава СНБО Александр Турчинов? Они привыкли к тому, что им все сходит с рук.

Однако, несмотря на пропаганду и навязывание фальшивой истории, у народа есть родовая память. Людей, как бы их ни пытались оболванить, невозможно долго водить за нос. Почему это подействовало на Западной Украине? Ответ прост — это другой народ и у него иная история.

Население Донбасса — тоже другой, особый народ. Русские и украинцы из Луганска и Донецка отличаются от русских и украинцев из Воронежской или Тамбовской областей. Несмотря на общий этнос и культуру, история их нахождения внутри «незалежного» украинского государства накладывает свой трагический отпечаток. Здесь родовая память выступает как щит от пропаганды и навязывания лживой истории.

После начала СВО в феврале 2022 года у меня с моей близкой подругой, тоже журналисткой из Луганска, состоялся приблизительно такой диалог:

— Есть такой большой исторический опыт, а выводов никто не делает. Получается — мы животные. И сила — в кулаках, — написала она.

— Я тебе просто удивляюсь... Ты забыла Майдан? Лозунги «москалей на ножи»? Как они начали обстреливать Донбасс?..

— Первое: я не хочу об этом говорить, потому что я не хочу с тобой ругаться по этому вопросу. Второе: а ты уверен, что ты прямо все так хорошо помнишь? И тогда правильно и объективно воспринимал информацию и мог





делать правильные выводы? Я уже досконально не помню, честно, что и как там было...

Память... как важно ее сохранить не только о событиях старины, но и о том, что было совсем недавно. О том, с чем ты лично столкнулся, что знал и видел. Знать, с чего все началось, кто прав и виноват...

События последних лет доказывают, что русский народ, несмотря на влияние западных агентов, все знает и понимает.

\*\*\*

Как я сказал выше, все мы жили достаточно небогато. Больше всего времени луганская молодежь проводила на улице, а потому столкнуться с чем-то противоправным было не так уж сложно.

Во времена моей юности по местному телевидению в криминальной хронике как-то показали двух ребят из соседнего дома. Одного из них я неплохо знал. Он был немного старше меня, лет шестнадцать. Как выяснилось, они с другом занимались гоп-стопом — грабили прохожих в других районах города. Их задержали, и им повезло, что не посадили.

Этот знакомый потом рассказывал, как однажды ограбил «не того» мужчину. Его поймали, вывезли в багажнике в лесопосадку и хорошенько избили. Парень, в общем, неплохой, но судьба так сложилась. Безотцовщина, только мать и сестра, безденежье, постоянная необходимость искать средства к существованию. Его давно уже нет — утонул, когда плавал в озере в нетрезвом виде.

В юности тянешься ко многим запретным вещам. Одна из них — алкоголь. Будучи подростками, мы пили много и часто. Ходили нетрезвыми на школьные дискотеки. Провоцировали конфликты и драки. Один раз во время дискотеки даже раздалась стрельба...

Еще помню, как знакомый парень, подойдя ко мне в совершенно невменяемом состоянии, протянул какие-то таблетки. Я отказался.

Алкоголь, наркотические вещества, хулиганство, мелкие правонарушения были частью нашей среды обитания. То же самое мы видели, глядя на старших. Поговаривали, что у кого-то из них было огнестрельное оружие. Некоторые погибли при невыясненных обстоятельствах.

Случались и массовые драки, квартал на квартал. Однажды пацанам не понравилось, что по нашему району ходит незнакомая компания из нескольких ребят и девушки. Мы ринулись за ними. Влюбленную парочку никто не тронул. Такое существовало негласное правило. Поэтому мы погнались за оставшимися, которые бросили своих друзей. Сколько всего было...

После окончания школы немногие из нас смогли достичь успеха. Очередное потерянное поколение, которое загасили водкой и наркотиками. А потом загремела война...

\*\*\*

В университет я поступал во времена президента Украины Виктора Ющенко в 2007 году. Мне с детства нравилось писать, поэтому уже

в 11-м классе сомнений не было — пойду учиться на журналистику, точнее на издательское дело и редактирование.

В начале нулевых на меня сильное впечатление произвел сериал «Бандитский Петербург», одним из героев которого был журналист Андрей Обнорский в блистательном исполнении Александра Домогарова. Помню, как он убегал по питерским улицам, уворачиваясь от бандитских пуль. Лет в двенадцать я даже пробовал заняться литературной обработкой этого сериала — ставшие основой для сценария легендарного сериала книги за авторством Андрея Константинова прочитал намного позже.

Стипендия в Восточноукраинском национальном университете имени В. И. Даля в Луганске тогда составляла 150 гривен при минимальной зарплате около 1 000 гривен. Позже стипендию для студентов подняли до 300 гривен. Во времена президентства Януковича, в кои-то веки выбранного в 2010 году без эксцессов, она выросла до 700 гривен. Для студента третьего курса это уже были неплохие деньги. Больше не приходилось просить у родителей. Их финансовое бремя по содержанию отпрыска стало намного легче. Денег хватало на месяц разгульной студенческой жизни и даже на покупку вещей.

В университетский период, учитывая выбранную специальность, началось мое приобщение к мировой литературе, от древнегреческой до современной. Большое впечатление оставило знакомство с творчеством Вольтера, Дени Дидро, Данте Алигьери, Жана-Поля Сартра с его «Тошнотой». Также в нашей среде зачитывались латиноамериканской прозой — Габриелем Маркесом, Хорхе Борхесом, Хулио Кортасаром. Из русских современников на слуху был, например, Виктор Пелевин. Его роман «Шлем ужаса» мы даже разбирали на парах. Хотя давно существовали романы в письмах, повесть в формате чат-переписки была в новинку... Также изучали постапокалиптический роман «Кысь» Татьяны Толстой.

Огромное влияние на меня оказал роман Андрея Константинова «Журналист». Я его впервые прочел в 19 лет и с тех пор регулярно перечитываю. Вопреки названию, в нем рассказывается не о журналистах, а о военных переводчиках во времена СССР. Крепкий военный детектив. Кто-то может возразить, что это не лучший образец литературы. Однако эта книга заложила во мне представления о профессиональной этике и моральных принципах человека.

Другие книги Константинова об этом герое уже в амплуа журналиста породили во мне уверенность, что представитель этой профессии — человек, который не пройдет мимо, когда кому-то нужна помощь. В современном массовом сознании журналист есть пропагандист, защищающий чьи-то корыстные интересы за деньги, либо представитель желтой прессы, роющийся в грязном белье и вторгающийся в чужую личную жизнь. Во многом это соответствует действительности. Однако и в этой профессии есть место для светлого и героического. Просто каждый журналист делает свой выбор сам.

Популярностью в луганской интеллигентской среде пользовался и известный советский эмигрант Сергей Довлатов. Многие восхищались его языком и стилем. Мол, у него в предложениях все слова стоят на своем месте, нельзя убрать ни одного из них.





У Довлатова есть удачные произведения, но многое из его творческого наследия представляется достаточно спорным с точки зрения мировоззрения. Я перестал его читать после следующей сцены в книге «Марш одиноких».

«— Но война уже идет, — сказал я. — Войны были при Киссинджере. Войны идут постоянно. Америка уже проиграла несколько войн.

— Америка не воюет. Это главное. Я думаю о своем народе.

— Рано или поздно советские танки будут здесь. Если их не остановить сейчас.

— Это будет не скоро. Ведь Россия так далеко...

— Боже, как ты глуп! — хотелось выкрикнуть мне. — Как ты завидно и спасительно глуп...

Но я сдержался. От этого человека в какой-то степени зависело мое будущее».

Интересно, что бы сказал Сергей Донатович сейчас, когда американские танки уютжат новороссийские города и поселки. Как показывают недавние события, суть российских диссидентов не поменялась...

\*\*\*

Если говорить о литературе, нельзя не упомянуть три луганских имени, оставивших значимый след в русской культуре — автора «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля, поэта-песенника Михаила Матусовского и писателя Владислава Титова. Масштабы этих личностей так велики, что вряд ли появятся имена, способные их затмить.

Не менее сильно, чем литературой, я увлекался музыкой. С самого рождения мне сопутствовали такие группы, как «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», и хриплый голос великого барда Владимира Семеновича Высоцкого. В юности на мой музыкальный вкус повлияли пристрастия двоюродного брата из воронежской деревни. Таким образом, в моей жизни в 2000-х появились песни Андрея Лысикова, выступавшего под псевдонимом «Дельфин», и другой рэп, а также практически мои земляки — воронежские рок-исполнители Юрий Хой и «Сектор Газа».

В тот же период появились записи интересных зарубежных исполнителей хип-хопа, главным из которых был Эминем. Представьте: баскетбольная площадка, несколько команд по три человека, резкие четкие движения в попытках отобрать у соперников мяч и забросить его в корзину. Играть в баскетбол под «Сектор Газа» или «Агату Кристи» неудобно. У нас во время командных игр на дворовых площадках звучал всем знакомый ритмичный речитатив. Наверное, поэтому песня московской группы «Многогочие» «В жизни так бывает» у миллионов моих сверстников ассоциируется с серединой нулевых.

\*\*\*

В том же десятилетии на телеэкранах появилось много качественных сериалов — «Доктор Хаус», «Теория большого взрыва», «Блудливая Калифорния» и многие другие. В части кинематографа Луганск находился



в общемировом тренде. Невозможно было представить нашу жизнь без «Властелина колец» Питера Джексона, «Матрицы» братьев Вачовски или фильмов о Гарри Поттере...

Киноиндустрия Украины до войны 2014 года была недоразвита. Мне не запомнилось ни одного достойного украинского фильма. Поэтому мы потребляли российский и западный кинопродукт. Позже появились некоторые успешные совместные проекты. Например, телесериал «Сваты», но это было скорее исключением. После начала конфликта в Донбассе киевские власти начали выделять деньги на художественное военное кино с целью пропаганды официальной точки зрения. К сожалению, в России до сих пор не спешат художественно переосмыслить трагические события, происходящие уже десять лет в Донбассе. Появилось всего несколько фильмов на эту тему, но, кроме «Солнцепека», ничего не вспоминается.

Надо сказать, что из-за всеобщей бедности возможности путешествовать не только за рубеж, но и по стране у большинства жителей юго-востока Украины не было. Поэтому учебное время я обычно проводил в Луганске, а каникулы — в воронежской деревне. Когда я в 20 лет впервые увидел Черное море и Севастополь, они произвели на меня сильнейшее впечатление. Город русской воинской славы, город-герой я полюбил раз и навсегда. Слова умирающего вице-адмирала Владимира Корнилова: «Отстаивайте же Севастополь!» — актуальны и по сей день. Только отстаивать надо не только его, а и всю Россию!

\*\*\*

2010 год выдался насыщенным на поездки — в начале сентября я впервые в жизни посетил древний, дышащий историей город Киев. Мой учившийся на политолога товарищ по университету предложил:

— Хочешь на халяву в Киев съездить, да еще и заработать?

— Кто же не хочет?

— В общем, это будет митинг против легионеров в украинском футболе. Ты же за то, чтобы не иностранцы, а украинские дети становились профессиональными футболистами?

Цель казалась благородной. У детей должны быть возможности развиваться в спорте...

Взгляды моего товарища ни для кого не были секретом. Он был правым. Однажды на втором курсе на одну из наших неформальных встреч, а попросту студенческих пьянок, он явился в нацистской форме — черном плаще, фуражке и бритый наголо. Прозвище у него было соответствующее — Адик (сокращение от имени Адольфа Гитлера). Мы тогда смеялись, считая это эпатажем. Через несколько лет, когда началась война в Донбассе, стало не до смеха. Сотни таких оболваненных отправились «резать русню».

Все оказалось непросто и с той поездкой в Киев. Со всей страны съехались футбольные фанаты — ультрас, позже составившие костяк нацбатов, воевавших против Донецка и Луганска. Митинг в поддержку украинского футбола на поверку оказался митингом националистов, на котором звучали лозунги: «Бандера придет — порядок наведет» и «Москалей на ножи»,





а в руках у радикальной молодежи были в том числе флаги еще малоизвестного «Правого сектора» (признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Я помню свою дневниковую запись о том, как неприятно находиться в распаленной националистическими лозунгами толпе. Молодежь вовлекают в подобные акции, прикрываясь высокими целями, а потом «рядовые» расплачиваются жизнями за политические амбиции «генералов».

\*\*\*

Спустя год, в 2011 году, мне довелось посетить Львов. Моя тогдашняя подружка возвращалась из Европы, и мы договорились встретиться там, чтобы погулять по городу. Я ехал из Луганска во Львов на поезде 27 часов, не зная, где мы будем жить. Отели — удовольствие дорогое, а финансовые возможности студентов ограничены. За несколько часов до прибытия поезда в пункт назначения ко мне в плацкарте подсел незнакомый мужчина. Мы разговорились, и я описал ему свою ситуацию. Дядя Миша поведал, что едет к родственникам, которые сейчас отдыхают на море, делать ремонт в трехкомнатной квартире. Он договорился, чтобы они бесплатно пустили нас на несколько дней. Волновавший меня вопрос был решен.

Львов оставил в моем юношеском сознании самые лучшие впечатления. Воссоединение с любимой девушкой, прогулки по городу с европейской архитектурой, общение с людьми, романтика. Несмотря на хорошее владение украинским языком, мы разговаривали исключительно на русском и ни разу не столкнулись с дискриминацией по этому признаку. Никто не отказывался продавать нам продукты или другие товары. Мы гуляли по старинным улочкам, распевая «Небо славян» группы «Алиса», и ощущали, что «все это наша земля, все это мы». Вероятно, нам просто повезло не наткнуться на украинских русофобов. Нам даже «посчастливилось» лицезреть мэра города Андрея Садового в окружении журналистов. Поскольку он и поныне городской голова, его политические воззрения вполне очевидны.

Мы тогда не сталкивались с проявлением нетерпимости и агрессией к русскоговорящим. Однако запомнился огромный плакат с изображениями повешенных и замученных и надписью: «Коммунизм = Нацизм». Как видим, планомерная и до поры до времени спокойная пропаганда ненависти к общему советскому прошлому велась уже тогда.

Позже на стене мы увидели появившееся во времена правления Ющенко граффити: «Янукович, прости нас». Даже во Львове многие были разочарованы политикой текущей власти и позже голосовали за выходца из Донбасса.

\*\*\*

В начале 2010-х на Украине случилось несколько спокойных лет правления Партии регионов во главе с президентом Виктором Януковичем, но говорить о развитии, по крайней мере на уровне города Луганска, было трудно. Приведу данные о жилищном строительстве за 2013 год. В Луганской области было построено всего четыре (!) многоэтажных дома. По сравнению

со многими российскими городами, в которых строятся целые микрорайоны, это просто слезы.

За годы независимости в Луганске построили всего несколько многоэтажек, а также элитный жилой комплекс «Оксфорд». В последнем по причине заоблачной стоимости квартир никто не жил. Заработать на новое жилье, имея мизерные зарплаты, было нереально. Поскольку программы доступной ипотеки на Украине не было, многие граждане были вынуждены всю жизнь арендовать квартиры. Повезло тем, кому жилая недвижимость досталась по наследству.

Согласно официальной пропаганде, перед «антитеррористической операцией» (АТО) 2014 года на Украине улучшались экономические показатели, рос ВВП, повышалось качество жизни... Может, у олигархов что-то повышалось, но основная масса населения с трудом сводила концы с концами.

Многие представители украинского бизнеса были недовольны тем, как действовала Партия регионов. Ее именитые представители не выкупали бизнес у конкурентов, а с помощью рейдерских захватов отбирали силой. Это касалось многих сфер, поэтому недовольство правлением Януковича постоянно росло.

Один главный редактор независимого издания сказал мне следующую вещь: «“Оранжевые”, когда были при власти, всегда платили за размещение своих материалов в газете, Партия регионов просит опубликовать статьи бесплатно». Прессе приходилось идти навстречу таким «просьбам», ибо кто захочет ссориться с действующей властью? Поэтому и на востоке Украины было недовольство Януковичем и его командой.

Уверен, что, если бы не начались военные действия и в 2015 году прошли нормальные выборы, даже Донбасс бы за него не проголосовал. Но история не терпит сослагательного наклонения — второй Майдан обернулся гражданской войной. Западным элитам для ослабления России был нужен военный конфликт...

Если раньше кто-то жаловался на жизнь, теперь было с чем сравнить. Миллионы жертв конфликта обнищали, лишились крова и источников к существованию, а десятки тысяч погибли. Худой мир лучше хорошей войны. Да только теперь от нее никуда не деться. Мировая система меняется, устанавливаются новые правила игры, паны дерутся, а у холопов чубы трещат и позвонки хрустят.

\*\*\*

Когда начались известные события в 2014 году, костяком сопротивления и основой ополчения Донбасса стали бывшие военные, люди, прошедшие войну, казаки и шахтеры.

Что такое донбасский характер? В первую очередь это бесстрашие. Я понял это, однажды увидев, как горняки поднимались из шахты. Эта картина поразила меня и запомнилась на всю жизнь. Смурные, угрюмые, уставшие мужики с черными от угольной пыли лицами выходили из забоя, отпахав смену. Они и в мирное время каждый день рисковали своими жизнями и нередко



гибли на производстве. Смерть ходила с ними рядом, они привыкли к этому. Поэтому в Донбассе создавались шахтерские дивизии, не раз показавшие себя в бою.

Недавно подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре со мной пообещал: «Все русские города будут освобождены». Может, тогда русскоязычная Украина начнет развиваться. Наблюдая масштаб работ по восстановлению Мариуполя, Луганска и других донбасских городов, обретаешь надежду, что так и будет. Есть большие праздники «со слезами на глазах», а есть и маленькие победы. Например, когда ты идешь по родному двору и видишь, что в нем, после присоединения к России, отремонтировали асфальт и ликвидировали выбоины и ямы, при прежней власти мешавшие жителям больше 30 лет...



Михаил КОСАРЕВ, Михаил ХЛЕБНИКОВ

## ПАРАДОКСЫ ВРЕМЕНИ И МЕСТА

*Самохин и Довлатов*

*Бывают странные сближенья...*

А. С. Пушкин

Что можно извлечь из сопоставления вынесенных в подзаголовок имен? Где вообще точки пересечения между ними? Один — всемирно известен, его знает, наверное, всякий читающий по-русски, и еще какой-то части людей он знаком в переводах. Слава и многочисленные переиздания пришли к Довлатову после смерти, а написал свои, ныне канонические, тексты он уже в эмиграции. Второй был хорошо известен при жизни, его сборники, выходя из печати, сразу переходили в разряд книжных дефицитов, и хотя Самохин не вполне был доволен своей писательской долей, не только в эмиграцию, но даже в Москву из ставшего ему родным Новосибирска уезжать не собирался. Слава его так и осталась областной, несмотря на то что книги расходились по всему Союзу. Черта, подытожившая в начале 1990-х всю советскую литературу, как бы перечеркнула Самохина — в числе всех «благополучных» доперестроечных писателей; издательские взоры обратились на тексты «из стола» и авторов-эмигрантов, в их числе — Довлатов.

Так где же черты сходства?

Кое-что поможет объяснить альманах «Молодой Ленинград» за 1977 и 1979 годы.

### Тридцатишестилетний ленинградец

Итак, откроем книжки альманаха. Среди нескольких десятков их авторов — некий С. Далматов. Напомним, что эту фамилию носит немолодой эмигрантский писатель — герой поздней повести Довлатова «Филиал». В подборке 1977 года у «Далматова» четыре рассказа. Один из них называется «Ларек» и имеет подзаголовок «Рассказ очевидца». Действие происходит вокруг только что открывшегося пивного ларька. Возникает проблема с обеспечением его водой. Директор ларька пишет объявление с просьбой откликнуться всем неравнодушным. Безымянный герой — любитель «огреть пару кружечек» — не может оставаться в стороне:

Прихожу, а вокруг ларька народу собралось — тьма. И все наш брат, мужики. Волнуется толпа, гудит, обсуждает предстоящий момент

потребления пива. Приходит директор, а с ним двое рабочих — трубы приносят. Вдруг какой-то мужичок из толпы вылезает.

— Вы что это принесли? — спрашивает.

— Как что? Трубы.

— Вижу, что трубы, не слепой. А какие трубы? Железные! От них вода ржавая будет — пиво весь букет потеряет. Понимать надо! Погодите-ка, я домой смотаюсь, трубы из нержавеющейки принесу, специально для этого дела с завода приволок...

Но на этом созидательный порыв широких народных масс не иссякает:

Стоим, ждем, пока пиво привезут. Вдруг кто-то говорит:

— Ребята! Гляди, какой ларек-то хлипкий. Продавец в нем летом от ветра качаться будет, а зимой от мороза стынуть. Перебои в торговле пойдут. Чего без дела-то стоять, давай каменный соорудим! Для себя ж делать будем, не для дяди... — И добавляет: — А кирпич я на себя беру, зря, что ль, прорабом работаю...

Без сомнения, рассказ написан Довлатовым. Но вполне мог принадлежать и перу Самохина! Задумаемся: трогательное единение трудящихся мужского пола вокруг перспективы «культурно посидеть», то есть выпить, а также абсолютная готовность каждого работяги позаимствовать у себя на производстве любой необходимой «для общего дела» материал — разве не те же мотивы раз за разом встречаются у Самохина, писателя очень внимательного к социально-бытовой стороне советской действительности? Да и сама интонация рассказа, ни разу не гневно-обличительная, а скорее добродушно-усмешливая, — тоже близка самохинской. Николая Яковлевича часто упрекали за то, что, зорко замечая тех, «кто мешает нам жить» (такая формулировка бытовала во время оно по отношению к несознательным гражданам), он почему-то рисует их недостаточно черной краской.

Мы не знаем всех написанных Довлатовым в Союзе текстов. Их немало, но по воле автора обнародованы они никогда не будут, что, впрочем, не мешает нам о них говорить, так как их следы присутствуют в поздней прозе писателя. Обратимся к опубликованным. Это прежде всего повесть «Интервью» в шестом номере журнала «Юность» за 1974 год, рассказ «По собственному желанию» в журнале «Нева» в 1973 году. Кроме того, в «Крокодиле», «Авроре», «Молодом Ленинграде», многотиражных газетах, в которых Довлатов работал, публиковались его юмористические рассказы и миниатюры.

Своеобразную хронику или отчет видим в его письме к отцу от 21 июля 1971 года.

«Крокодил» заказал мне два фельетона. Я их кое-как написал и отправил. Один кошмарный про взятки, а другой менее пошлый про сферу обслуживания. «Молодой Ленинград» мы с Леной подписали к печати, «Дружба» с цирковым рассказом выйдет в сентябре. В «Звезду» приняты две рецензии. Одна, первая, появится в сентябре. Есть еще мелкие работы в «Костре» и Лениздате.

Короче говоря, в сентябре у меня не будет ни копейки долгу, да еще живая наличность, рублей 150.

Как видим, преобладает юмористика. За исключением упомянутого рассказа и короткой повести «Интервью», о которой будет отдельный разговор,

а также рецензий. Последние были, конечно, журнальными однодневками, но Довлатов и их присоединял к невеликому своему литературному капиталу.

Рассказы в двух номерах альманаха «Молодой Ленинград» не имеют жанрового определения, но безусловно укладываются в канон юмористических. Перед нами две достойные подборки, но в судьбе Довлатова они ничего изменить не могли. Видимо, книжку 1979 года он даже не держал в руках: был уже за границей.

### Тридцатилетний новосибирец

Если быть точным, Самохину еще не исполнилось тридцати, когда он стал автором трех книг. В 1962—63 годах в «Библиотеке одного рассказа» (вот какие существовали книжные серии!) вышли тоненькие книжки «Прекрасная несправедливость» и «Ровесники» и в том же 1963 году — сборник юмористических рассказов «2 000 Колумбов». Так или иначе, но к тридцатилетию Николай Самохин не только сам утвердился в выборе жизненного пути, но и в глазах окружающих — нельзя недооценивать этого обстоятельства — являлся состоявшимся писателем. Конечно, с известной поправкой на местный масштаб. Книги вышли в новосибирском издательстве, и в периодике он печатался тоже местной.

Все у Самохина получалось как-то легко и естественно. В. И. Зеленский, позже редактор, а в те годы — сотрудник журнала «Сибирские огни», озаглавил свои воспоминания о коллеге «Баловень судьбы». Без зависти или осуждения, просто как факт.

В отличие от Довлатова, учившегося, как известно, «по профилю» — на филфаке университета, — Самохин по образованию был технарь и, окончив институт инженеров водного транспорта, работал первое время мастером на стройке (специальность у него была строительная). Довольно скоро, однако, начался его дрейф в сторону писательства: диплом инженера был отринут, и он попробовал себя в журналистике. Сначала в «Советском воине» (газета Западно-Сибирского военного округа), а затем в новосибирской «Вечерке».

Вечерняя газета появилась в городе совсем недавно и была любима читателями. Многих приятно грел тот факт, что «Вечерка» полагалась (всё в советской державе было регламентировано) городам столичным либо миллионникам. Новосибирск только шел к своему миллионному жителю, но городская вечерняя ежедневная газета у него уже была.

Молодой редакционный коллектив старался держать марку и радовать горожан интересными и острыми материалами. Так было решено в каждом (!) номере давать фельетон. И одним из главных фельетонистов стал Николай Самохин. Он работал в отделе городского хозяйства и, понятно, недостатка в темах не испытывал.

Небольшое отступление. В свое время много было рассуждений на тему, как связаны писательство и журналистика. Большая часть литературного сообщества склонялась к мнению, что газетная поденщина писателя портит. Начинающие авторы 1970—80-х годов шли в созерцательные профессии — в дворники и кочегары, чтобы оставить незамутненным быющий внутри них источник чистой литературы. Самохин однажды посоветовал



одиноким творцам применить хоть часть своих талантов в многотиражках — и получил гневную отповедь застоявшихся на старте гениев.

Сам Николай Яковлевич никогда не считал журналистику низшим сортом. Уже в зрелом возрасте он отчасти вернулся к газетной работе, став собственным корреспондентом «Литературки» по Сибири и регулярно выступая на ее страницах на многие, не только литературные, темы. И ежедневные фельетоны молодости ему не осточертели — он продолжал обращаться к этому жанру всю жизнь. Вышедшая в 1987 году в «Советском писателе» книга «Прощание с весельем» имеет подзаголовок: рассказы, фельетоны.

И здесь уместна будет параллель с Довлатовым. Журналистикой тот просто зарабатывал себе на жизнь, отнюдь не роскошную. Как в советских газетах, так и на радио «Свобода» Довлатов подсчитывал наносимый службой убыток в строчках ненаписанной прозы. Но был у него период журналистского энтузиазма — недолгая история издания «Нового американца». По статьям в ней мы можем судить, что Довлатов был одарен и этим талантом — публициста и редактора. Однако с «Новым американцем» Сергею Довлатову опять не повезло. Как известно, газета была задумана и создана бывшими советскими журналистами — Борисом Меттером, Евгением Рубиным, Алексеем Орловым. В самый последний момент к ним присоединился Довлатов. Из письма Игорю Ефимову от 22 марта 1979 года:

Дорогой Игорь!

Извините, что обращаюсь под копирку. Сразу же перехожу к делу. В Америке создается новая газета. Вероятно, я буду иметь к ней отношение. Возможные скептические доводы мне известны. Я их долгое время разделял. Что же меня убедило в практической целесообразности этой затеи? В чем индивидуальность новой газеты? Каковы деловые перспективы?

Нынешние русские газеты обращены к эмиграции вообще. В поле их зрения — Россия главным образом. Новая газета обращается к третьей эмиграции. К людям, приехавшим навсегда. Пытающимся найти свое место в амер. жизни...

О чем я прошу и умоляю?! Пришлите что-нибудь свое. Бесплатно. Полгода мы работаем бесплатно. В дальнейшем предполагаются гонорары.

Пришлите что-нибудь. Я обращаюсь лишь к тем, у кого нет бездарных вещей. Обратитесь к талантливым знакомым. Настоятельно прошу.

Буду ждать. Все меня считают легкомысленным, и правильно. Но сейчас я действую очень трезво, увидите. Не откликнитесь — запью!

Буду очень ждать. Объем — как можно больше. Но благодарю и за одну страницу.

В это время он пребывал в состоянии эйфории — уникальный случай для мрачноватого Довлатова. Газета вышла в свет в феврале 1980 года. Энтузиазм создателей быстро перешел во взаимную активную неприязнь. Каждый не без причин считал, что компаньон обладал зримыми недостатками, стоящими на пути процветания «Нового американца». По очереди каждый занимал должность главного редактора, делая издание все более безвозвратно убыточным. Побывал на посту руководителя и Довлатов. Большую популярность имела его колонка, он постоянно придумывал какие-то ходы для повышения популярности издания, искал и продвигал новые таланты. Но после ряда скандалов Довлатов попросту сбегает из газеты. К журналистике, как



и к другим видам коллективной деятельности, он относился с нескрываемым отвращением, считал ее мрачной поденщиной — символом собственной писательской несостоятельности. Его угнетала невозможность быть просто автором, жить за счет литературной работы.

Возвращаясь в Новосибирск 1960-х, мы видим, как легко и естественно из Самохина-журналиста вырос писатель со своим голосом и взглядом на мир. Первые его прозаические опыты печатались в «Вечерке», часть рассказов из сборников шестидесятых годов — это переработанные фельетоны. Рукописью оставалась неопубликованная лирическая повесть «Любовь без мягкого знака». Забегая вперед, скажем, что это единственное пожелтевшее в столе произведение писателя: как правило, самохинские тексты печатались «с колес».

Другой новосибирский писатель Илья Картушин дал как-то иронический портрет местного классика, имевшего в своем творческом багаже «речные повести, числом четыре: “Русло”, “Берега”, “Стремнина”, “Причал”. Повести проистекали из заметок, очерков, рассказов времен студенчества, печатал в многотиражке “На вахте”, там же работал. Очерки сбивались в кучу, распухали поодиночке, превращались в повести; журнал, сборник, отдельная книжка, издательство, служебный рост, творческий рост, с новой повестью переиздавалась старая, повести тягуче склеивались в роман, может быть, роман-дилогию, панорамное, так сказать, полотно».

Да, существовал и такой способ плавного перетекания из журналистики в писательство, но он требовал множества усилий именно внелитературных. Это не случай Самохина, который азартно, не скупясь, не сортируя (это приберегу для высокой литературы!) работал в ежедневной газете, писал так, что его фельетоны зачастую перерастали границы жанра, и при этом еще выкраивал время для прозы лирической, очень далекой от злобы дня.

В 1965 году Николая Самохина пригласили работать в журнал «Сибирские огни», то есть он занял одну из немногих в городе Новосибирске «штатных» писательских должностей. Поясним. В советское время авторам выплачивались солидные на фоне средних зарплат гонорары, к тому же любой текст можно было «продать» как минимум дважды (журнал и книга). Однако публикации были редки, и жить на литературные заработки писателю из провинции, как правило, не удавалось. Надо было где-то работать. Почти без ущерба для собственного творчества член СП мог служить в издательстве, в многочисленном аппарате писательской организации или в литературном журнале. Благо в Новосибирске было и первое, и второе, и третье. Словом, с точки зрения внешних обстоятельств в самый продуктивный творческий возраст Самохин вступал обеспеченным и с тыла, и с флангов.

### Силовые линии судьбы

«...В моей биографии, по крайней мере во внешнем ее рисунке, мало поучительного и уж во всяком случае — оригинального. Выслушайте биографию тридцати-сорокалетних инженера Иванова, врача Сидорова, артиста Петрова — и будете иметь перед глазами жизненный путь писателя Самохина». Это из сборника «Писатели о себе» (Новосибирск, 1973). Традиционная фигура скромности? Не совсем. Ведь эту фразу можно прочитать и так: как Иванов





родился инженером, так я — писателем. И далее в своем коротком остроумном эссе — конечно, со всей возможной самоиронией — Николай Самохин говорит именно о предопределенности, о выборе, в котором не властен.

А что же Довлатов? У него, казалось бы, все наоборот: недоучившийся студент, лагерный охранник, не любящий свою работу журналист, камелотес, экскурсовод, временами просто асоциальный элемент, затем эмигрант и «вражеский подголосок» — но и его биография говорит все о том же: о предопределенности. Писательский талант — сильная и своевольная вещь. Редко какие жизненные обстоятельства его одолеют.

Впрочем, именно о жизненных обстоятельствах и хочется поговорить. Пожалуй, теперь уже очевидно, что эпическое невезение, преследовавшее молодого писателя Довлатова, было в каком-то высшем смысле везением. Когда на рубеже девяностых ситуация в нашей литературе и книгоиздании стопроцентно отзеркалилась, запрещенный в Союзе Довлатов оказался, извините за выражение, «в тренде». А дальше уже сами за себя стали говорить его тексты. Потоки «возвращенной литературы» схлынули, а тома Сергея Довлатова остались.

Однако при жизни писателя предсказать все последовавшие события не взялся бы никто, и Довлатов, вероятно, до последних дней считал себя литературным неудачником. При некоторой разнузданности воображения можно даже представить себе посещающего его посланца потусторонних сил с мифистофелевским вопросом: ты будешь очень знаменит после смерти, а не желаешь ли обменять эту великую славу на славу скромную, но прижизненную? Интересно то, что Довлатов неоднократно заявлял, что вполне согласился бы с ролью среднего советского писателя.

Вот и отправная точка для наших рассуждений: получается, что Сергей Довлатов завидовал Николаю Самохину. Которого, скорее всего, не знал даже заочно, по книгам, но который по всем анкетным данным соответствовал тому, что Довлатов вкладывал в понятие «средний писатель». Ясно, что это не оценка дарования, а именно социальная роль, графа — вся наша жизнь тогда была расчерчена по столбцам и строкам. К тому же, напомним, юмористика — это единственный перекресток, где могли пересечься Сергей Довлатов и советская литература. Итак, что же помешало ему хотя бы для начала, для старта повторить путь Николая Самохина?

Прежде всего, как это ни странно, разница в возрасте. Невеликая, всего семь лет.

Однако за эти семь лет много чего произошло.

Самым расхожим объяснением будет: закончилась оттепель. Как раз к моменту, когда Довлатов входил в возраст, в котором обычно дебютируют прозаики, то есть ближе к тридцати, наступили — согласно позднейшей социологической теории, объясняющей все и вся, — первые «заморозки».

Отметим, что к этой схеме однажды прибег в своих рассуждениях и Н. Я. Самохин, общие места вообще-то не жаловавший. Говоря о различиях между литературными поколениями, он в одной из статей упомянет писателей, успевших «хлебнуть кислорода» после поворотного двадцатого съезда КПСС (1956 г.), и тех, кто по младости запоздал и оказался «на голодном кислородном пайке».

Может быть, это и важно, если речь ведется о писателе, охваченном жаждой социального переустройства жизни. Но среди вступающих на стезю сочинительства таких меньшинство, преобладают лирики и просто индивидуалисты. И вообще — сошлемся на авторитетнейшее мнение Юрия Трифонова — первая книга, независимо от того, о чем и как она написана, это крик новорожденного автора: «Аз есмь!» Собственно литература, нечто интересное и важное не только писателю, но *читателю*, начинается, как правило, со второй книги. Или *не* начинается, вторые книги многим не удаются и оказываются последними.

Нам представляется, что «живительный воздух XX съезда», применительно к литературе, — категория не политическая, а сугубо эстетическая. Труд писателя был похож на школьные штудии, сочинения на заданную тему. Всем было ясно, какой идейный заряд призван нести текст, да и апробированных способов изложения было немного. Прекрасно, если автору удавалось оживить догматические конструкции своей яркой индивидуальностью, это был высший пилотаж... И вдруг в одночасье круг дозволенного расширился. Настолько, что его границы терялись вдали, а в чьей-то горячей голове попросту исчезали.

Новые веяния повлияли в первую очередь не на сочинителей — на редакторов. Основной критерий отбора — следование канону — был отброшен. Оказалось, писать можно и так, и так, и даже эдак, и еще совсем по-другому. Лишь бы интересно, содержательно, свежо, узнаваемо. То были недолгие несколько лет, когда при оценке произведений новых авторов главенствовали критерии таланта. По количеству явленных новых имен ни один период нашей литературы не сравнится с началом шестидесятых.

Когда бывший студент Довлатов служил срочную во внутренних войсках...

Здесь самое время появиться «гайкам», но мы обойдемся без этой схемы, оставим ее студентам нынешнего века, качающим из интернета рефераты о советской литературе послевоенного периода. «Закручивались» вышеупомянутые метизы чаще всего бессистемно, как бог на душу положит, преобладала, как всегда, кампанейщина. Идеологические отделы из перестраховки могли устраивать редакционно-издательским работникам головной мозг по ничтожным поводам — но могли и пропустить в печать, например, сатирический роман Юрия Алексеева «Бега» (М., 1972). Не будем отвлекаться и его пересказывать, желающие могут найти, прочитать — и очень удивиться.

Ситуацию под тотальный контроль взяло отнюдь не государство, а сообщество литературных функционеров, которые имели внешние формальные признаки писателей: с книгами, киносценариями, премиями. Единственное, в чем они проявляли писательскую скромность и незаинтересованность, — наличие читателей. В силу объективной ненужности. Их идеологией стало делячество, основанное на железном советском принципе «что охраняю — то и имею».

Вот, к примеру, как обрисовывает свое знакомство с этим явлением известный критик и литературовед Сергей Боровиков — в его книге «В русском жанре» есть любопытная сценка. Автор беседует с двумя коллегами постарше, и один из них, без капли юмора, его поздравляет:





— Вот ты, Сережа, уже небезлошадный, ты смолоду уже ларечек получил в пользование. Это мы с Олешкой пролетарии литературного, так сказать, труда, и должны действительно, понимаешь, обслуживать имущих, чтобы на кусок хлеба заработать.

Под ларечком понималась недавно занятая мною должность заведующего отделом критики журнала «Волга».

Политэкономия советских писателей в изложении Ч. была крайне проста. Писатели подразделялись им на неимущих, то есть не служащих и не имеющих чинов, и имущих, среди которых первый ряд занимали, естественно, секретари творческого союза, главные редакторы журналов, киностудий, издательств. Но и самые мелкие, казалось бы, вроде моей, должностишки, обладали немалым потенциалом...

Потенциал, понятно, заключался в том, что сотрудник даже провинциального журнала обрастал со временем горизонтальными, вертикальными, диагональными, да какими угодно связями в издательском мире, мог похвалить чью-нибудь книгу, мог кому-то дать заработать. А долг платежом красен, и вся конструкция закольцовывалась в совершеннейший перпетуум-мобиле, в новых авторах со стороны совершенно не нуждавшийся.

Те же, кто уже получил признание, чувствовали себя внутри складывающейся жесткой системы вполне комфортно. Более того, их имена и их новые произведения составляли как бы фасад литературного процесса. Функционеры не покушались на вершины, они обеспечивали «вал». Кстати, упомянутый выше герой повести Картушина — не только автор будущей дилогии о речниках, но и главред издательства. В классификации «критика Ч.» это уже не ларек, а лабаз.

В завершение разговора о том, как писатель Довлатов не угадал со временем, попробуем представить себе Василия Шукшина, принесшего свои первые рассказы в московские журналы на десять-двенадцать лет позже, чем это произошло в действительности. Кто-то скажет: столь яркий талант в любом случае пробил бы себе дорогу. Возможно. Но и сомнения как-то очень настойчиво лезут в голову. Постарайтесь прочитать рассказы Шукшина, вздев на себя скептическую мину усталого рецензента. Представьте именно машинописный текст, еще и с правками, скорее всего. «Строчки, не одетые в броню типографского шрифта, бессильны» (Н. Самохин). Какие-то зарисовки, сценки, почти без сюжета. «Гольи», без малейшего моралитэ финал. Описываются самые настоящие труженики, соль земли, — а ни одной картины созидательного труда. Подчеркнуто простой, внешне бедноватый язык. Отказать такому автору по формальным основаниям — легче легкого. Да, это целый новый пласт жизни, новый герой в нашей словесности и даже, наверное, новый жанр. Но так ли это важно литературному клерку...

### Продолжаем о судьбе: место

Самохин имел перед Довлатовым фору не только во времени. Предпочтительнее его стартовые позиции были и с точки зрения места.

В Ленинграде концентрация молодых и не очень молодых людей, считающих, что их призвание — литература, была на порядок выше, чем в Новосибирске. Позволим себе высказывание в довлатовском стиле: количество

литературных талантов в Ленинграде было противоестественно высоким. Значительная доля из них принадлежала к числу «непризнанных гениев». Довлатов мог претендовать на половинную, усеченную формулу: он был просто «непризнанным», «гением» его никто никогда не называл. О причинах этого позже, а сейчас поговорим о ситуации на литературном фронте в общем. Проблема реализации реальных или мнимых писательских талантов упиралась в зримую ограниченность издательских, журнальных, номенклатурных ресурсов. Ленинградские писатели того времени располагали лишь двумя журналами: «Звезда» и «Нева», последний появился только в 1955 году. Литературное сообщество было раздроблено на несколько кланов, которые сражались между собой за право распоряжаться, увы, ощущаемо конечными благами. В этой ситуации распахнуть объятия молодому поколению означало оторвать от себя вполне понятный кусок. Но иногда «молодые таланты» допускались к пиршественному столу. Нельзя сказать, что причиной тому являлось признание молодых талантов. Как правило, это было связано с той же клановой борьбой. Так, весной 1965 года произошел «массовый», по ленинградским меркам, прием в члены Союза писателей молодых авторов. Высокой чести удостоились сразу трое: Андрей Битов, Александр Кушнер и Игорь Ефимов — многолетний «друг» и покровитель Довлатова. Вот как об этом он вспоминал:

Руководил церемонией приема поэт Михаил Дудин. За столом президиума сидели члены секретариата, и среди них мы не увидели знакомых и дружественных лиц. Дудин пытался «провести мероприятие» в дружески-шутковском тоне: «Эх, ребята, вы да мы, будем вместе топтать вперед, дружно, по-товарищески, пока, так сказать, не требует поэта Аполлон...» «Ребятаки» сидели с каменными лицами, на улыбки не поддавались, от хлопанья по плечам отшатывались.

Оставим на совести Ефимова пассажи об «отшатывании», но отметим следующее. Руководил церемонией приема не просто поэт Михаил Дудин, а первый секретарь правления ЛО СП РСФСР. Поэтому хорошее настроение Дудина вполне объяснимо — он только что вступил в должность. Главой ленинградских писателей Дудин стал после дворцового переворота — давняя петербургская традиция — в начале 1964 года. В середине января состоялось отчетно-выборное собрание ленинградских писателей. На нем лишился своей должности Прокофьев. По результатам выборов он не прошел в состав нового правления, а потому автоматически лишился возможности претендовать на секретарское место. Крушение Прокофьева связано с зачисткой, которая проводилась после смещения Хрущева в октябре прошлого, 1964 года. В частности, негласно в вину Прокофьеву ставился скандальный процесс над Иосифом Бродским — будущим нобелевским лауреатом. Прелесть в том, что одним из реальных застрельщиков по делу опального поэта выступил Даниил Гранин — председатель комиссии по работе с молодыми авторами. После же свержения ретрограда Прокофьева Гранин примыкает к победителям и становится вторым секретарем правления. Знаком обновления и выступил прием в члены СП Битова, Кушнера и Ефимова. Изгиб истории — сосланный в Архангельскую область Бродский становится причиной прогрессивных кадровых изменений в СП.



Также не будем упускать из виду очевидное обстоятельство: волна литературного делячества распространялась от столиц к окраинам. Зачастую, чтобы преуспеть, оказывалось достаточно переехать. Новосибирец Илья Лавров, например, в молодости легко менял прописку. Такова была специфика актерской профессии — два сезона в одном театре, затем три в другом... Все сильнее увлекаясь писательством, он не находил отклика в московских редакциях. В Саратове случился очень относительный, усеченный какой-то успех: рассказы Лаврова напечатали, но сильно переделанными и к тому же перекрестив их в очерки. А вот в Чите его ждала прямая дорога к первой книжке. Там же вскоре вышла и вторая. В родной город он вернулся состоявшимся писателем, был теперь практически свободен в выборе тем и сюжетов и создал свою главную книгу — автобиографический роман «Мои бессонные ночи».

В жизни Сергея Довлатова был эпизод, когда он, повинуясь порыву, улетел вдруг через полстраны в город Курган — небольшой областной центр на границе Урала и Сибири. Начать с чистого листа не получилось, а вот если бы он проработал там несколько лет, а не месяцев... Кто знает, возможно, его первая книжка вышла бы в Зауралье.

В сущности, именно такой сценарий начал осуществляться в Эстонии. Таллин — хотя и не к востоку, а к западу от столиц — но тоже провинция. Русских литераторов там было немного. Книгу Довлатова приняли к публикации и даже уже набрали. А потом набор рассыпали — случилась история со злополучной рукописью «Зона», которая стоила Сергею не только книги, но и места в республиканской газете.

Но это всё непитерские фрагменты его биографии. В родном же городе литературные дела Довлатова пребывали в диапазоне от «никак» до «так себе». По возрасту, по неприятию официоза он примыкал к многочисленному сообществу ленинградской литературной молодежи. Будучи «борцами с системой», молодежь, возраст которой сильной выходил за предельно комсомольский, занималась тем, что создавала собственную систему. И в этом молодых ленинградских авторов нельзя упрекнуть — литературное пространство по своей природе является иерархическим. В эмиграции писатель состоял в переписке с Наумом Сагаловским. Последний не имел к ленинградскому литературному сообществу никакого отношения, поэтому Довлатов мог позволить определенную степень искренности. Из письма от 29 мая 1986 года:

Возвращаюсь к идее взаимных комплиментов. Хорошо когда-то действовал Марамзин. Году в 67-м он сказал на дне рождения Леша Лосева: «Довлатов — пятый прозаик земного шара». Умный и точный Леша спросил: «А кто первый?» Марамзин ответил: «Конечно, Боря Вахтин»... Оказалось, что все пять лучших прозаиков земного шара живут в Ленинграде, знакомы между собой и даже сидят за одним столом.

Простоватый Игорь Ефимов действовал куда более лобово, даже демонстративно. Елена Клепикова с нескрываемым наслаждением вспоминает:

На вечеринках у Игоря Ефимова, где гостей сажали, как в Кремле или Ватикане, по рангам, Сережа помещался в самом конце стола без права на женщину. То есть из тридцати гостей у педантичного Игоря трое самых ничтожных не могли приводить своих женщин. И Сережа, давя себе позывы встрять, весь вечер слушал парный конферанс Наймана

и Рейна, сидящих по обеим сторонам от сопредседателей Ефимова и его жены. Находясь в загоне, Сережа сильно киксовал и развлекал таких же, как он, аутсайдеров в конце стола. «Смотрите все!» — и подымал с пола стул за одну ножку на вытянутой руке. Говорил, что так может он и еще один австралиец. Единственное, что ему оставалось.

В 1969 году в литературной жизни Ленинграда случилось неординарное событие: начал выходить новый ежемесячный литературный журнал «Аврора». С момента его открытия и до 1975 года редактором отдела прозы в нем проработала Елена Клепикова. Учитывая как особенное, то есть хорошее, отношение Клепиковой к Довлатову, так и должность, которую она занимала, можно предположить, что удача улыбнется ему именно в «Авроре». Увы, этого не случилось. Довлатов приносит в новый «либеральный» журнал рассказы, пытается наладить контакты, завязать неформальные отношения. Клепикова рисует жесткую сцену приема Довлатова в редакции журнала:

...Он стоял в пальто, тщательно апеллируя к аудитории, — никто его не слушал. Был старателен и суетлив. Очень хотел понравиться как перспективный автор. Но главная редактриса смотрела хмуро. И ни один, из толстой папки, его рассказ не был даже пробно, в запас, на замену рассмотрен начальством для первых «авроровских» залпов.

На самом деле больше, чем от непризнания громадной и почти безличной редакционно-издательской машиной, он страдал от непризнания в своем кругу ленинградских «молодых прогрессивных» писателей. Если та махина могла изредка дать сбой, и в печать изредка проходил какой-то мелкий текст Довлатова, то в замкнутой иерархии доморожденных гениев он всегда оставался на низшей ступени. За мелкой игрой самолюбий все проглядели настоящий талант, в чем потом, конечно, никто никогда так и не признался.

Снова дадим слово Елене Клепиковой:

Никто его не принимал всерьез — как оригинального писателя или даже вообще как писателя. Помню у Битова, у Бродского, у Марамзина, у Ефимова, у Гордина, да у многих такой пренебрежительный на мой вопрос отмах: «А-а, Довлатов» — его воспринимали как легковеса. Наперекор его телесному громадью. Что любопытно: почти все эти, важные для Довлатова, питерские «состоявшиеся» молодые писатели, игнорируя его, вовсе его не читали, вспоминая сейчас только самые ранние его рассказы. А он писательствовал на родине без малого пятнадцать лет. Точно сказано: «Сережа был для них никто», — в смысле известности и пренебрежения им его коллег.

Довлатов всегда хорошо понимал свое положение как в «признанном», так и «непризнанном кругу гениев», пытаясь смягчить осознание иронией — верным признаком незащитности и ощущения собственной уязвленности. Парадокс в том, что спустя десятилетия он стал символом состоятельности, таланта своего поколения. Как, впрочем, и предшествующего, и следующего — верный признак попадания в историю. Отметим еще раз. Само «поколение» при жизни Довлатова не считало его не только «символом», но и просто не замечало.

Невольно подумаешь: хорошо, что в далеком Новосибирске не было у Самохина снобов-наставников, шикарных денди литературной моды.



И учился Николай Яковлевич, по его собственным словам, у Чехова, Ильфа и Петрова, Зощенко, О. Генри, Нушича...

## На просторах русской словесности

А какие же радости и горести поджидали Николая Самохина на его пути «среднего советского писателя»? Чего не избежал бы Довлатов, если б ему удалось утвердиться в этом статусе?

В те времена существовал интенсивный литературный процесс, что само по себе, конечно же, являлось благом. Звание писателя было общественно значимым. Власти не оставляли тружеников пера своим вниманием. Страна была читающей. Помимо специализированной прессы, о вопросах литературы широко высказывались и общеполитические издания. Но... ситуация сводилась к формуле из самохинского рассказа «Чудесная встреча»: «Словам тесно, а мыслям просторно». Очень мало было живой самостоятельной мысли и очень много — повторения общих мест. Так, в ходу были «обоймы» имен — например: Абрамов, Айтматов, Астафьев, Белов, Бондарев... Это не по алфавиту, это обойма литературных «передовиков». Были и другие обоймы — скажем, «молодых надежд нашей литературы». Были и такие, куда лучше не попадать. Кооптируют, допустим, в список «сорокалетних» — и будешь затем фигурировать в каждой статье про «мелкотемье» и «нравственный релятивизм».

Почему-то писателей обязательно надо было выстраивать рядами и колоннами, и вообще идея иерархии была в описании текущей литературы главенствующей. Так, любой критик знал, что юмор принадлежит к низшему сорту литературы и что в триаде «рассказ — повесть — роман» жанры перечислены не просто так, а опять-таки от низшего к высшему. Но главные градации были, безусловно, тематические.

Самохин, разумеется, это видел и об этом писал:

Ведь все мы (кроме недоумевающего читателя) прекрасно знали, что до последнего времени средняя «производственная», к примеру, повесть встречалась в журнале или издательстве с большим гостеприимством, чем, допустим, отличная лирическая. Автор, отдавший свое перо теме, провозглашенной критикой «ведущей» и «заглавной», получал как бы своеобразную фору.

Справедливость этого утверждения доказал, в частности... Довлатов, опубликовавший в журнале «Юность» (в самой «Юности»!) небольшую повесть «Интервью». Не то успех, не то позорная капитуляция молодого писателя.

Публикация состоялась в особом, июньском, пушкинском номере. На 1974 год приходился полулюбилей — 175 лет со дня рождения классика. Обложку номера украшал лежащий с книгой Александр Сергеевич.

Содержание «Интервью» таково: молодой журналист отправляется на задание — взять интервью у молодого передовика Горелова, коммуниста, спортсмена, представителя крепкой рабочей династии.

Журналисту задание неинтересно. Он размышляет над вечными неразрешимыми вопросами искусства. Его «поток сознания» перенасыщен культурными символами настолько, что пробуждает подозрение в дилетантизме:





Красота должна сопротивляться, — формулировал молодой газетчик, — пыльный куст у дороги мне милее голландских тюльпанов, которые бесстыдно выставляют напоказ свои яркие краски. Мне чужда знойная прелесть Южного берега Крыма, мне претят архаические красоты старого Таллина, так же, например, как живопись Куинджи, сияющая фальшивыми драгоценностями, или даже музыка Шопена, столь удобная для любви. Мои кумиры — неуклюжий, громыхающий заржавленными доспехами Бетховен, вечно ускользающий создатель Тристрама Шенди, безжалостный, мертвенно-зеленый Брак...

По поводу заводского брака журналист беседует с Павлом Гореловым. Он пытается на ходу склеить материал из штампов и заготовок, которыми уже как-то научился пользоваться:

- Ясно. Простите, что это за штука?
- Магазин сопротивлений.
- Значит, вы склонились над магазином сопротивлений?
- Вроде бы склонился.
- Вас, очевидно, можно сравнить с хирургом, который щупает у больного пульс. Могу я так выразиться: «Напряженный пульс прибора»?

Постепенно разговор выползает из колеи привычных газетных производственных вопросов-ответов с заходом в тему «личных увлечений». Выясняется, что отец Горелова — инженер, работающий на этом же заводе. Павел несколько неожиданно объясняет выбор рабочей профессии эстетическим фактором:

Возьмем поэзию. Ты выразил чувства, которые для тебя все, а другому они кажутся пошлыми. Читаешь дневники великих писателей — они до смерти не могли понять, нужны ли их книги. А когда я работаю, все понятно. Я точно знаю, что хорошо, что плохо...

Сейчас к отцу и мачехе ушла жена Горелова — Катя. Она недовольна тем, что муж отказался от должности мастера-наставника в ПТУ, к которой прилагалась новая квартира. Горелову же интересно его занятие: «работа не должна быть тупее человека».

Беседа затягивается, журналист узнает о конфликте Горелова с бывшим близким другом. Ссора произошла из-за воровства на предприятии. Левка Махаев украл «сопротивление» — дефицитный товар для радиолюбителей. Произошел «обмен мнений с помощью жестов». Ситуацию будут разбирать на рабочем собрании.

В задумчивости безымянный журналист возвращается в заводскую редакцию, в которой кипит жизнь:

- Черт возьми! — крикнул шеф. — Кто утащил мои ножницы? Чем я теперь буду создавать передовицы? — Он заметил в дверях корреспондента. — Ну как, есть что-нибудь в блокноте? Учти, к среде ты должен выдать двести строк.
- Я постараюсь закончить к среде, — ответил он. — Тут сегодня в красном уголке собрание, я бы хотел присутствовать. И вообще мне надо подумать...

Многоточие предполагает, что полученный урок не пройдет даром. И от фальшивой живописи Куинджи, минув мертвенно-зеленого Брака, переброшен мостик к настоящей жизни.





Неудача Довлатова не в том, что «Интервью» написано плохо. Функционально оно сделано по канонам правильной советской прозы, наличие которых, впрочем, никто публично не признавал. В материальном отношении текст оказал временное благотворное воздействие на бюджет Довлатова. Вот как он сам пишет об этом в «Ремесле»:

...Так знайте же, что эта халтура принесла мне огромные деньги. А именно — тысячу рублей.

Четыреста заплатила «Юность». Затем пришла бумага из Киева. Режиссер Пивоваров хочет снять короткометражный фильм. Двести рублей за право экранизации.

Затем договор из Москвы. Радиоспектакль силами артистов МХАТа. Двести рублей.

Далее письмо из Ташкента. Телекомпозиция. Очередные двести рублей. И еще в письме такая милая деталь:

«...Журналист в рассказе не имеет фамилии. Речь ведется от первого лица. Мы сочли закономерным дать герою — Вашу фамилию. Роль Довлатова поручена артисту Владлену Генину...»

Спрашивается, кто из наших могучих прозаиков увековечен телепостановкой? Где Шолохов, Катаев, Федин? Я и Достоевского-то не припомню... Надеюсь, товарищ Генин воплотил меня должным образом...

Тысячу рублей получил я за эту галиматью.

Тысячу рублей в неделю. Разделить на пять. Двести рублей в сутки. Разделить на восемь. (При стандартном рабочем дне.) Выходит — двадцать пять. Двадцать пять рублей в час! Столько, я думаю, и полковники КГБ не зарабатывают. А нормальные люди — тем более.

Проблема Довлатов в том, что повесть «Интервью» могла быть написана почти любым советским писателем, включая небезызвестного прозаика Станислава Потоцкого — одного из героев «Заповедника». О своем писательском кредо Станислав высказался достаточно определенно:

...Я — писатель типа Чехова. Чехов был абсолютно прав. Рассказ можно написать о чем угодно. Сюжетов навалом. Возьмем любую профессию. Например, врач. Пожалуйста. Хирург делает операцию. И узнает в больном — соперника. Человека, с которым ему изменила жена. Перед хирургом нравственная дилемма. То ли спасти человека, то ли отрезать ему... Нет, это слишком, это перегиб... В общем, хирург колеблется. А потом берет скальпель и делает чудо. Конец такой: «Медсестра долго, долго глядела ему вслед...» Или, например, о море, — говорил Потоцкий, — запросто... Моряк уходит на пенсию. Покидает родное судно. На корабле остаются его друзья, его прошлое, его молодость. Мрачный, он идет по набережной Фонтанки. И видит парнишка тонет. Моряк, не раздумывая, бросается в ледяную пучину. Рискуя жизнью, вытаскивает паренька... Конец такой: «Навсегда запомнил Витька эту руку. Широкою, мозолистую руку с голубым якорем на запястье...» То есть моряк всегда остается моряком, даже если он на пенсии...<sup>1</sup>

Но Станислав, несмотря на все трудолюбие и отсутствие проблем с поиском героев и сюжетов, отнюдь не процветает. Слишком многие ждали и умели к началу семидесятых писать о хирурге, моряке на пенсии

<sup>1</sup> Авторы статьи вынуждены в силу ограничений, накладываемых законом, опустить некоторые экспрессивные выражения С. Потоцкого, которые существенно украшают его монолог. Полагаем, что читатель насладится им в полной мере, прочитав «Заповедник».

и описывать интервью молодого заводского журналиста с прогрессивным рабочим. Технические навыки молодых авторов выросли в разы по сравнению с пятидесятыми и шестидесятыми. Если бы в условном 1973 году в журнал поступали со своими текстами молодые Аксёнов или Гладиллин, то им бы спокойно указали на дверь. Да, тысячу рублей Довлатов заработал, но это было стечение обстоятельств, разовая акция судьбы, которая его не особенно баловала. Кстати, вместе с повестью он отправил в «Юность» и рассказ, который редакция отвергла. Для нормального конъюнктурщика ему не хватало главного — попадания в обойму, наличия правильных знакомств и предсказуемости. Одновременно ему не хватало дерзости, тонкого расчета при прохождении по самому краю между крамольным, но допустимым и откровенно запрещенным. Показательная судьба братьев Стругацких. Они вроде бы получили «черную метку» после публикаций «Сказки о Тройке» и «Улитки на склоне». «Улитка на склоне» выползла на берег журнала «Байкал» в первых двух номерах за 1968 год. «Сказка о Тройке» — продолжение популярнейшего «Понедельника...» — вышла в четвертом и пятом номере журнала «Ангара» того же года. Главный редактор журнала Юрий Самсонов был снят с должности, номера изъяты из библиотечных фондов и помещены в спецхран.

Ситуация дополнительно обострилась тем, что книги Стругацких начинают активно публиковать эмигрантское издательство «Посев» и журнал «Грани» — печатные органы НТС. В 1970 году — «Сказка о Тройке», в 1972 году — «Гадкие лебеди». Однако журнал «Аврора» раскрывает, да что там — распаивает свои страницы для Стругацких. В 1971 году в четырех номерах выходит их «Мальш». Следующий год — «Пикник на обочине», также в четырех выпусках. В 1974-м — «Парень из преисподней» в двух номерах. При этом публикации не были «журнальными» — синоним сокращений зачастую цензурного свойства. В «Комментариях к пройденному» Бориса Стругацкого читаем:

Замечательно, что «Пикник» сравнительно легко и без каких-либо существенных проблем прошел в ленинградской «Авроре», пострадав при этом разве что в редакции, да и то не так уж чтобы существенно. Пришлось, конечно, почистить рукопись от разнообразных «дерьм» и «сволочей», но это все были привычные, милые авторскому сердцу пустячки, ни одной принципиальной позиции авторы не уступили, и журнальный вариант появился в конце лета 1972 года, почти не изуродованным.

Но для подобной эквилибристики нужно было уже обладать именем. Довлатова же только знали в лицо как автора каких-то рассказов, которые никто не удосужился прочитать.

Самохин, как мы знаем, был зорек и прямодушен. И о мышлении «обоймами» имен он высказывался неоднократно. И о неумеренном славословии в адрес назначенных живыми классиками тоже. В одной из статей он, как говорится, поймал за руку критика, который в своих осаннах и дифирамбах договорился до того, что нашел давно существующим в русском языке словам «грива» (в значении «поросшая лесом гора») и «тягун» («долгий подъем») авторов! Из числа, естественно, и без того известных всему Союзу и облаканных критикой писателей-деревенщиков.



Годами толкуются критики вокруг нескольких десятков писательских имен и по произведениям этих лишь, вошедших в различные «обоймы», авторов судят об успехах деревенской прозы, отставании производственной, мелкотравчатости исповедальной и т. д.

Если вспомнить начало самохинской повести «Где-то в городе, на окраине» («Сядем же в таратайку исповедальной прозы, взмахнем прутиком, причмокнем на лошадку памяти и отправимся в путь...»), нетрудно понять горький подтекст приведенной цитаты.

Писатель Самохин во все эти обоймы не попадал, как, собственно, и большинство других трудящихся на ниве русской словесности. Он писал рассказы и короткие повести, тематически тоже прибавался к «отстающим»: юмор, лирика, автобиографичность. Соответственно, шансов в этой системе координат у него не было никаких.

Получалось примерно так: просто потому, что с чувством юмора у писателя С. лучше, чем у живого классика А., что мысль свою он может донести гораздо лаконичнее, чем кандидат в классики Б., а также потому, что он не завален схемами и любимыми идеями, не воздвигает никаких «концептов», а свежо и здраво смотрит на мир, — вот ровно поэтому нужного масштаба он не достигает.

О юморе. Казалось бы, это настолько редкий и привлекательный природный минерал, что мастер, инкрустирующий свои творения такими самоцветами, должен цениться особо. Но нет, ничего подобного. Мастер сразу выводился из литературного «оборота», как бастард из высшего общества. Удивляешься отваге Ф. Искандера, который открыто называл себя юмористом. Впрочем, это могла быть такая лукавая игра, от противного, — мол, говори, говори, но мы-то знаем, какой ты глубокий художник и вообще восточный мудрец...

Примечательно, что шлейф, дымный этот след протянулся из теперь уже далекого советского прошлого в наши дни. Если чья-то литературная слава не дает покоя — можно уничтожительно отозваться о мешающем тебе авторе, используя все тот же нехитрый тезис: «Всего лишь юмористика!» А лучше юмор как слово с положительной все же коннотацией вообще не упоминать, говорить: смешной, комичный и т. п.

Вот цитата из романа Юрия Полякова «Любовь в эпоху перемен»:

Молодые дарования всей страны ехали к Вене за помощью и советом. Именно он, прочитав первые рассказы Довлатова, сказал ему: «Сергея, даже не пытайся стать великим русским писателем. Ни Чехова, ни Бунина из тебя точно не выйдет. В крайнем случае — Аверченко, но Аверченко уже есть. Тебе удаются смешные истории про знакомых евреев. Это твой путь, мой мальчик!» Довлатов последовал совету мастера и прославился.

Налицо попытка задним числом объяснить успех довлатовских книг как можно более примитивной формулой.

А Дмитрий Быков пытается представить Довлатова лишь добросовестным протоколистом услышанных баек: «типичный писатель с записной книжкой, заносающий туда чужие анекдоты, понравившиеся остроты и комические положения». Как известно, Быкову гораздо проще завестись, чем остановиться, что и демонстрирует следующий пассаж:



В прозе Довлатова нет ни стилистических, ни фабульных открытий; ни оглушительных, переворачивающих сознание трагедий, ни высокой комедии, ни безжалостной точности, ни сколько-нибудь убедительного мифа...

Далее, после попытки затормозить, критик уже летит юзом и требует «порывов и прорывов», «отчаянного самобичевания» и зачем-то еще и «подлинного разрушения».

В общем, ничего нет в текстах Довлатова. Так, мелочишка суффиксов и флексий, скверный анекдотец.

Собственно, и у Самохина то же самое, если верить критику В. Шапошникову:

...Трудно было восторгаться и «помирать со смеху», читая рассказы, в которых весь юмор сводился к описанию-смакованию разного рода коммунально-кухонных склок, нелепых и вместе с тем явно надуманных курьезов, казусов, житейских ЧП и т. п.

Впрочем, тут необходимо сделать одну существенную оговорку. В советские времена дозволялось подвергать осмеянию и гвоздить к позорным столбам только всякую-разную мелкую сошку: домоуправов, завмагов, директоров столовых и ресторанов, нерадивых сантехников, продавцов, официанток, портных, парикмахеров... Что же касается высоких государственных мужей, как то: секретарей райкомов, горкомов, обкомов, судей и прокуроров всех уровней, крупных военачальников, то они были в буквальном смысле священными коровами. Так что бедным юмористам и сатирикам волей-неволей приходилось упражняться в зубоскальстве да стрелять из пушек по воробьям, и Самохин в этом плане не был счастливым исключением.

Большую нелепицу применительно к Самохину выдумать, наверное, невозможно. Забавно, что спустя изрядное количество лет после исчезновения горкомов-обкомов автор вышеприведенной цитаты практически повторил именно их претензии к «очернителю» Самохину, за вычетом разве что объектов, на которые тот должен перенацелить свою сатиру. Партийные комитеты в свое время, надо пролагать, желали, чтоб талантливый писатель «гвоздил», по экспрессивному выражению критика, к позорному столбу срывающих промфинплан или не выполняющих разрядку по отправке застоявшейся у кульманов интеллигенции на помощь селу.

Не в порядке запоздалой полемики, а просто в интересах читателей припомним некоторые рассказы Николая Самохина. Например, «Отдельно взятый кирпич» или «...Бывает и такое», в которых довольно едко высмеивается прочно поселившаяся в редакциях — кстати, стараниями «руководящей и направляющей» — привычка к перестраховке. Или рассказ «Как один генерал двух мужиков не смог прокормить», почему-то обидевший командование СибВО, попытавшееся в ответ устроить офицеру запаса Н. Я. Самохину какую-нибудь каверзу. В рассказе «Условный французский сапог» писатель и впрямь отчасти касается завмагов, а не чиновников, но вывод-то очевиден: работники прилавка, может, и недотягивают до стандартов «кодекса строителей коммунизма», но дело не в них, а в системе.

Да, согласимся: никого из обкома сатирик не пригвоздил. Понятно, что для этой категории персонажей существовал особый способ изображения,





и в юмористическом контексте они появиться просто не могли, но добавим также, что Самохин жизнь партноменклатуры не знал и написать о ней не мог при всем желании. Впрочем, был слушок: злые языки утверждали, что сюжет остроумного и опять-таки весьма едкого рассказа «В нашей суглинистой полосе» навеян деятельностью Ф. С. Горячева<sup>2</sup>.

Но надо совершенно не понимать дарования Самохина, чтобы предположить, будто он мог присоединиться к унылой компании тех, кто раз за разом перелицовывал «вечные» сюжеты о сантехниках и управдомах. Николай Самохин в своих произведениях всегда шел от жизни. В которой сантехник — это, например, «Бескорыстный Гена», герой одноименного рассказа. И вокруг еще много людей — целый микрорайон, — и среди них нет ни одного придуманного с целью что-то доказать. «Не слукавил ни в одной своей строке» — так написал о нем Леонид Треер, считавший старшего товарища по цеху литературным наставником. Только правда, узнаваемая правда. Николай Яковлевич всегда следовал правилу, которое сам сформулировал так: «чтобы не было писательского насилия над жизнью».

Вот и получается: иные беззастенчиво кроют эту самую жизнь, выдумывают в попытке поразить читателя разные кунштюки, а отклика не имеют, тогда как подлинный юморист преподносит «всего лишь» правду. Именно в этом его предназначение: не рассмешить стремится автор и уж тем более не указать на недостатки. Прежде всего он — удивляется и задумывается, а потом предлагает сделать то же самое своему читателю, чуть-чуть обостряя, нанося точные акцентированные штрихи.

К сожалению, как мы видим, самая передовая идеология растаяла, а догматизма почему-то не убавилось. По сю пору считается, что серьезная литература, собственно литература, — должна быть тяжеловесной. «Вес» набирается за счет социальных или философских концепций либо за счет скучнейших формальных экспериментов. Почему-то совершенно исчез в новых условиях запрос на ясность мысли и точность изложения, Пушкиным и Чеховым место отведено строго в хрестоматиях.

## Повести

Самое неожиданное, что В. Шапошников, сочиняя приведенные ранее два абзаца про кухонные склоки, домоуправов и стрельбу из пушек по воробьям, таким неуклюжим образом пытался отвесить Самохину комплимент. Этот зачин понадобился критику, чтобы сообщить: затем писатель преобразился, стал писать повести, словом, как Антоша Чехонте, вырвался из болота зубоскальства на поля высшей литературной лиги. Это неверно и применительно к Чехову, и уж тем более — к Самохину, писательский путь которого начинался, как мы уже замечали, с лирических рассказов и повести. Это с одной стороны, а с другой — он никогда не переставал писать короткие юмористические рассказы. Последние из них датируются 1988 годом.

Евгений Петров назвал одну из причин, по которой они с Ильфом не создали третий юмористический роман: «Наши прииски уже были опустошены».

<sup>2</sup> Первый секретарь Новосибирского обкома КПСС в 1959—1978 гг.



Примерно так же грустно выразился и его соавтор: «Ягода сходит». По другому поводу, но тоже о юморе. Наверное, такое происходит с каждым «пишущим по смешной части» (используя выражение Чехова). Вот почему с годами в рассказах Самохина стало меньше веселья (одна из книг, как мы помним, так и озаглавлена — «Прощание с весельем»), парадоксов, сатирического гротеска.

Однако первые самохинские повести — которые вызвали одобрение рецензентов уже потому, что они *повести*, — полны всеми оттенками юмора и столь же сатирически прицельны, как и его рассказы. А еще они лиричны. Полны точных и тонких жизненных наблюдений. Ярких характеров (и вообще густо населены). Удивления, иногда переходящего в негодование. Можно зайти и с другой стороны — чего в них нет. Почти нет сюжета — кроме собственно движения жизни: взросления или старения, или иных обстоятельств непреодолимой силы, как в повести «Сходить на войну». Также нет лелеемой спасительной идеи, раскрывающей читателям глаза на то, «как нам обустроить» что-либо, а желательно все.

Можно продлить этот ряд наблюдений и каких-то отдельных выводов, но в чем-то феномен самохинской повести просто непостижим. Свой брат-писатель и к тому же сибиряк Геннадий Михасенко попытался все же закрепить в слове это трудноуловимое нечто:

Пишу тебе в связи с тем, что только что прочитал томик твоих повестей, который ты мне подарил на съезде. Сразу как-то не прочиталось, нашлись, как всегда, более срочные дела, и вот только летом пришла очередь.

Коля, я в восторге ото всего, что ты написал! <...> Есть писатели-деревенщики, есть писатели военной темы, есть лирики, есть... да мало ли каких писателей нет, а ты — все вместе плюс еще что-то, какой-то флер (фу, гадкое слово подвернулось!), какая-то неуловимая дымка интереса и притягательности висит надо всем, что ты пишешь. Яновский считает, что в тебе постоянно бодрствует сатирик, да нет, не сатирик, уж скорее лирик, но и это не то, — словом, все пронизано твоей беспокойной скорбящей душой. Я ни одного фальшивого поворота не отметил, ни одного промаха в психологии героев. Это и есть мастерство! Ну, слава богу! А за юмор особый поклон. Под соусом юмора можно, конечно, проглотить любое блюдо, но и сами блюда у тебя отменно вкусны, и этот соус придает им еще дополнительную пикантность.

Разумеется, я тут же пустил твою книгу по рукам друзей, и все единодушно говорят: «Да!..» А друзья мои — технократы, презирующие всех писателей, и меня в том числе (за что — другой вопрос!), и какое надо подать напряжение им на душу, чтобы вырвалось это протяжное «да...»!<sup>3</sup>

Немалое число современников Самохина, причисленных при жизни к великим писателям, отдали бы половину своих лауреатских званий за слова признательности из уст вот таких презирующих литературу технарей. Но у последних такое отношение к словесности развилось, надо полагать, во многом благодаря тем самым лауреатам.

<sup>3</sup> Оригинал цитируемого письма находится в Новосибирском городском центре истории новосибирской книги, в фонде Николая Самохина.

Повести Довлатова обладают своей «дымкой притягательности», которая объясняется схожими причинами, и имеют равное следствие — отсутствие романов в литературном наследии. Сам писатель объяснял это желанием избежать языковых стереотипов. Очень часто в письмах Довлатова встречаются примеры пародийного обыгрывания шаблонов советской «большой прозы». Вот отрывок из письма к американскому переводчику Дональду Фини от 4 января 1983 по поводу портрета советского писателя:

Эти люди, как правило, пишут очень толстые книги, где жизнь какой-нибудь трудящейся семьи показана на фоне разных исторических событий. Новая глава у них, как правило, начинается словами: «К утру выпал снег», а заканчивается так: «И долго еще слышался ему шум отходящего поезда...»

«Дымка притягательности» в прозе Довлатова и Самохина связана с особой писательской интонацией, присутствием самого автора в текстах. Оно почти факультативно, но всегда ощущается. При этом автор не парит подобно демиургу над действующими лицами, объясняя, раскрывая читателю «устройство» сотворенного им мира. Автор превращается в полноценного персонажа, обладающего правами, равными с иными героями. Интонация работает только на уровне рассказа или повести. Русский роман не в состоянии выдержать интонационного единства (счастливое исключение: «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»). Он проседает, как было сказано выше, от собственного веса, превращаясь в роман идей. Советскую литературу в этом отношении безо всяких натяжек можно назвать полноценной наследницей классической русской литературы. Незаметный для многих писательский подвиг Довлатова заключается в том, что он преодолевал явное искушение выйти к читателю с большой формой. Если в Союзе он еще пытался написать роман, который позже разобрал на ряд «запасных частей» для повестей и рассказов, то в эмиграции его отказ от объемного текста имел принципиальный характер. При том, что в эмиграцию было принято ехать с большим романом. Только он давал какие-то надежды на возможное признание иноязычного автора. Для любого, даже второсортного советского писателя русскоязычная эмигрантская читательская аудитория в тысячу человек представлялась унижительной и несоразмерной его дарованию. Запазливый Василий Аксёнов приехал сразу с двумя романами: «Ожог» и «Остров Крым», рассчитывая на успех хотя бы одного из них. Но ни один из них не взлетел. Какова, впрочем, была судьба и других больших эмигрантских книг.

Здесь мы сталкиваемся с другим парадоксом довлатовской прозы. Как мы знаем, часть его рассказов перекочевала в повести. При этом они укрупнились естественным образом, становились большими в читательском сознании, чем были до того в виде отдельных рассказов. Следует сказать, что сегодня мы имеем дело с одной книгой писателя, которую он издавал частями в разное время под разными названиями. Проблема в том, что Довлатова при жизни так никто и не читал, предпочитая видеть в нем сочинителя незатейливых юмористических баек.



## «Пропуск в вечность»

Литература — в чем-то жестокая вещь. Ее выбор непредсказуем и всегда может быть объяснен только задним числом. Не существует универсального и понятного «пропуска в вечность». Вчерашний кумир миллионов сегодня может быть интересен только профессиональным филологам — специалистам по «второму ряду литературы». Случается, хотя и значительно реже, обратная ситуация: аутсайдер и неудачник оказывается бегуном на длинную дистанцию — среди тех участников «большого забега», чьи имена не нуждаются в представлении. Довлатов, конечно, принадлежит к их числу. Он никогда не попадал в нужное место, а самое главное — постоянно опаздывал. Но в итоге его место оказалось одновременно и в школьных учебниках, и среди авторов, которых читают, — нечастое сочетание.

А что же Николай Самохин? Приходилось слышать, что он все же слишком много внимания уделял быту, злобе дня и потому остался там, в советской жизни. Современному читателю он не близок и не понятен. Так ли это?

Позволим себе провести еще одну аналогию между нашими героями. Вспомните повесть Сергея Довлатова «Компромисс» и ее «производственные» конфликты. Насколько известен сложившемуся в постсоветскую эпоху читателю мир советской журналистики, от которой в одночасье не осталось ничего и о которой пишет автор? Очередной парадокс в том, что через повесть Довлатова и известен. И иные странные, в чем-то труднодостижимые реалии отжившего века, которых так много и в «Чемодане», и в «Заповеднике», и в «Зоне», не мешают воспринимать довлатовскую прозу и восхищаться ею.

Писатель запечатлевает время, это закон. И плотность быта, житейская правда в текстах Самохина — не слабость, а сила. Не следует, зная сегодняшние цифры тиражей и медийных упоминаний, подгонять решение под готовый ответ. Сложилось так, как сложилось. Судьба всегда пишет набело.

Разумеется, читателю сегодня намного сложнее пересечься с текстами Самохина, нежели Довлатова. Однако верно и другое: почти каждый познакомившийся творчеством Николая Яковлевича подпадает под обаяние его прозы и становится верным его приверженцем. Он был маркирован как «областной писатель», но поклонников его таланта приходилось встречать на Северном Кавказе и Западной Украине, в Питере, Москве и, разумеется, по всей Сибири.

Оба наших героя заняли свое, уникальное место в русской словесности. Мы не про статьи в будущих литературных энциклопедиях. Но вот задумаешься — и просто тоска берет, если представить, что в нашем читательском опыте не было бы их книг. Заменить их невозможно. А еще обоих объединяет какая-то яростная писательская принципиальность: фальшь, литературщина, вторичность, следование чьим-то указаниям в их текстах просто невозможны.

Число читателей важно для издателей и книгопродавцев, но не для литературы. В этом отношении судьбы Довлатова и Самохина соединяются, исчерпав парадоксы времени и места.

**Сергей ИЛЬЧЕНКО**

## **ЛЮДИ И РЕКИ**

*Выход нового романа популярного писателя Алексея Иванова «Бронепароходы» вполне может стать литературной сенсацией нынешнего года. Почему? Попробую дать ответ на этот вопрос. Но перед этим настоятельно рекомендую прочесть сам роман.*

Текст нового сочинения камского сказителя выглядит солидно. Во многом благодаря тому, что это осмысленно оформленное издание. На его обложке — изображение одного из тех бронепароходов, на котором, возможно, ходили по российским рекам герои нового романа Алексея Иванова.

Интуитивная догадка при взгляде на обложку книги подтверждается первыми же строками объемного (685 страниц) сочинения. Время действия романа — 1918 год и чуть далее по оси убегающего времени. Место действия — Волго-Камский речной бассейн, сами реки, а также города и веси на их берегах. Догадливый читатель быстро поймет, что речь идет о самом старте трагедии, которая разворачивалась на русской земле в тот суровый год, — о Гражданской войне и иностранной интервенции.

### **Наследник лучших традиций**

Пожалуй, со времен «Тихого Дона» Михаила Шолохова и «Хождения по мукам» Алексея Толстого не было в российской словесности столь масштабного и уравновешенного по смыслу романа, дающего развернутую картину трагедий и страстей, разыгрывавшихся в ходе братоубийственной междоусобной войны. Алексей Иванов счастливо избежал истерических и депрессивных интонаций, свойственных многим образчикам отечественной литературы, повествующим об этом трагическом периоде русской истории. Достаточно вспомнить тексты двух Иванов — Бунина и Шмелева. Да и Алексей Максимович Горький в немалой степени выглядел тогда растерянным интеллигентом. Время — лучший лекарь кровавых душевных ран, наносимых неумолимым ходом истории. Но порою нам так не хватает СЛОВА об истинной истории России, которую из памяти никак не сотрешь. Иные ее периоды могут специально или ненамеренно переиначить.

### **Коварство исторических дат**

В этом многие могли убедиться в июле 2023 года, когда некоторая часть общественности и СМИ бросились отмечать 105-ю годовщину гибели семьи

Николая II в Екатеринбурге. А вот про начало Гражданской войны, стартовавшей с мятежа белочехов по всей линии Транссибирской железнодорожной магистрали, «общественность» предпочла промолчать. Но из истории, как и из памяти, основные вехи не выкинешь.

В нынешнем году исполняется 105 лет с начала этого трагического и масштабного по значению и итогам периода на часах отечественной истории. Алексей Иванов возвращает в литературный обиход традицию плавного повествования о том, как обычные люди пытались выжить в огненном переполохе политических и военных страстей, полыхавшем по всей истерзанной стране. Он локализовал весь набор востребованных в этой связи тем и сюжетов в месте, которое отлично знает и которое с невероятным чувством симпатии описывает на страницах романа.

В определенном смысле «Бронепароходы» — отсылка к уже упоминавшимся великим текстам о Гражданской войне.

## Два Алексея

С текстом трилогии его тезки Толстого «Хождение по мукам» «Бронепароходы» Иванова роднит многое, начиная с имен двух главных героинь — Кати и Даши — и заканчивая местом и временем действия. Это Волга и 1918 год (вспомним название второй книги толстовской трилогии — «Восемнадцатый год»). Заглавие третьей книги — «Хмурое утро» — вполне соответствует настроением финала романа Алексея Иванова, в котором выжить удастся немногим. Его герои не встречаются с В. И. Лениным, как «ходившие по мукам» персонажи А. Н. Толстого, зато весомое место в тексте занимают реальные персонажи революционной России. Со стороны красных — это Л. Д. Троцкий, Ф. Ф. Раскольников, Л. М. Рейснер и Г. И. Мясников. Со стороны белых — А. В. Колчак и почему-то названный в романе Юрием адмирал Г. К. Старк. Не раз упоминаются на страницах новой книги имена генерала В. О. Каппеля и членов семейства Нобелей. Пожалуй, самая главная роль в окружении вымышленных персонажей в романе Иванова досталась великому князю Михаилу Александровичу, в пользу которого в марте 1917 года царь Николай II отрекся от престола.

С развернутого эпизода его расстрела чекистами в ночь с 12 на 13 июня 1918 года в окрестностях Перми и начинается роман. Для развития сюжета Алексей Иванов включает фантазию и спасает Михаила Александровича. По воле автора младший брат российского императора не погибает, а становится участником весьма запутанного сюжета, разворачивающегося на вышеупомянутых реках в навигацию 1918 года. Хотя альтернативная биография М. А. Романова все равно приходит в романе к тому же финалу, что и в реальной истории.

## Певец речных просторов

Писатель Иванов знает многое о реках родной стороны. Свою любовь к ним он не раз проявлял в таких романах, как «Золото бунта», «Сердце





Пармы», «Тобол» и даже в относительно современном тексте «Географ глобус пропил». Но в «Бронепароходах» «речная» страсть овладевает адептом Пермского края просто в невероятных масштабах. Описание подробностей судовождения, судов всех типов и классов, батальные сцены на реках — все это написано рукой настоящего мастера. Он умеет находить нужные слова, чтобы читатель не только увлеченно следил за развитием любовных и авантурных линий генерального сюжета о борьбе за власть, но и знакомился с неочевидными премудростями жизни рек и речного флота. Остается только снять шляпу перед автором романа, сумевшим создать настоящий «речной эпос». Писатель напомнил нам о том, что издревле на Руси река считалась кормилицей и спасительницей. Именно благодаря «Бронепароходам» в современной русской литературе вновь прорезались традиции М. А. Шолохова и В. Я. Шишкова.

У обоих советских авторов река — сакральное место природной силы и, если угодно, людской справедливости. Хотя сочинялись эти великие книги примерно в одно и то же время, у Михаила Шолохова — Дон «тихий», у Вячеслава Шишкова широкая таежная река становится «угрюм-рекой», ибо действие происходит до революции. И вот, почти век спустя, мы читаем замечательную книгу нашего современника о Волге и Каме. Причем «героями» этого текста стали не только реки и люди, но и бронепароходы, давшие книге название.

В связи с романом Алексея Иванова хотелось бы не забыть еще об одном важном для меня обстоятельстве. В нем как никогда раньше широко представлены люди самых разных профессий — от специалиста по деликатным поручениям в компании Нобелей Хамзата Мамедова до военлета Свинарера, от повариши Стешки до горного инженера. Перед нами проходит целая галерея не говорунов и болтунов, а «людей дела», так или иначе связанных с речным флотом.

Яркие сочные описания труда речников в этом тексте воскрешают в памяти аналогичные страницы книг В. В. Конецкого. Капитан дальнего плавания Виктор Конецкий больше писал о тех, кто ходил под советским флагом по морям и океанам. Однако дело не столько в разнице между рекой и морем, сколько в знании сути профессии, ее нюансов. В мастерстве реализовывать собственное знание в тексте между Алексеем Ивановым и Виктором Конецким много общего.

### Динамика судеб и текста

Структура романа чрезвычайно динамична. Одни герои сменяют других, и для каждого героя у писателя находятся эпизоды, помогающие раскрывать их характер и человеческую сущность, чтобы в итоге удивить читателя неожиданными решениями и поступками. Почти как в «Войне и мире» Льва Толстого, не последнюю роль у Алексея Иванова играют понятия родства и семьи. Если в более ранних произведениях подобные смыслы в его текстах лишь угадывались, то в «Бронепароходах» раскрываются со всей силой, оберегая и спасая многих вымышленных персонажей.

Это произведение можно охарактеризовать как настоящую «энциклопедию русской жизни на речных берегах». Здесь представлены все социальные страты тех, кто волей судьбы оказался в означенном месте в столь бурное и трагическое время. Особенно ярко и сочно, с огромной симпатией описаны характеры речников — от капитана Ивана Диодоровича Нерехтина до молодого лоцмана Феди. В надежде на то, что вы его прочтете, не буду называть имена всех действующих лиц этого замечательного романа.

## Авторская мысль повелительного наклонения

Авторский замысел заложен в названии каждой из частей книги. Они поименованы инфинитивами в значении повелительного наклонения: «Спасти», «Вернуть», «Воздать», «Отнять», «Найти», «Убить», «Понять», «Дожить», «Прозреть» и «Воззвать». По прочтении книги Алексея Иванова открывается смысл каждого из этих глаголов действия. Они не только побуждают читателя к активному восприятию сюжета, но и отчасти объясняют поступки большинства персонажей романа. Перечень тех, кто вызывает наше негодование, и тех, кому мы сочувствуем, у разных читателей может не совпадать. Однако глаголы в заголовках принуждают читателей к глубокому осмыслению и сопереживанию.

Список открывает глагол «спасти», но не «спастись». Почему выбрана эта глагольная форма? Почти двести лет назад эта мысль уже звучала у А. С. Пушкина: «И всюду страсти роковые / И от судеб защиты нет». Вспомним время и место действия романа Алексея Иванова. Писатель своей книгой возвращает нам ощущение трагического противостояния воли и желания отдельной личности и неотвратимого рокового хода Истории. Иные персонажи «Бронепароходов» изо всех сил пытаются выиграть фатальный поединок в борьбе за право стать хозяином своей судьбы и кузнецом собственного счастья. Увы! С одной стороны, диалектика контрапункта подобных отношений нивелирует усилия подобных социальных эгоистов. С другой — совсем как у Л. Н. Толстого, именно из поступков и намерений каждого человека, стремящегося к реализации своих желаний, и складывается объективный ход Истории.

Позволим здесь себе цитату из сочинения двух умнейших людей XIX века: «История не делает ничего, она “не обладает никаким необъятным богатством”, она “не сражается ни в каких битвах”! Не “история”, а именно человек, действительный, живой человек — вот кто делает все это, всем обладает и за все борется. “История” не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения своих целей. История — ни что иное, как деятельность преследующего свои цели человека». Так написали Карл Маркс и Фридрих Энгельс в совместном труде «Святое семейство» (1844). Думаю, что Алексей Иванов осведомлен о подобном определении истории как способа сосуществования человека и социума. Как он ярко показал в «Бронепароходах», даже на речных просторах к 1918 году прежде мирная и упорядоченная российская действительность оказалась взбаламученной военными и политическими штормами.



## Успокоение...

Размеры рецензии не позволяют обратиться к финальному разрешению судеб главных действующих лиц. Но поверьте — более мощного эпилога мне не доводилось читать на русском языке в последние несколько десятков лет. Логика анализа требует завершить мой текст цитатой из самих «Бронепароходов». Их автор Алексей Иванов не скрывает очередной отсылки к великой книге Михаила Шолохова. В обоих текстах заключительный аккорд раздаётся в честь новой жизни, в честь того, кому продолжать жить уже за пределами завершающегося текста. В реальной истории страны, переживающей трагический излом времени. Я цитирую автора, чтобы вы могли узнать, чем завершается текст этой невероятно мощной книги: «Стешка распрямилась и задумчиво обвела взглядом и судно, и Каму, и берег. Вот же горе... Добрый буксир превратили в развалину — прострелили, ободрали, опалили... Что за жизнь беспощадная!.. Зато вечер — ангельский. И облака в лазоревой нежности такие цветные и яркие, словно выросли в райском саду: белые, рыжие, сизые, малиновые, золотые... Стешка взяла младенца обеими руками торчком и показала ему все, что есть вокруг:

— Смотри, дитя, на божий мир, знакомься. Это солнышко светит. Это река блестит. Это люди. Это пароход».



Александр ТИХОНОВ, Ольга ЦАРЬКОВА

### К СВЕТУ!

*Грани творчества художника Сергея Демиденко*

Живописец Сергей Демиденко — один из ярчайших художников современного Омска. Продолжая традицию русского пленэра, он применяет собственные подходы в изобразительном искусстве. Большинство любителей живописи знакомы с творчеством Демиденко по его городским пейзажам — видам города Омска, выполненным в особой импрессионистской манере со свойственной художнику стилизацией природы. Объемная текстура письма, которую автор создает с помощью красок и мастихина, обширные плоскости и яркие цветовые акценты делают его стиль письма особенным и узнаваемым. Следуя традициям импрессионистов XIX века, художник намеренно не использует черный цвет.

Сергей Владимирович Демиденко — уроженец Омска. Он родился в городе на Иртыше 5 марта 1970 года. По воспоминаниям художника и его близких, мальчик с раннего возраста был разносторонним, увлекающимся, тянулся к искусству и спорту. Занятия в художественной школе он совмещал с тренировками в легкоатлетической секции. «В детстве мы не осознаем, что уже отыскали дело своей жизни, — говорит Сергей. — Рисуем на всем, что попадет под руку: на обоях, тетрадных листках. Лишь со временем приходит осознание, что это и есть твой путь».

Живописец признается, что в самые сложные и противоречивые годы жизни его всегда спасало творчество, помогая сохранить чистоту, искренность и веру в будущее. Так, в старшей школе от многих сопутствующих переходному возрасту проблем его спас театр. Учитель русского языка и литературы Валентина Александровна Киреева создала на базе средней школы № 62 молодежный театр «Поиск», в постановках которого принимал участие Сергей. Как признался омский мастер кисти, именно театр сформировал его как личность. Именно там он увлекся произведениями русских классиков, через литературу, музыку и сценическое искусство прочувствовал и полюбил родную культуру. С тех пор в творчестве он следует принципам системы Станиславского, которые гласят: «Чтобы создать что-то искреннее, это необходимо прожить, прочувствовать изнутри здесь и сейчас». В этом кроется один из секретов любви зрителей к его произведениям, которые никого не оставляют равнодушными, напоминая каждому о чем-то личном и важном.

В 1988 году Сергей был призван в армию и направлен в город Дрезден для прохождения службы в Группе советских войск в Германии. Это не могло не сказаться на творчестве. Много лет спустя на полотнах Демиденко помимо солнечных пейзажей Омска появились пугающие сюжеты: нависший над земным шаром жуткий клоун, разрушенный дом с последним жильцом — ребенком, играющим с разноцветными кубиками. Осознание ужасов войны пришло к художнику во время срочной службы в армии. «Именно там, — делится Сергей, — я впервые осознал, что такое война на самом деле. Практически стертый бомбежками с лица земли союзниками город Дрезден. Еще не до конца восстановленный в 1980-х годах, он резко отличался от привычных с детства мирных городов Сибири и безмятежной Владимирской земли, где я в детстве проводил лето. Дрезден поразил меня ранами войны как очевидный памятник ее разрушительных ужасов. Именно здесь, оказавшись среди ее последствий, я по-настоящему прочувствовал всю сокрушительную силу войны». Эти впечатления в дальнейшем сыграли большую роль в формировании мироощущения и мировоззрения нашего художника, проросли в его творчестве.

В 1990 году после демобилизации Сергей вернулся в Омск. Вдумчивый и восприимчивый к изменениям, художник остро переживал переломное для страны время, при этом оставаясь верным своим идеалам и выбранному делу. Осенью 1990 года он поступил в среднее профессионально-техническое училище № 8 г. Омска, по окончании которого уже летом 1991 года получил красный диплом по специальности «художник-оформитель». С 1991 по 1996 год Сергей Демиденко обучался в Омском технологическом институте бытового обслуживания (ОмТИ). С 2001 по 2012 год он работал старшим преподавателем кафедры дизайна, рисунка и живописи в родном вузе, переименованном в Омский государственный институт сервиса.

В интервью региональному Историческому парку «Россия — моя история» Сергей признался: «В девяностые я занимался, как бы сейчас сказали, “зарабатыванием денег”, что совершенно не было связано с творчеством, но никак не мог унять творческий зуд. В конце девяностых я окончательно понял, что совершенно не могу жить без живописи, настало время превращать ее в дело моей жизни».

Для расширения художественного кругозора художник объездил многие регионы страны, где всматривался в разнообразные пейзажи. С 1998 года вместе с другом, ныне известным модельером Александром Богдановым, Сергей начал ездить на пленэр на север Омской области с целью, как он сказал, «найти вдохновение в таинственных таежных пейзажах». Чуть позже в поисках новых сюжетов, тем и вдохновения стал выезжать на родину своих предков во Владимирскую область. В 2000 году в компании молодых единомышленников Сергей Демиденко оказался на пленэре в Тобольске. Эта поездка еще сильнее укрепила уверенность художника в том, что творческий путь выбран верно.

В начале 2000-х Сергей начал создавать все больше и больше полотен. Вдохновение он черпал в видах родного Омска и в повседневном течении жизни горожан. Вкладывая в каждое произведение личные наблюдения и размышления, он формировал собственный живописный язык. Художник



неизменно следует главному правилу в жизни — быть верным себе и делать то, что любишь. Автор берется только за интересные ему творческие проекты, которые вдохновляют зрителей и обогащают их внутренний мир. Сегодня за плечами Сергея Демиденко более 30 успешных персональных выставок в художественных музеях города (Омский музей Кондратия Белова, Областной художественный музей «Либеров-центр», Музейно-выставочный комплекс «Моя история» и др.). Он принял участие во множестве коллективных выставок омских художников. Его работы охотно приобретают частные коллекционеры Сибири, Урала, Москвы и Санкт-Петербурга. А сувениры с видами Омска, запечатленными Сергеем, стали визитной карточкой региона и ярким подарком для гостей.

Для большинства земляков Сергей Владимирович Демиденко в первую очередь мастер городских пейзажей, тонко передающий дождливую морось и преломление солнечных лучей, ломаные тени и полупрозрачные облака. Его работы объемны, краска наносится послойно. При взгляде на них складывается впечатление, будто дома и люди выступают над плоскостью холста, превращая картину в трехмерное произведение.

Через каждый городской пейзаж Демиденко красной нитью проходит история жизни героев полотен. Вот по улицам весеннего, залитого солнцем Омска идет солдат. Что это за человек, как он здесь оказался? Лишь подсказка автора в названии «Дома» (2023) помогает нам понять, что художник стал свидетелем возвращения героя домой.

В произведении «На заре» (2021) зритель видит силуэт двоих влюбленных: герои стоят, прижавшись друг к другу в заливаемом дождем городе. Сергей передает на холсте трогательный и нежный момент, предоставляя зрителям возможность самим додумать историю и понять, является ли название произведения отсылкой ко времени суток, либо это начало чего-то большого в жизни героев картины. Романтический, нацеленный на лучшее взгляд на мир является отличительной чертой этого автора. В своих произведениях Сергей Демиденко ведет зрителей к свету, всегда оставляя место вере в добро и благополучное продолжение сюжета.

При всем том он может быть весьма разносторонним как художник. Весной 2023 года в Омске прошла самая необычная, нетипичная для Сергея выставка «Обыденность Серого». В экспозиции было представлено свыше 40 полотен. Помимо привычных видов родного Омска, на выставке были показаны улочки Санкт-Петербурга, красоты Сибири и Центральной России. Наряду со знакомыми городскими пейзажами были представлены и произведения необычной для этого живописца тематики. В них присущая художнику лиричность сменяется несвойственной ему тревогой и напряженностью. Через эти картины Сергей Демиденко осмысливал события минувшего десятилетия — военные конфликты и эпидемии, человеческую заикленность на гаджетах и уход в сетевое общение, разрушение привычного с детства деревенского быта.

Так, герои картины «К бабушке» (2021) идут через пестрое разнотравье к остову рухнувшего дома, напоминающему о далеком детстве. Кажется, вот-вот и за розовой кипенью иван-чая покажется бабушкин дом, целый и невредимый. А в нем — пироги на столе, мурлычущая кошка и солнечные



зайчики, пляшущие по стенам. Вроде бы ничего этого на картине нет. Но художник добивается главного, позволяя зрителю мысленно дописывать картинку из далекого детства, вспоминать цвета, запахи и звуки. Прелесть в том, что у каждого этот дом свой! Его картина — это гостеприимно распахнутая дверь, ведущая к ярким, удивительно личным переживаниям художника. Заглянув в нее, всякий получает уникальную возможность вместе с автором подумать о мире, в котором мы живем, и тем самым лучше понять себя.

Художник вступает в диалог со зрителем не только посредством живописи, но и давая возможность разгадать загадку названия его произведений. Привыкший рассуждать и анализировать, автор часто задается философскими вопросами, приглашая зрителей присоединиться к нему. Например, в полотне «Иллюзий нет» (2022) художник поднимает тему военных конфликтов и природных катаклизмов, сотрясающих планету. В центре композиции, словно в центре мировых событий, изображен уже упоминавшийся жуткий клоун. Он повергает Землю в огонь одним движением руки. Контрасты темно-синего и красного создают напряженность, которая поддерживается динамичными всплесками света, олицетворяющими пожар войны, охвативший нашу планету. Дополнительный объем и трехмерность пространства задаются широкими, фактурными мазками, а насыщенный синий, почти черный, крайне редко используемый художником цвет, притягивает взгляд, увлекая в глубину холста.

Словно в противовес предыдущей мрачной картине, холст «Кубики» (2023) олицетворяет надежду автора на мир и благополучное будущее, которое предстоит строить подрастающему поколению. Яркие кубики желтого, красного и оранжевого цветов подсказывают зрителю, что грядущее, вопреки всему, будет светлым и солнечным, а белый голубь на фоне безграничной небесной синевы свидетельствует о мире, прекращении споров и конфликтов.

«Особенно приятно, — признается Сергей, — когда сюжеты моих картин находят в людях отклик, резонируют с их внутренними переживаниями. Наша задача через искусство отыскивать лучшее в человеке, обогатить его душу, воображение, жизнь, привести к свету».



## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 2023 ГОД

### ПРОЗА

- Манифест «Новой волны деревенской прозы». — 9.
- Акулова Янга.** Преступная гардеробщица. Роман. — 1, 2.
- Амбросьев Александр.** Дарыма. Повесть. — 6.
- Антипова Елена.** Четвертый. Рассказ. — 8.
- Астафьева Анастасия.** Всё на свалку! Рассказ. — 9.
- Байборodin Анатолий.** Дрова. Повествование в рассказах. — 8.
- Бакирова Наталья.** Белый шиповник. Повесть. — 3.
- Баховец Николай.** Смотритель дороги. Рассказ. — 10.
- Безукладникова Анна.** Па-па-па-а. Рассказ. — 2.
- Беляева Анна.** Линия танца. Рассказ. — 11.
- Васильев Геннадий.** В сумерках. Повесть. — 10.
- Васюнов Максим.** Пух в октябре. Рассказ. — 9.
- Виноградова Ирина.** Осень. Мужской род. Рассказ. — 1.
- Волобуев Вадим.** Всяческая суета. Повесть. — 12.
- Гилева Антонина.** Кай-кайнын и браконьеры. Киноповесть. — 7.
- Гобзев Иван.** Режим бота. Рассказ. — 4.
- Девятьярова Инна.** Двадцать семь драгоценных жемчужин. Рассказ. — 4.
- Денисова Наталья.** Басни северной деревни. Миниатюры. — 5.
- Зайцман Вольдемар.** Призрак старой собаки. Повесть. — 10.
- Злобин Володя.** Петрикор. Рассказ. — 4. Мел очей. Повесть. — 11.
- Ибраева Феруза.** Повестка. Рассказ. — 5.
- Колеватов Олег.** Река, напои меня. Рассказы. — 3.
- Копнинов Валерий.** Без пяти минут вечность. Глава из романа. — 12.
- Корниенко Игорь.** Юмба, или Разбуженные сны. Рассказ. — 1.
- Королев Андрей.** На краю рая. Рассказы. — 2.
- Королев Константин.** Ради этого стоило прогуляться! Рассказы. — 7.
- Короткова Наталья.** Закон диалектики. Рассказ. — 11.
- Корякин Сергей.** Говорящие отражения. Миниатюры. — 1.
- Лазаревич Лаза.** Он знает все! Рассказ. — 12.
- Левит Ирина.** Однажды ему повезло... Повесть. — 8.
- Луговая Евгения.** Сплетни дня. Рассказ. — 3.
- Лузанов Олег.** Порток. Рассказ. — 2.
- Мазуренко Матвей.** «Шестерка». Рассказ. — 6.
- Мелёхина Наталья.** Пупсик. Рассказ. — 9.
- Милевский Владимир.** Папкины рубли. Рассказы. — 8.
- Неволошин Макс.** Американская комедия. Рассказ. — 8.
- Николайцев Тимофей.** Тягучие цепкие воды. Рассказ. — 10.
- Олексюк Александр.** О вещах и людях. Рассказы. — 5.
- Откидычев Виктор.** Это как посмотреть... Бывальщины. — 7.

- Подгорнов Сергей.** Опята. Рассказ. — 7.  
**Поклад Юрий.** Константиновский рубль. Повесть. — 9.  
**Поланская Роза.** Ба. Рассказ. — 11.  
**Попов Артем.** Проводник. Рассказ. — 9.  
**Родионова Ирина.** Рядомжитель. Рассказ. — 1. Хлебопечка и Мальдивы. Рассказ. — 12.  
**Роевский Константин.** Покупатель роялей. Рассказ. — 3.  
**Рютин Владимир.** Когда я стану большой? Рассказ. — 5.  
**Рябов Олег.** Это наш двор. Рассказ. — 6.  
**Садулаев Герман.** Никто не вывозит эту жизнь. Из неопубликованной книги. — 6.  
**Сафонов Олег.** Генетический брак. Рассказ. — 4.  
**Соловьева Яна.** Набело. Рассказ. — 10.  
**Солодов Юрий.** Анжела, которая скитается по станциям. Рассказы. — 3.  
**Станишевский Андрей.** Недоискусственный интеллект. Рассказ. — 10.  
**Тен Виктор.** Павлин. Повесть. — 6.  
**Тремасова Светлана.** Как действует Бог. Рассказ. — 5.  
**Ушаков Олег.** Гуц и святой чай. Рассказ. — 2.  
**Чолокян Владимир.** Оценка для учителя. Роман. — 3, 4, 5.

## ПОЭЗИЯ

- На своем языке (Князева Дарья, Ковалёва Анна, Пономарёв Павел, Сидельников Павел, Третьякова Надежда, Рыбкин Сергей, Шамраев Антон, Нацентов Василий). Стихи. — 1.  
**Аркинина Анна.** Где мерзнет живая вода. Стихи. — 2.  
**Бабанская Алена.** Жизнь не всерьез. Стихи. — 3.  
**Беяева Виктория.** Все в мире от яблока. — 8.  
**Берязев Владимир.** Черта забвенья. Стихи. — 7.  
**Болдырев Андрей.** «Один мальчик думал...» — 10.  
**Васильцов Иван.** Поставщик барахолок. Стихи. — 12.  
**Волков Сергей.** В последнем ряду. Стихи. — 7.  
**Воротнин Юрий.** Вода других морей. — 8.  
**Гушан Алексей.** По Мещёре. Стихи. — 4.  
**Денисенко Александр.** «Белым-бело сегодня в НСО...» Стихи. — 5.  
**Домрачева Ольга.** Холодовой. Стихи. — 2.  
**Каршин Дмитрий.** Сиреневые занавески. Стихи. — 7.  
**Крюков Владимир.** В полосе невозврата. Стихи. — 6.  
**Малофеева Екатерина.** Боль после боли. Стихи. — 11.  
**Мамаева Лидия.** А лета почти не осталось. — 8.  
**Маркович Яков.** «Средь полуденных болот...» Стихи. — 5.  
**Михеева Светлана.** Яблоки на синих перилах. Стихи. — 6.  
**Муханов Игорь.** Тропинка, ведущая к дому. Стихотворения в прозе. — 11.  
**Никитин Николай.** По тихой Вятке. Стихи. — 11.  
**Павловская Анна.** Кровавый дым. — 9.  
**Подушкин Андрей.** Обратный исход. Стихи. — 4.

- Попов Денис.** Плохая бумага. Стихи. — 12.  
**Румянцев Дмитрий.** «Убываю причастьем страдательным...» Стихи. — 6.  
**Татаренко Юрий.** Десять минут октября. Стихи. — 3.  
**Фроловская Мария.** Графика голого парка. Стихи. — 12.  
**Чернышова Светлана.** Долгая осень в Крыму. — 10.  
**Шелленберг Вероника.** В завитке аммонита. Стихи. — 3.  
**Яковлева Екатерина.** Лимонница в листопаде. Стихи. — 1.  
**Ярцев Владимир.** Я снова о дождях... Стихи. — 2.

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- «Весна в набеге половецком...» Стихи. — 9.  
**Денисенко Александр.** Воспоминаний горький мед... *История создания «Гнезда поэтов».* — 9.

## ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Агалаков Александр.** Летучий воровской отряд. — 3. Тайна клада Сергея Лазо. — 11.  
**Акимов Евгений.** Зазубринская «Щепка» Сергея Афанасьева. *К 128-летию Е. Я. Зазубрина.* — 5.  
**Алмазов Борис.** Итальянская фамилия. — 7.  
**Басалаева Елена.** У детей своя война. — 5.  
**Голодяев Константин.** О женском движении 1930—1940-х годов. — 2.  
**Гончаров Юрий, Ладыгин Игорь.** Зигзаги генеральской судьбы. — 1.  
**Калмыкова Вера.** Человеческое измерение. — 10.  
**Кобелев Алексей.** «Служил с истинным усердием и бескорыстием». *Василий Семенович Хвостов.* — 10.  
**Крюков Владимир.** Двойной портрет: Макушин — Суздальский. — 11.  
**Кузьмина Мария.** Лик в пустом иконостасе. — 9.  
**Ладыгин Игорь.** См. Гончаров Юрий, Ладыгин Игорь. Зигзаги генеральской судьбы. — 1.  
**Лютый Вячеслав.** Праведница. — 9.  
**Помозов Олег.** Вольная типография. — 3.  
**Рудалев Андрей.** Изгнание читателя. — 6. Дюжина ножей в спину сталинизма. — 10.  
**Тарковский Михаил.** 42-й до востребования. Главы из книги. — 9.  
**Щукин Михаил.** Ему дано было «слышать» народную душу. *К 75-летию Геннадия Заволокина.* — 3.

## Литературная премия «Иду на грозу»

- Пэйт Элинор.** Дом для неясности. *Как дети под руководством ученых спасли заповедных сов.* — 4.

**Терушкин Леонид.** «...И на их примере воспитывать медицинскую молодежь». *И. Б. Фридлянд — врач, фронтовик, ученый.* — 5.

### *Народные мемуары*

**Авраменков Андрей.** Как мы жили до войны. — 12.

**Галанжина Анна.** Чужой причал. — 6.

**Кондратенко Полина.** Германия 2020-х в эпизодах глазами студентки по обмену. — 7.

**Левит Ирина.** Англия по-сибирски, или Воспоминания об Англии, когда там почти не было русских, тем более сибиряков. — 1, 2.

**Прохоров Сергей.** Кирзаки, труба и танцы. Армейские рассказы. — 4.

**Седых Владимир.** Деревенский музыкант. — 11.

**Чайко Андрей.** Шумел сурово брянский лес. — 10.

### *Прямая речь*

Владимир Алексеев: «Все мы немножко старообрядцы!..» — 8, 9.

## *КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ*

Лихое «Лихо» Кирилла Рябова. *Круглый стол.* — 7.

**Андрианова-Книга Кристина.** Киногерой нашего времени. — 5.

**Горшенин Алексей.** Звучи, звучи, родное пенье! *По страницам прозы Виктора Сайдакова.* — 6.

**Ермаков Дмитрий.** От земли. Василий Шукшин. — 2.

**Злобин Володя.** Потаенная проза — проза неявленных границ. — 7.

**Иванченко Валерий.** В поисках увлекательности. *Записки читателя.* — 1.

Формулы невозможного. *Люди и схемы русской фантастики.* — 4.

**Ильченко Сергей.** Экранные приключения пармского сказителя. *Как и почему кинематограф и ТВ полюбили прозу Алексея Иванова.* — 3. Лжеиллюзии под номером «1984». — 10.

**Кокшенёва Капитолина.** Власть жизни, или Островский в современном театре. — 9.

**Косарев Михаил, Хлебников Михаил.** Парадоксы времени и места. *Самохин и Довлатов.* — 12.

**Сафронова Елена.** Возможно ли детективное «импортозамещение»? — 5.

**Семяшкин Руслан.** Перечитывая заново. Анатолий Иванов и его книги. — 8.

**Хлебников Михаил.** Чем мерить оттепель? — 11. См. также: Косарев Михаил, Хлебников Михаил. Парадоксы времени и места. *Самохин и Довлатов.* — 12.

**Ширяев Василий.** Майкопские ответы на камчатские вопросы. Диалог-портрет. — 11.

**Юдин Владимир.** «Сибирь — моя вторая родина». К 150-летию В. Я. Шишкова. — 10.

### КНИЖНАЯ ПОЛКА

Издано в Сибири. — 2, 4, 5, 8, 11.

**Бавильский Дмитрий.** Школа штучности. О книге Т. Самойо «Ролан Барт. Биография». — 1.

**Евсюков Александр.** Добыча «теневого гения». О книге Геннадия Калашникова. — 6.

**Ильченко Сергей.** Люди и реки. — 12.

**Косарев Михаил.** Азь... Бочка... Буква. Об историко-этимологическом словаре Виктора Тена. — 10.

**Кузнецов Илья.** Поэзия «Русской весны» как литературный факт. — 7.

**Курбанджанов Денир.** Да что вы понимаете в колбасных обрезках? О книге Александра Павлова «Плохое кино» — 3. Фрагменты и сущее. — 8.

**Сафронова Елена.** Несостоявшийся детектив. — 9.

### КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Наталья Яковлева: «Творчество — это диалог с самим собой». — 8.

**Ким Инна.** Разговор по душам. Художник из Новокузнецка Александр Гаврилов. — 2. Ван Гог с кузбасского Марса. — 6. Земля любви живописца Арбачаковой. — 10.

**Колодзеева Вера.** Художник Сергей Меньшиков: мастерство, труд, импровизация. — 4.

**Копнинов Валерий.** Тонкость нерассказанных ощущений. Художник Наталья Красикова о времени и о себе. — 3. Поиск — процесс бесконечный... Художник Виталий Борисов. — 11.

**Свечникова Ольга.** Тимур Гуляев. Художник одного театра. — 7.

**Тихонов Александр.** Ловец времени Вальтер Вильде. — 9.

**Тихонов Александр, Царькова Ольга.** К свету! Грани творчества художника Сергея Демиденко. — 12.

**Царькова Ольга.** См. Тихонов Александр, Царькова Ольга. К свету! Грани творчества художника Сергея Демиденко. — 12.

**Шохин Назар.** Круги евразийской культуры Михаила Курзина. — 1.

**Шукин Михаил.** Окопная правда лейтенанта Чебанова. — 5.

## АВТОРЫ НОМЕРА

**Авраменков Андрей Михайлович** родился в 1990 г. в Луганске. Журналист, прозаик, публицист. Публиковался в молодежном литературном журнале «Индиго», в журналах «Подъем», «Дарьял», «Берега», «Голос эпохи», «Веретено», альманахах «Литературный Тамбов», «Территория слова», «Курган. Текст». Автор книг «Город сломанных судеб», «Русская весна в Луганске. Как начиналась война», «Под прицелом», повести «Ополченец». Призер конкурса «Кольцовский край», дипломант конкурса «Золотой Витязь». Живет в Воронеже.

**Васильцов (Пырков) Иван Владимирович** родился в 1972 г. в Ульяновске. Доктор филологических наук, профессор Саратовской государственной юридической академии. Автор двух книг поэзии, книги очерков о саратовских писателях и монографии, посвященной русской усадебной литературе XIX в. Лауреат премии им. И. А. Гончарова, лауреат просветительской премии «Знание». Живет в Саратове.

**Волобуев Вадим Вадимович** родился в 1979 г. в городе Александрове Владимирской области. Окончил Московский педагогический университет (ныне — МГОУ). Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Переводчик с польского. Автор романов, повестей, рассказов и документальных биографий. Публиковался в журналах «Искатель», «Знание — Сила: Фантастика», «Сибирские огни», «Урал», в сборниках и антологиях. Живет в Москве.

**Ильченко Сергей Николаевич** родился в Ленинграде в 1957 году. Окончил театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Доктор филологических наук, кандидат искусствоведения. Трудился в органах

государственного управления культуры города. С 2001 года работает в качестве заведующего кафедрой радио и телевидения СПбГУ. Главный редактор газеты «Культурный Петербург». Публикуется в различных петербургских и российских изданиях по вопросам культуры, литературы, медиа. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

**Косарев Михаил Алексеевич** родился в 1961 г. в Новосибирске. Окончил факультет журналистики Томского государственного университета. Публиковался в журналах «Литературное обозрение», «Сибирские огни», «Москва», «Подъем», «Огни Кузбасса» и др. Живет в Новосибирске.

**Попов Денис Николаевич** родился в 1979 г. в с. Усть-Цильма Республики Коми. Проходил службу в пограничных войсках в Воркуте. Окончил курсы водителей и курсы охранников. Работает вахтовым методом охранником на объектах «Лукойла». Публиковался в журналах «Север», «Начало века», «Радуга», «Сибирские огни». Автор трех сборников стихов. Живет в с. Усть-Цильма.

**Родионова Ирина** родилась в 1995 г. в Новотроицке Оренбургской области, педагог-психолог по образованию. Обладатель литературных премий им. Левитова, им. Рычкова и спецпремии им. Аксакова. Публиковалась в литературных журналах «Роман-газета», «Звезда», «Аврора», «Бельские просторы», «Гостинный Дворь», «Симбирскь», «Сибирские огни» и других, а также в сборниках рассказов. Живет в Новотроицке.

**Сердюк Михаил Валерьевич** родился в 1971 г. в Томске. Окончил Томское высшее военное командное училище связи, служил офицером в Вооруженных силах, затем в уголовно-исполнительной системе. Сейчас работает в Томском кадетском корпусе. Издатель, главный редактор и переводчик сербской



литературы томского книжного издательства «Гусеница». Переводы публиковались в журналах «Начало века», «День и ночь», в книгах издательства «Гусеница». Живет в Томске.

**Тихонов Александр Александрович** родился в 1990 г. в п. Большеречье Омской области. Заведующий экскурсионным отделом Исторического парка «Россия — моя история» (г. Омск). Произведения публиковались в журналах «Наш современник», «Роман-газета», «Молодая гвардия», «Сибирские огни» и др. Автор нескольких романов и книг стихов. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Омске.

**Фроловская Мария Ивановна** родилась в 1990 г. в Москве. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького и Государственный музыкальный колледж им. Гнесиных. Работает педагогом вокала. Публиковалась в журнале «Сибирские огни». Автор книг стихов «Тростниковые сказки» и «Антоновка с Авалона». Лауреат фестиваля поэзии «Мцыри» и национальной премии «Русские рифмы». Живет в Москве.

**Хлебников Михаил Владимирович** родился в 1974 г. Критик и литературовед. Кандидат философских наук. Автор ряда книг, среди которых: «Большая чи(с)тка», «Союз и Довлатов. Подробно и приблизительно», «Довлатов и третья волна. Приливы и отмели». Публиковался в газетах «Культура», «Литературная газета», «Литературная Россия», в журналах «Сибирские огни», «Новый мир», «Вопросы литературы», «Наш современник», «Урал» и др. Живет в Новосибирске.

**Царькова Ольга Владимировна.** Уроженка г. Омска. Организатор и куратор выставочных проектов А. Суханова, Н. Бабаш, С. Капралова, В. Бичевого, С. Демиденко, М. Смирнова, братьев Позиных и др. художников. Принимала участие в организации и проведении выставок «Сибирь XI», «ЕврАзия-Арт: великие реки искусства (Россия — Китай — Казахстан)». В настоящее время — начальник отдела выставочной деятельности Областного художественного музея «Либеров-центр» (г. Омск).



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

**ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ**

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 25, тел. (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [сибирскиеогни.рф](http://сибирскиеогни.рф)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 24.11.2023. Дата выхода № 12 за 2023 г. в свет 20.12.2023.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 11,68. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.



Сергей Демиденко. Иллюзий нет. 2022



Сергей Демиденко.  
Дома.  
2023

